

том 1

собрание сочинений

Исаак Бабель
том 1
собрание сочинений

исаак
БАБЕЛЬ

Исаак

Бабель

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в четырех томах

Исаак

Бабель

ТОМ ПЕРВЫЙ

Листки об Одессе
Одесские рассказы
История моей голубятни
Петербургский дневник
Закат
Беня Крик
Блуждающие звезды

москва 2006



ББК 84Р7-4
Б12

Макет, оформление
Валерий Калныньш

Б12 **Бабель И. Э.**
Собрание сочинений. Т. 1. — М.: Время, 2006. — 576 с.

Данное издание — самое полное собрание сочинений Исаака Бабеля. В него вошли практически вся известная на сегодняшний день проза, драматургия, киносценарии, публицистика писателя и большой корпус писем. Наряду с бабелевскими письмами в него включена не публиковавшаяся в России книга вдовы Бабеля А. Н. Пирожковой «Семь лет с Исааком Бабелем» — важнейший источник биографии писателя, существенно дополняющий эпистолярный раздел. Все бабелевские тексты сопровождаются комментариями.

ББК 84Р7-4

ISBN 5-9691-0150-8 (т. 1)
ISBN 5-9691-0154-0 (общий)

От составителя

Данное издание — самое полное собрание сочинений Исаака Бабеля. В него включены практически вся известная на сегодняшний день проза, драматургия, киносценарии, публицистика писателя и большой корпус писем. Издание опирается на подготовленное вдовой писателя А. Н. Пирожковой (при участии С. Н. Поварцова) собрание: Бабель И. Сочинения: В 2 т. М., 1990.

В раздел творческих текстов по сравнению с двухтомником добавлены рассказы «Справка» и «Кольцо Эсфири», глава из коллективного романа «Большие пожары», два очерка из цикла «Листки об Одессе», планы и наброски к «Конармии», кинорассказ «Блуждающие звезды», два фрагмента сценария по роману Н. Островского «Как закалялась сталь», три перевода новелл Ги де Мопассана.

За счет писем Т. В. Кашириной (Ивановой), до сих пор известных лишь в журнальной публикации, почти вдвое расширен эпистолярный раздел.

Структура нашего издания отличается от большинства существующих. Новеллист до мозга костей, Бабель, тем не менее, стремился к большим формам. Судьба его романа о ЧК остается неизвестной. Но и публиковавшиеся тексты, как правило, рассматривались им как часть цикла или книги. Свободных, «беспризорных» рассказов у Бабеля не так много, причем большинство относится к раннему периоду, когда его поэтика только складывалась.

Лишь дважды писательские замыслы были реализованы полностью («Одесские рассказы», «Конармия»). Однако и в других случаях несобранные и незавершенные книги и циклы поддаются реконструкции.

Основой четырехтомника, в первую очередь, стала композиция материала по тематике и циклам и лишь затем, преимущественно в третьем томе, — по хронологии и жанрам.

Первый том — одесский и петроградский. Его внутренний сюжет — становление героя-рассказчика на фоне жизни дореволюционной Одессы и послереволюционного Петрограда.

Помимо собранных самим автором «Одесских рассказов», вместе с тематически примыкающими к ним текстами, которые в цикл не вошли, в особые разделы выделены новеллы, имеющие отношение к не доведенной до конца автобиографической книге «История моей голубятни» и цикл петербургских очерков. Здесь же публикуются жанровые модификации одесских рассказов: киносценарий «Беня Крик» и драма «Закат». На основе тематической близости в том включены киносценарий «Блуждающие звезды», обработка прозы Шолом-Алейхема, и кинорассказ, написанный по одной из частей сценария.

Второй том — конармейский. Здесь публикуются практически все сохранившиеся материалы, из которых выросла главная бабелевская книга: газетные заметки, дневник и рабочие записи.

Книга «Конармия» в составе 34 новелл печатается по изданию 1931 г. Позднее написанные «Поцелуй» и «Аргамак» вместе с текстами, не включенными в книгу самим Бабелем, вынесены в приложение: точное их место в конструкции книги определить невозможно, а механическое расположение в конце, с нашей точки зрения, нарушает сложившуюся композицию. В сравнении с изданием 1990 г. в текст «Конармии» внесено более 100 исправлений.

Третий том — тематически самый разнообразный. Он обозначает контекст главных бабелевских созданий: сюда входят оставшиеся вне циклов ранние и поздние рассказы, две новеллы из книги о коллективизации «Великая Криница», пьеса «Мария», киносценарии, публицистика, мемуары, выступления.

Четвертый том — эпистолярно-мемуарный. Наряду с бабелевскими письмами в нем печатается книга А. Н. Пирожковой «Семь лет с Исааком Бабелем» — важнейший источник биографии писателя, существенно дополняющий эпистолярный раздел. Это первая в Россия публикация полного варианта мемуаров с незначительными дополнениями, сделанными по авторской машинописи.

Обожженные солнцем

В 1916 году никому не известный литератор Баб-Эль объявил: в русскую литературу должен явиться «так нужный нам, наш национальный Мопассан». Единственный в России город, на который в этом смысле есть надежда, — Одесса.

«В последнее время приохотились писать, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут все это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да уже и надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. <…> Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем».

Но явиться этот Мессия должен не с новым словом, а с новым образом. «От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего, радостного, ясного описания солнца?»

После шестнадцатого года автор этой программы много скитался по России, в Петербурге пережил революцию, работал в газетах и ВЧК, под именем Кирилла Васильевича Лютова прошел с Первой Конной армией по Украине и Польше.

В начале двадцатых годов, после публикации первых рассказов об этом походе, стало ясно, что семь лет — эпоху — назад он писал

о себе: литературный Мессия с солнцем в крови явился, как и предсказывалось, из Одессы.

Впрочем, в его родословной были замечены вполне неожиданные северные предшественники. «Под пушек гром, под звоны сабель от Зощенко родился Бабель», — вспомнит через много лет старую эпиграмму еще один одессит, В. Катаев.

Мопассан — Одесса — солнце: таковы волшебные слова, вызвавшие к жизни нового литературного пророка и новую литературную школу, которую назовут южнорусской или одесской.

С солнцем и Одессой, кажется, все понятно, но при чем тут этот французский классик, а не, скажем, Флобер или Толстой?

Мопассан, по Бабелю, — писатель, культивировавший редкий в русской литературе жанр.

«Мне кажется, что о технике рассказа хорошо бы поговорить, потому что этот жанр у нас очень не в чести. Надо сказать, что и раньше этот жанр у нас никогда в особенном расцвете не был, здесь французы впереди нас. Собственно, настоящий новеллист у нас — Чехов. У Горького большинство рассказов — это сокращенные романы. У Толстого тоже сокращенные романы, кроме "После бала". Это настоящий рассказ. Вообще у нас рассказы пишут плоховато, больше тянутся на романы», — уже в тридцатые годы объяснял Бабель начинающим писателям.

Свою склонность к этой французской штучке (уже точнее называя ее не рассказом, а новеллой) Бабель был готов объяснить даже физиологически. «Дело вот в чем, в том, что у Льва Николаевича Толстого хватало темперамента на то, чтобы описать все двадцать четыре часа в сутках, причем он помнил все, что с ним произошло, а у меня, очевидно, хватает темперамента только на

то, чтобы описать самые интересные пять минут, которые я испытал. Отсюда и появился этот жанр новеллы».

Однако — так уж сложилось — русские новеллисты всегда испытывали некий комплекс неполноценности перед создателями романов (как прозаики — перед поэтами). Не обошло это чувство и Бабеля. «Вы знаете, что я не написал романов. Но скажу откровенно, самое большое желание в моей жизни это написать роман. И я не раз начинал это делать. К сожалению, не выходит. Получается кратко. Может быть, поэтому я преклоняюсь перед людьми, пишущими романы. Я пишу кратко. Значит, таков мой психический склад, таков строй души», — исповедуется он в начале тридцатых годов молодому писателю (Г. Маркову).

Бабелевская краткость, однако — так часто случается у рассказчиков, — имела некий механизм компенсации. Писатель мыслил циклами или книгами. Его трагическая судьба сложилась так, что из многочисленных замыслов в этом роде до конца доведен лишь один. Баб-эль превратился в Бабеля в «Конармии», книге о польском походе армии Буденного, о людях на лошадях, нравственных кентаврах, которые, с Лениным в башке и саблей в руке, не боятся чужой крови, не щадят своей жизни, не понимают страданий и метаний очкастого «киндербальзама», идущего в атаку с незаряженным револьвером и видящего брата в убитом поляке.

Однако и в других случаях бабелевские подсказки позволяют реконструировать в сохранившихся текстах контуры недописанных или погибших книг. Угадываемое во фрагментах целое оказывается богаче каждой отдельной части-новеллы.

«Рассказчик, — считал В. Шукшин, — всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер».

Недописанные бабелевские книги выстраиваются в стройный тематический ряд, образуя сюжет судьбы.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

И голос, запрятанный в трубке,
Рассказал мне, что на Ришельевской,
В чайном домике генеральши Клеменц,
Соберутся Семка Рабинович,
Петька Камбала и Моня Бриллиантщик, —
Железнодорожные громилы,
Кинематографические герои, —
Бандиты с чемоданчиками, в которых
Алмазные сверла и пилы,
Сигарета с дурманом для соседа…

Э. Багрицкий

«В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском корабле. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель», — написал Бабель в предисловии к неизданному сборнику молодых литераторов-одесситов (1923), где, между прочим, должны были публиковаться стихи Багрицкого.

Поскольку у этих юношей обычно нет ни английских фунтов, ни виз, — продолжил он, — один из них «пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и неизведанной никем другим».

Но так же — как о впервые открытой, неизведанной стране — явившийся с юга литературный мессия мог рассказывать мрачным северянам об Одессе.

«Одесские рассказы» писались и публиковались одновременно с «Конармией». Но вместо тридцати четырех текстов Бабель ограничился всего четырьмя новеллами.

Место действия «Одесских рассказов» — Молдаванка. Время — преддверие революции. Герои — одесские евреи: биндюжники, лавочники, бандиты и контрабандисты с многочисленными семействами — чадами, домочадцами, детьми и стариками.

Собственно, герои так тесно связаны друг с другом в бабелевских сюжетах, что кажутся одной семьей — шумной, скандальной, историю которой по очереди, фрагментами-фотографиями излагает повествователь или его добровольные помощники-рассказчики.

В центр многофигурной композиции выдвинут Беня Крик — сын биндюжника, бесстрашный бандит-вымогатель, король налетчиков, на равных сражающийся не только со своими соперниками, но и с государством, с одесской полицией.

Первая новелла, «Король» — история двух свадеб. Беня Крик женится на дочери старика Эйхбаума и выдает потом замуж перезрелую сестру Двойру. Новеллистическая пуанта здесь в ситуации-перевертыше: полицейские во главе с новым приставом, собирающиеся сорвать свадьбу, вынуждены вместо этого спасать полицейский участок, который поджигают люди Бени.

«Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. <…> Пристав — та самая метла, что чисто метет — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар…»

Вторая новелла — хронологическое отступление в прошлое, история превращения Крика в короля. Вымогая деньги у богача Тартаковского, люди Бени случайно убивают «верного Личарду» приказчика. После чего налетчик приказывает расправиться с виновным в гибели Тартаковского подручным, задаривает деньгами мать покойного, устраивает пышные похороны и произносит философскую речь над двумя по соседству вырытыми могилами.

«Господа и дамы, — сказал Беня Крик — господа и дамы, сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не

умеющие пить водку, но все же пьющие ее, и вот первые получают удовольствие от горя и радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса…» (Эта воспроизводящая библейский тавтологически-убеждающий стиль интонация потом будет подхвачена Ильфом и Петровым: в такой манере произносит некоторые свои монологи Остап Бендер.)

Следующая новелла, «Отец», — еще одна любовная история Крика и одновременно история о передаче эстафеты. Старый налетчик Фроим Грач приходит к весело проводящему время в публичном доме с русской девушкой Катей Бене и предлагает ему свою мечтающую о замужестве дочь вместе с богатым приданым. «Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровные лошади и жемчужное ожерелье».

Четвертая новелла — история Бени Крика в юбке. Любка Шнейвейс, прозванная Любкой Казак, увлеченно занимается контрабандой, но никак не может сладить с собственным малолетним сыном. Его пестуном и верным управляющим постоялого двора становится «тертый старик» Цудечкис.

«Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И если я сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории», — завязывает повествователь новый узелок в финале новеллы.

Это обещание было исполнено лишь отчасти. В «Справедливости в скобках», не включенной Бабелем в основной цикл, Цудечкис

рассказывает одну из «интересных историй» о самом себе: он наводит на кооператив сразу две шайки налетчиков и едва не гибнет от руки жаждущего справедливости Бени. Однако он не обижается, а вносит свою лепту в легенду о молдаванском короле. «Кто виноват и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король, — нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, а это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. И на этом кончим. И всякий скажет, что точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять».

Так между новеллами устанавливаются внутренние связи: все интересные истории оказываются окнами в один и тот же мир, «кадрами» фильма, кубистскими фрагментами живописного мифа о Молдаванке.

В начале двадцатых годов, вспоминают мемуаристы, Бабель специально поехал в Ростов поглядеть на арестованного главаря банды, бывшего студента-медика, и вернулся разочарованным: «Этот Ванька оказался банальным грабителем, очень примитивным, совсем не похожим на Беню Крика».

В «Одесских рассказах» создан мир, в котором торжествует не этика, а эстетика.

Несмотря на упоминание российских реалий («Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый

воздух и сплошные французы?»), он открывается не в историю, а в космос, в мироздание. Эти биндюжники и налетчики живут естественной, природной, гиперболически-страстной жизнью, согласно формуле бабелевского современника, в прекрасном и яростном мире, под ослепительным солнцем, которое начинающий Бабэль мечтал написать еще в 1916 году, или в столь же удивительной ночи.

Бабель смотрит на мир навсегда изумленным взглядом. Он видит его как увлекательный, странный и страшный спектакль на фоне фантастически прекрасных декораций.

«Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю и захрапел посередине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. <…> Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива» («Любка Казак»).

«Вечер давно уже стал ночью, небо почернело и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в золотой чалме умер к полуночи. Потом музыка

пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай» («Отец»).

Этот мир — то ли библейский эдем, то ли гомеровский военный лагерь, в котором наслаждаются, страдают, пьют, грабят, спокойно убивают друг друга люди-исполины, знающие о тайне жизни что-то такое, что неизвестно их малосильным потомкам. «Сладко воняющее человеческое мясо» здесь прекрасно, похороны — восхитительны («Таких похорон Одесса еще не видела, а мир не увидит»), буйная плоть торжествует даже на кладбище («Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах»).

Даже борьба за главенство в доме Менделя Крика, сцена жестокого избиения старика сыновьями, дана как сражение проигравшего битву патриарха, его жестокий, но закономерный закат (рассказано об этом, правда, уже не в новелле, концовка которой не сохранилась, а в написанной по ее мотивам одноименной пьесе).

«Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли…», — успокаивает Менделя сын на семейном празднике, после того, как бунт подавлен и власть сменилась.

«День есть день, евреи, и вечер есть вечер, — варьирует Экклезиаста в финальном монологе раввин Бен Захарья. — День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, всего только сумасброд. Иисус из Назарета, укравший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин из нашей синагоги,

оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают в доме порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!»

В текстах, не вошедших в канонический состав цикла и относящихся к послереволюционной эпохе, Бабель взрывает эту одесскую одиссею, жестокую идиллию.

В новелле «Фроим Грач» «истинного главу сорока тысяч одесских воров» запросто пристреливают во дворе одесской ЧК. «Ответь мне как чекист, <…> ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе? — Не знаю, <…> наверное, не нужен…»

В «Конце богадельни» лишают жалкого промысла при кладбище инвалидов-стариков. «И вот этих убрать, — заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот. — Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается…»

С Беней Бабель разделался не в прозе, а в киносценарии. Его (как и его прототипа Михаила Винницкого — Мишку Япончика) вместе с Грачом хитростью отделяет от бандитов-красноармейцев и расстреливает в вагоне под Одессой веселый истопник Кочетков. «В поле у костра. Лежащий на земле Собков говорит по телефону. Рядом с ним прикрытые рогожей трупы Бени и Фроима Грача. Босые их ноги высовываются из-под рогожи».

Таков конец бабелевской Одессы. Пережив все, сосуществуя с жандармами и погромщиками, она оказывается не нужна ни настоящему, ни «будущему обществу».

В сущности, одесский цикл рифмуется с «Конармией». Оба цикла написаны о гибели прежнего мира. Мир Молдаванки перемалывается жерновами революции, точно так же как конармейская волна смывает местечковую культуру украинских и польских городков.

Конец эпоса и начало новой истории изображены в обоих случаях в трагическом освещении — на фоне крови, пожаров, ослепительного света солнца и нестерпимой ночной тьмы.

«Карл-Янкель», еще одна новелла молдаванского цикла, оказывается мостиком к другой бабелевской книге. Личный повествователь, отсутствовавший в новеллах молдаванского цикла, оказывается свидетелем показательного суда (еще один знак новой эпохи) над старухой, сделавшей внуку еврейское обрезание и фельдшером, которой его совершил. Процесс вокруг пятимесячного Карла-Янкеля (первое имя дано ему в честь Маркса) завершается не фабульной точкой, а лирической сентенцией повествователя.

«Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня…»

Образ повествователя из «Карла-Янкеля» соединяет «Одесские рассказы» с «Историей моей голубятни».

ПРОБУЖДЕНИЕ

Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили острия.
И все навыворот.
Все как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.

Э. Багрицкий

Параллельно с рассказами о расцвете и гибели старой еврейско-бандитской Одессы Бабель на том же материале пишет иную книгу — о рождении художника.

«Историю моей голубятни» Бабель сочиняет очень долго, но она так и остается незаконченной. Первый рассказ с указанием на автобиографический характер замысла появился уже в 1925 году, почти одновременно с текстами «Конармии» и «Одесских рассказов». Бабель собирался сдать книгу в издательство в 1939 году. О степени ее завершенности, однако, можно лишь догадываться. Бабель, помимо прочего, был чемпионом по невыполненным обязательствам журналам и издательствам.

Биографичность рассказов «Истории моей голубятни», впрочем, относительна. На смену исторической легенде о живописных налетчиках с Молдаванки приходит личная легенда — о семье, детских страданиях, скитаниях, рождении писателя.

«Дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием “История моей голубятни”, — сообщает Бабель матери 14 октября 1931 года после публикации в журнале “Молодая гвардия” рассказа “Пробуждение”. — Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено, — когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего все это было нужно».

Что-то похожее услышит от него в конце тридцатых годов его молодая жена А. Н. Пирожкова. «Нарушив обычное правило не говорить с Бабелем о его литературных делах, в Одессе я как-то спросила, автобиографичны ли его рассказы?

— Нет, — ответил он.

Оказалось, что даже такие рассказы, как “Пробуждение” и “В подвале”, которые кажутся отражением детства, на самом деле не являются автобиографическими. Может быть, лишь некоторые детали, но не весь сюжет. На мой вопрос, почему он пишет рассказы от своего имени, Бабель ответил:

— Так рассказы получаются короче: не надо описывать, кто такой рассказчик, какая у него внешность, какая у него история, как он одет…»

Личная легенда, однако, развертывается Бабелем в другой тональности, чем миф о Бене с Молдаванки. На смену сильным и бесстрашным налетчикам, играющим в кошки-мышки с властями и между собой, приходят боязливые и неудачные торговцы, бьющиеся в паутине жизненных неудач и привычно мечтающие о другой жизни для своих детей.

«Одесские рассказы» начинаются со свадьбы и поджога полицейского управления, «История моей голубятни» — с поступления героя в гимназию и погрома.

Новое познание мира происходит для героя-рассказчика на уровне земли сквозь размазанные по лицу кишки голубя, о котором он мечтал несколько лет. «Я лежал на земле и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. <…> Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей передо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражавшая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей».

Счастливые погромщики на улицах с хоругвями и портретами царя, деревянными молотами крушащие витрины, грабеж родительской лавки, смерть деда — так в сознание героя, как внезапный и непонятный ураган, входит история. «Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше всю мою жизнь».

К тому страшному октябрьскому дню 1905 года Бабель привязывает любовь к взрослой женщине, у которой прячутся от погро-

ма родители, нервную болезнь и прощание с родным городом. «Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурные воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства» («Первая любовь»).

Одесса, в которой оказывается герой «Истории моей голубятни», оказывается иным городом, непохожим на образ, возникающий в «Одесских рассказах».

Вместо семейной борьбы, налетов на своих, схваток с полицией герой ходит в гимназию и на музыкальные занятия, стесняется родственников и дружит с богатым одноклассником.

Именно здесь, в Одессе, происходит главное — пробуждение, бегство от надоевшей музыки и рождение страсти к писательству. Пламенное воображение, неистовое чтение, беседы с корректором «Одесских новостей», обнаруживающим в мальчишке «искру божью», приводят к семейному взрыву и мечте о побеге.

«Ди Грассо», самый поздний из одесских текстов — метафорический образ того мира, в который «усталый раб» семейных надежд замыслил свой побег и того образа художника, который он мечтает реализовать в искусстве.

До поры до времени никому не известный в Одессе итальянский актер играет, «каждым словом и каждым движением утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира». И эта страсть производит такое действие, что растроган даже театральный барышник, отдающий герою ранее заложенные золотые часы.

Концовка «Ди Грассо» символична: испытавший двойное потрясение герой (от силы искусства и его благодетельного отклика в человеческой душе) приходит в себя у памятника первому русскому поэту. «Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле — затихшим и невыразимо прекрасным».

Хронологически продолжают «Историю мой голубятни» рассказы странной «трилогии» («Мой первый гонорар» — «Справка» — «Гюи де Мопассан»). В них на ином материале варьируется мотив еще не написанного «Ди Грассо» (великая сила настоящего искусства).

В «Моем первом гонораре» внезапный удивительный вымысел («я был мальчиком у армян») поражает даже ко всему привычную проститутку. От своей «первой читательницы» рассказчик получает двойную награду.

«В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это».

А утром, потрясенная придуманной историей, в которую она поверила до конца, Вера отказывается взять деньги. «Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар».

Адюльтер с бездарной переводчицей в «Гюи де Мопассане» тоже завершается в области искусства. Вернувшись домой после любовной схватки, герой читает биографию любимого с юности автора, доходя под утро до трагического конца: потери рассудка, сумасшедшего дома, ранней смерти. «Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предчувствие истины коснулось меня».

Мир невыразимо прекрасен. Понять, выразить его способен только художник. Но для этого он — даже ценой собственной трагедии — должен сотворить свой мир, в истину которого можно безусловно поверить.

В рассказе «Мой первый гонорар» Бабель чеканит ключевую формулу своего искусства (а может быть — искусства вообще). «Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю».

В «Гюи де Мопассане» она дополняется исповеданием веры писателя-новеллиста, формулой бабелевского стиля. «Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя».

«Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни» отвечают этим принципам в полной мере. Но, покидая Одессу в шестнадцатом году, автор нескольких рассказиков еще должен был отыскать свой стиль и свои формулы.

По дороге к ним Бабеля ожидали Горький, революция, голодный сумрачный Петроград 1918 года.

ПЕТЕРБУРГ, 1918

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет.
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

О. Мандельштам

«Карл-Янкель» — мостик от «Одесских рассказов» к «Истории моей голубятни». Точно так же «Дорога» ведет из малого мира в большой: из Одессы — в Петроград, из детства — в юность, из давно сложившегося понятного быта — в революцию.

Бабель появился в столице России в 1916 году, встретился с Горьким, опубликовал в редактируемой им «Летописи» два рассказа и был отправлен им «в люди», за материалом. Рассказав об этих петербургских встречах уже после смерти Горького, Бабель закончил мемуарную заметку «Начало» упоминанием о повторном дебюте через семь лет, после полученной от Горького записки: «Теперь можно начинать».

В эпоху больших процессов и писательских арестов он умолчал о первых послереволюционных контактах с Горьким. В восемнадцатом году, в недолговечной газете «Новая жизнь», редактором и идейным вдохновителем которой тоже был Горький, Бабель публикует больше двух десятков очерков, которые должны были, судя по некоторым подзаголовкам, составить книгу, летопись первых месяцев большевистского Петербурга.

Газета была закрыта в июле 1918 года. Горьковская книжка «Несвоевременные мысли», составленная из опубликованных там

очерков, была издана тогда же и потом забыта на семьдесят лет. Бабелевские очерки, печатавшиеся на тех же страницах, в книгу так и не сложились.

Послереволюционный Петроград, голодный, обезлюдевший, потерявший статус столицы, на улицах которого зимой бушевали почти таежные метели, а летом прорастала сквозь мостовую почти деревенская трава, — стал героем или необходимым фоном многих произведений: от «Двенадцати» Блока (1918) до «Вьюги» эмигранта И. Лукаша (1933), от «Крысолова» А. Грина (1924) до «Сумасшедшего корабля» О. Форш (1931), от «Петербургских дневников» З. Гиппиус до стихов Ахматовой и Мандельштама.

Полюсами этой эпохи петербургского текста, разными вариантами петербургского мифа можно считать уже упомянутые очерки Горького и «Дракона» (1918), «Мамая» (1920), «Пещеру» (1920) Е. Замятина.

«Несвоевременные мысли» — политическая публицистика, прямое слово. Споря с большевиками о «культуре и революции», Горький обращается за аргументами к тем же газетам, большевистским декретам, адресованным ему частным письмам. Атмосфера накуренной редакции, кружковой полемики в этих текстах лишь два-три раза нарушается взглядом на петербургскую улицу (стреляют на Литейном, топят воров в Фонтанке). Но от этих немногочисленных живых примеров писатель мгновенно переходит к общему — идеологии, советам и выводам. «Я не знаю, что можно предпринять для борьбы с отвратительным явлением уличных кровавых расправ, но народные комиссары должны немедля предпринять что-то очень решительное. <…> Эта кровь грязнит знамена пролетариата, она пачкает его честь, убивает его социальный оптимизм» (23 декабря / 3 января 1918 года).

Замятин в своих новеллах помещает бытовой сюжет в символическую перспективу. «Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья — пещерные люди отступали из пещеры в пещеру» («Мамонт», 1922). Простая фабула (кража дров у соседа, охота за редкой книгой и убийство мыши) растворяется, теряется в этом космическом пейзаже.

Бабелевские очерки часто печатались в «Новой жизни» под рубрикой «Дневник». Они, действительно, представляют собой картинки новой жизни, живописный калейдоскоп, летопись сиюминутных впечатлений здесь и сейчас.

Любопытно, что Зощенко, от которого, согласно цитированной раньше эпиграмме, родился Бабель, в «Мишеле Синягине» (1930) осовременивает имя города. Рассказчик этой сентиментальной повести уже в начале двадцатых упорно называет Петроград Ленинградом.

Бабель поступает наоборот. Для него Петроград и после революции архаически остается имперским городом. «Из книги "Петербург, 1918"» — ставит он в подзаголовке этюда «Ходя».

Бабель смотрит на новый город под старым именем в упор, пытаясь по-репортерски поймать и записать это мгновение. Он редко сводит увиденное к тезису или заостряет его до символа.

Бабелевский рассказчик прежде всего — соглядатай. От будущего автора «Конармии» здесь — лишь тяготение к эксцентрическому, выходящему за привычные рамки.

Скотобойня, где добивают последних изморенных лошадей; мертвецкая, в которой не на что хоронить трупы; дом призрения, в котором детей не воспитывают, а развращают; зоосад, где издох-

ли все удавы и пал от голода слон. Это не символическая пещера, а умирающий реальный город, забывший о своем недавнем величии и не способный соответствовать объявленному идеалу.

Рассказчик никого не обвиняет и ничего не обобщает. «Я не стану делать выводов. Мне не до них» («Вечер»). Он фиксирует, ловит реплики безмерно усталых и отчаявшихся людей, наблюдает бытовое ожесточение, привычное, как петербургский дождь, насилие.

«— Смирный народ исделался, — пугливо шепчет за моей спиной шепелявый старческий голос. — Кроткий народ исделался. Выражение-то какое у народа тихое…

— Утихнешь, — отвечает ему басом другой голос, густой и рокочущий. — Без пищи голова не ту работу оказывает. С одной стороны — жарко, с другой — пищи нет. Народ, скажу тебе, в задумчивость впал» («Я задним стоял»).

«Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили: бьют комиссары. В доме помещается “район”. Мальчишка — арестованный, пытался улизнуть.

У ворот все еще стояла щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего, лавочник с неожиданным оживлением захлопнул калитку — подпер ее плечом и выпучил глаза. Арестант прижался к калитке. Здесь солдат ударил его прикладом по голове. Прозвучал скучный заглушенный хрип:

— Убили…

Я шел по улице, сердце побаливало, отчаяние владело мною» («Вечер»).

(Ненасытное желание видеть жизнь в парадоксальных сочетаниях и неожиданных проявлениях, авторский «вуайеризм» станет

фирменным бабелевским жизненным стилем. Мемуаристки дружно вспоминают: он любил, конечно, с разрешения обладательниц, исследовать содержание женских сумочек. Рефлекс профессионального наблюдателя заводил его много дальше. «В тот его приход он рассказывал мне, как был на кремации Эдуарда Багрицкого, — вспоминает Т. Стах о его последнем свидании с другом. — Его пустили куда-то вниз, куда никого не пускают, где в специальный глазок он мог видеть процесс сжигания. Рассказывал, как приподнялось тело в огне и как заставил себя досмотреть до конца это ужасное зрелище».)

Яркость красок, о которой хлопотал в 1916 году начинающий Баб-эль, в петербургском цикле, естественно, отсутствует. Солнце оказывается здесь лишь деталью того же усталого, издыхающего мира. «На листве, зазеленевшей недавно, оседает горячий порошок пыли. В вышине блистает одинокое синее солнце» («Зверь молчит»). «Час шабаша. Солнце высоко. Стены белы. Мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве» («Новый быт»).

В позднем рассказе в рамках уже найденного стиля Бабель раскрасит черно-белый рисунок умирающего Петрополя.

«Я стою на Аничковом мосту, прижавшись к Клодтовым коням. Разбухший вечер двигается с Морской. По Невскому, запутанные в вату, бродят оранжевые огоньки. Нужен угол. Голод пилит меня, как неумелый мальчуган скрипичную струну. Я перебираю в памяти квартиры, брошенные буржуазией. Аничков дворец вплывает в мои глаза своей плоской громадой. Вот он — угол», — спокойно рассказано в экспозиции «Вечера у императрицы».

А вот та же ситуация и пейзаж с той же точки зрения, данный в «Дороге». «Невский Млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей от-

мечали его как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. <…> У Аничкова моста, у Клодтовых коней я присел на выступ статуи. Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу».

Невский проспект в «Дороге» становится эпическим чумацким шляхом, лошадиные трупы, как атланты, подпирают небо, медленное движение взгляда голодного человека («дворец вплывает в мои глаза») сменяется конвульсивными реакциями самого пространства («гранит опалил… выстрелил… ударил… бросил»).

Петербург восемнадцатого года стынет под черным солнцем уходящего мира.

А где-то вдали, в кровавых отблесках то ли заката, то ли рассвета угадываются исполинские фигуры людей на лошадях.

«Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли» («Смерть Долгушова»).

В 1920 году экзотический Баб-Эль превращается в военного корреспондента Кирилла Васильевича Лютова.

Игорь Сухих



Одесские рассказы

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там m-r Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 году я начал

разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот — я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, — Алексей Максимович отправил меня в люди.

И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «Леф» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.

НАЧАЛО

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистский журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оставался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись — на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал:

— За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова... Обычно рукописи истлевали в редакциях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей: как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим, мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие, — сказал он, — бывают и большие — с мой палец. — И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец. — Писательский путь, уважаемый пистолет (с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее... Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету... Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю...

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по

громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню...

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.

«Началось», — подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.

Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы, — сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая, — те рассказы, которые он обещал напечатать...

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к счастью

благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом... Ступайте посему в люди...

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...»

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на

земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновенье, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя…

Листки об Одессе

ОДЕССА

Одесса очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница», там говорят — «две большие разницы» и еще: «тудою и сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской Империи. Подумайте — город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями — создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу.

Одессит — противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги. Потому что они брюнеты — в них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще — одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на

Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости.

Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти, и скоро, плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть (qui sait?*), единственного в России города, где может родиться так нужный нам, наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, — одесских певиц (я говорю об Изе Кремер) с небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным — то грустным, то трогательным — чувством жизни; хорошей, скверной и необыкновенно — quand même er malgré tout**, — интересной.

Я видел Уточкина, одессита pur sang***, беззаботного и глубокого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длинорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий, заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин, он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешечком придет в Одессу.

Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский

---

* Кто знает? (*фр.*)

** Все же и несмотря ни на что (*фр.*).

*** Чистокровный (*фр.*).

талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса «негоциантов», прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс.

В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума.

В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем.

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под темным и бархатным небом, лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин... За кустами их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы.

В Одессе «люди воздуха» рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью, но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку — «человеку воздуха»?

В Одессе есть порт, а в порту — пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида; негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания — поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания.

«Одесса, — в конце концов скажет читатель, — такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны».

Так-то так, и пристрастен я, действительно, и может быть, намеренно, но, parole d'honneur*, в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна — все это верно, — но все же, quand même er malgré tout**, необыкновенно, необыкновенно интересна.

От рассуждений об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца?

Тургенев воспел росистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши — забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суете. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украйны? Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — Нос, Шинель, Портрет и Записки Сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком,

---

* Честное слово (*фр.*).

** Все же и несмотря ни на что (*фр.*).

заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, — был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее.

Горький — предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины: если о чем-нибудь стоит петь, то знайте: это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы; только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие.

Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает — почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький — предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча.

А вот Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть — все знает; громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс, сидят в нем, в дилижансе, толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают — это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все. В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины в Олонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут всё это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Олонецкой и Вологодской губерниях.

Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне: потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже, м[ожет] б[ыть], «к кресту на Святой Софии» таятся важнейшие пути для России.

Чувствуют — надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда — из солнечных степей, обтекаемых морем.

ЛИСТКИ ОБ ОДЕССЕ

Первый

В Одессе есть два клуба, имеющих отношение к искусству. Один — Литературка, Литературно-Артистическое общество, другой называется Семейным собранием тружеников сцены или что-то в этом роде. В первом собираются настоящие артисты, настоящие журналисты, надушенные барышни, надушенные дамы, толстые буржуа, тонкие молодые люди. Другой создан куплетистами, имитаторами, маленькими танцовщицами, жуликоватыми администраторами и королевами бриллиантов. Литературка, может быть, прекрасное учреждение, но сердце мое лежит к маленькому клубу. — Никто в нем никогда, может быть, не слыхал об ак-

меистах, о стихах Ахматовой, о Незнакомке Блока, но, говоря по совести, акмеисты есть и не будут, Ахматова сладостно встревожит утонченные сердца и угаснет, а угаснет ли — la bonne chose* — веселая любовь, угаснет ли нескладная сказка об умирающем солдате, забудется ли плачевная повесть о толстяке, о толстяке столь толстом, что любовь — la bonne chose — становится ему, увы, не под силу. В своем кабаре имитаторы и администраторы говорят о вечных вещах, плачутся на дороговизну, выбивают дробь подошвами и убедительно требуют мира. Нынче они пацифисты, раньше были милитаристами. Раньше публика любила мирную и залихватскую песню о голубых занавесках, о жгучих объятиях городских дам с усатыми молодцами-ротмистрами, а нынче нет дров и надо же поговорить по душевному — убивать худо, немцы рабочие люди, довольно белых крестов на безвестных дорогах, хватит с вас империалистов и Константинополей. Так думает публика, так думают куплетисты. Куплетисты знают свою публику, знает ли публика их?

Давайте побродим по залу и посмотрим на «тружеников сцены». Можно сказать сразу — революция не обошла их и одарила прекраснейшим своим благом — великолепным чувством товарищества. Чем были они раньше? Тревожными приживалами толпы, рассеянными по окраинным сценам, отданные во власть невежественных кулаков. Если исключить веселье, родившееся с нами, и многочисленные и преходящие обиды — что осталось бы от их багажа?

---

* Прекрасная вещь (*фр.*).

Теперь же после дня работы и соперничества они могут в клубе своего Союза, подержав друг друга за пуговицы, вдохновенно поспорить на живописном одесском языке о повестке дня. (А ведь никто не догадывался раньше, что повестка дня может придти к чревовещателю). Они могут сделать себя председателями, товарищами председателя и взорвать мирное течение жизни конфликтом на принципиальной — nom de Dieu* — почве. Эти люди по-настоящему любят свой Союз и с наслаждением, с азартом играют в председателей и конфликты. Они удосужились, наконец, спеть друг для друга, постучать подошвами друг для друга и съесть у себя, в своем hom** дежурное блюдо за 1 р. 25 к. — малороссийские колбаски с капустой. Этим людям есть за что любить свой Союз.

* * *

Куплетисты бывают двух родов — одни сами пишут для себя куплеты, другим пишут присяжные пииты. Если нужно, куплеты стряпаются тут же на месте за двадцать пять рублей. Тарелка с колбасками отодвигается, заказчик поет рефрен и — даст же бог человеку такой талант — стихи льются, а певец смотрит на писателя нежно и уважительно. Еще уважительнее относятся к поэтам женщины — diseuses*** — они ведь совсем беззащитны. Вот сидят они — белые и доверчивые или черные и востроносые и покойно ждут; перед ними

* Божье имя (*фр.*).

** Дом (*фр.*).

*** Рассказчицы (*фр.*).

склонилась лысая голова необходимого человека, карандаш бегает по бумаге и через несколько дней «Эдисон» в Херсоне или «Радио» в Кишиневе будут образованы новыми птицами, новыми песнями.

В клубе очень много одесских, разбитых еврейских прожженных в горниле быстрой жизни мальчиков. Они носят «френчи», теплые кепи, на многих многозначительно и изящно красуются георгиевские ленточки, потому что они умеют быть храбрыми — эти одесские мальчики.

Знаете ли вы их биографию? Она не сложна. Они родились на Молдаванке или на Базарной. Отец их маклер, «человек воздуха», мать — многосемейная, толстая, крикливая еврейка. Где получают эти дети воспитание? О, у нас есть Городской театр, кинематографисты с дивертисментами, гимназии со словесностью и бильярды, насыщенные греками, старичками, мазунами и арапами. В этих учреждениях любознательный, чего-нибудь стоящий мальчик получит наилучшее в мире воспитание. У Городского театра, в Театральном переулке, против много говорящей нашему сердцу Северной, есть заветная решетка. У решетки этой растягиваются хвостом люди, для того, чтобы получить билет на галерку. У решетки степенно, а иногда и нестепенно ходят барышники и таинственно ведут переговоры с решительными уличными мальчишками. В хорошую погоду, когда сияет наше солнце, пахнущее морем из Карантинной гавани и цветами с Екатерининской, окна Северной раскрываются и на подоконники ложатся шансонетки, только что проснувшиеся — теперь 12 часов и сияет солнце, — шансонетки с золотистыми

волосами, с белыми плечами, сытые, нежные, заграничные, теплые после ночи любви с папенькиным сынком. И мальчики у решетки знают, кто такая эта шансонетка, я скажу вам, что они знают, сколько бумажек надо положить под батистовую наволочку этой золотистой заграничной женщине.

Эти мальчики, отцы у которых маклера, неизменно поступают в первый класс гимназии — маклера любят образование, это знает всякий. Мальчик проделывает два класса, но ему душно в покойных стенах, он веселый человек — и скоро его приветствует, принимает в свое лоно державная одесская улица, синематограф с дивертисментом, бильярдная с арапами. Наш мальчик любил театр, умея говорить по-одесски, жизнь текла быстро — она ведь наполнена радостями и колкими, быстро улетающими печалями, — и вот теперь он ходит в коричневом кепи, имеет свой Союз, своего председателя, свою подругу, своего директора, своего писателя, свой «Эдисон» или «Орион» и свое веселье, взращенное улицей.

У столика сидит «директор» Андр. Любецкий. (Нет нужды напоминать нам, что его зовут Абр. Якрес.) Рядом с Любецким — куплетист, Орловский; рядом с куплетистом — агент Р.

Агент молчит, но лицо его исполнено выразительности. Оно говорит вот что: «Все вы жулики. Я это знаю. Я помолчу, но деньги вы мне заплатите, иначе я вытряхну из вас внутренности. Помолчим, послушаем. Все вы жулики и я жулик». Так думает агент. Директор сидит с угнетенным лицом, тоскующим о несправедливости людской.

— Ты безумной души человек, Андрюша, — говорит ему автор-куплетист. — Ты необычайной души человек, Андрю-

ша. Ты дал ему десять, ты не должен дать больше. Прошу тебя, Андрюша, убеди себя, что с твоей душой ты не проживешь. С волками жить, Андрюша, по-волчьи выть.

Андрей Якрес слушает — Андрей умилен. Он растроган.

Андрюша во время японской кампании — был в Вержболове, во время немецкой кампании был в Харбине, Андрюша торговал хирургической резиной, состоял агентом на предмет присуждения наград на выставках, Андрюша призывался после революции на 41 году безгрешной жизни, он строит теперь «Свободный театр для пролетариата» — и все же он умилен своей добротой.

— Ты безумной души человек, Андрюша, — говорит ему автор-куплетист.

Иду дальше. В уголку киснет Раскатов — безработный человек. Длинный нос его уныло смотрит кончиком в землю. Он съел уже дежурное блюдо, теперь пьет бледный чай. Емкость ужина — полтора рубля в долг.

На руках у Раскатова прыщи.

— Что это, Сема? — спрашиваю я.

— Кровь у меня кипит, — отвечает Сема. — Был у доктора. Он говорит — вам надо утилизировать женщин. Но когда я безработный? Сойдешься, потом не отстанет, я же необыкновенный. Это всякий знает, что я необыкновенный, — грустно подтверждает Сема, — они ко мне липнут, как я потом прокормлю? Не хочу утилизировать. У меня такие теперь мысли — пусть кипит.

— Что кипит?

— Кровь пусть кипит, — безнадежно машет рукой Сема.

Второй

Я брожу между столиками, толкаюсь между людьми, ловлю отрывки фраз. Мимо меня проходит С., имитатор женских танцев. В бледном юношеском лице его, в небрежных желтых мягких волосах, в безвольной, далекой, бесстыдной улыбке — чувствуется печать его особенного ремесла, а ремесло его — быть женщиной. У него походка вкрадчивая, замедленная, извилистая; он чуть-чуть раскачивается. Его любят женщины, настоящие женщины. Он сидит среди них с своим лицом бледного юноши, с желтыми и мягкими своими волосами, молчит и тихонько чему-то улыбается. И женщины улыбаются ему в ответ — тихонько и таинственно, улыбаются о своем, о чем знают только они и С.

В другом углу проносится человек в кафтане из синего сукна, в рубашке, подпоясанной шнурком, в лаковых сапогах. Это «баян русской песни». На носике баяна — пенсне, в душе баяна извечная мелкая тревога мелкого человека, лицо у баяна интеллигентного фармацевта, а о фамилии его зачем говорить.

Я пробираюсь между столами, за которыми играют в лото отставные полковники с нафабренными усами еврейских мальчиков, нашедшие приют своему обесславленному мундиру, а с полковниками сидят успокоенные, жирные жены содержателей синематографов, худые кассирши («действительные члены союза»), и толстые, обрюзгшие, мудрые деятели кафе-шантанов нынче не у дел.

Время вышибло их из колеи, погнало к Параскева*, в греческие кофейни и в Пале-Рояль спекулировать на колечках с бирюзой. Об их идеалах, вожделениях и кумирах вы многое можете узнать в клубе. Пройдите в читальню, в комнату, где на стенах висят чистенькие портреты Горького, Винавера, Липковской. В этой комнате на столике лежит старый экземпляр журнала «Дивертисмент». Уверяю вас, это очень интересный журнал. Особенная жизнь, исполненная легкости, вина, любви и смерти — откроется перед вами. Вы прочтете об умной и красивой Женни Мольтен, приехавшей в Россию в цветущую пору цветущей своей юности. Вы прочтете о ее успехах, о ее поклонниках, о папенькиных сынках — друзьях ее тела, о маленьких, исколотых жизнью людях — друзьях ее души, о ее кочующей жизни, о бочках выпитого ею вина, ящиках съеденных ею апельсинов, ее муже, муже кафешантанной девы, и ее смерти, о смерти Женни Мольтен прочтете вы в конце. Кроме Мольтен, умерла еще Науменко или Карасуленко, наша русская, страстная, доверчивая, пьяная, добрая и истеричная шансонетка. Она умерла на кровати, усыпанной цветами и облитой духами, не очень хорошими, не очень плохими, средними духами. В комнате ее остались еще телеграммы от чиновников, от прапорщиков, от подпоручиков. Согласно этим телеграммам, подпоручики спешили к ней, целовали ее, на что-то негодовали, и чем-то грозили.

---

* Кофейня в Одессе. — *Примечание И. Э. Бабеля.*

В «Дивертисменте», кроме этого, есть еще «серьезные» статьи о профессиональных нуждах и портреты редактора, красивого мужчины с черными усами и томными глазами. И по усам, и по глазам, и по благородству фигуры, можно сказать безошибочно: редактор был любим в своей жизни и деньгами шансонеток никогда не одарял. В «Дивертисменте» есть рассказы борцов о их первых успехах, об аренах цирка, залитых светом, о толпе Парижа, о женщинах Парижа, восторженно рукоплескавших, о толпе, качавшей мощное и гладкое тело атлета. В каждом номере журнала мы находим родные анекдоты об одесских евреях, о Фанкони, о маклерах в танцклассе, о еврейке в трамвае.

От «Дивертисмента» пахнет Одессой, ее ярким собственноручно сделанным словом. Я скажу больше: от всего клуба, что на Преображенской, пахнет Одессой и, может быть, потому только я и заговорил о нем. По нынешним временам это очень важно, запах родного города. Вот уже четвертый год, как чужеземные войны не переставая затопляют его. Не ревут больше пароходные сирены, не носится над портом тонкая угольная пыль. Сверкающее солнце освещает тихую, незамутненную воду. Нет Баварии, нет менял, нет расхаживающих кучками по городу высоких, сильных американских и немецких моряков, нет моряков, нет кабачков в порту, где сквозь табачные волны видны склонившиеся пьяные головы англичан, где граммофон хрипло и гордо орет во всю свою большую и старую глотку. Rule, Britannia*.

---

* Правь, Британия (*англ.*).

За время войны к нам пришли разоренные, чужие нам по духу евреи-беженцы из Литвы и Польши, пришли сербы, румыны. Против последних человеку, любящему свой город, нечего сказать. Они расцветили Одессу, они напомнили нам то время, когда у нас были негоцианты, греки, торгующие кофе и пряностями, немцы-колбасники, французы-книгопродавцы, пароходные конторы англичан. Они открыли рестораны, заиграли на цимбалах, наполнили трактиры чужой и быстрой речью; прислали к нам красивых офицеров в желтых сапогах, изящных и высоких женщин с красными губами. Эти люди подходят под стиль нашего города.

Но не беда, если другие люди и не подходят. Одесса стоит крепко и ее изумительная способность ассимиляции не потеряна. К нам приезжает расчетливый, оглядывающийся, себялюбивый польский еврей и мы делаем его жестикулирующим, толкающимся, быстро воспламеняющимся и быстро потухающим. Мы все еще перемалываем их. Скоро наступит время, когда уйдут от нас офицеры, привыкшие к Петрограду и к своим маленьким полковым Меджибожам, а вместе с ними разъедутся по своим серым Козловым и Тулам рыжие бородачи, тупо ходящие по нашим улицам и тупо забрасывающие их подсолнухами. В порту нашем вздрагивает сирена, в кабачке старый граммофон прохрипит свое слово о Британии, владычице морей. Наши склады наполнятся апельсинами, кокосами, перцем, малагой, в наших амбарах поднимется зеленоватая пыль от ссыпаемого зерна.

<В ОДЕССЕ КАЖДЫЙ ЮНОША...>

В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель.

Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта — и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому что у них нет ни визы, ни английских фунтов — поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он в тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу, люди — замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет, как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песку варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудер-

жимого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы разбивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда, — в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством.

Одесские рассказы

КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже...

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«Мосье Эйхбаум, — написал он, — положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Бе-

ня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту си-

нюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури.

Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыке, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли, и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня, — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, — Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Беня, — холоднокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему

в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

... ...

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

1923

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит

она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге.

Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег,

сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который еще не был тогда Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал

Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам

Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — *Рувим Тартаковский*».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзья-

ми в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, — пусть

бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня, Бенчик, я опоздал, — и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы! — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он

Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов.

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гори-

стый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные

сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

1923

ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извоз-

чик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, — но

я выведу этот грязь! — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы

они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше просится на травку...

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком

весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу.

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса Монтефиоре, но… но мадам Каплун… есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет…

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня…

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик и мы должны держаться нашей бранжи…

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес Грач, — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на бога, потом на вас.

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается?

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, — выведи его в люди...

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломан-

ная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел не двигаясь у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

1924

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, ку-

харка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, — ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который

выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, — если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкис, — и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по ком-

нате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота,

Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сдела-

ла пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть!

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю

горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка, засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

1924

Дополнения к «Одесским рассказам»

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СКОБКАХ

Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало Сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног.

...Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

...Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами — я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции.

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, «primo de primo»*, к тому же специалисты по своей бранже. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционером поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из «Справедливости». Честное слово, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал:

— Так и так, Беня.

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы — природа и дикий виноград.

— Так и так, Беня, — говорю я.

— Когда? — спрашивает он меня.

— Коль раз вы меня спрашиваете, — отвечаю я королю, — так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит не кто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась.

— Детка, — сказал ей тогда Беня, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке.

---

* Первые из первых (*лат.*).

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму Штерну:

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу?

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на голове. Ответить с открытой душой Фройм Штерн не может.

— В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в общество взаимного кредита...

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой единственный глаз в самый дальний угол террасы.

— Отлично, — подхватывает Беня Крик, — напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис, — обращается ко мне король, — в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти.

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, завернул на Стеновую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны.

— По всей вероятности, — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих

слов короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал голод, умноженный на девять голов.

Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на полголоса.

Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли.

Было жарко, и он вспотел. «Удержитесь, Бунцельман, — сказал я ему, — вы торопитесь напрасно, и вы потеете напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum*, как говорят немцы».

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом; Мотя с Головковской взялся за телеграфный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в том, что этот столб в случае нужды мог упасть.)

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала милиция, и у него стало

* И с этим покончено (*нем.*).

разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать свою работу.

— Мотя, — сказал он, — когда я выстрелю, столб упадет.

— Безусловно, — ответил Мотя.

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения.

— Тикай, милиция, — прошептал кто-то невоздержанный, — тикай, бо задавим...

— Молчать, — произнес Беня Крик, прыгая с антресолей. — Где ты видишь милицию, мурло? Король идет.

Еще немного, и произошло бы несчастье, Беня сбил Штифта с ног и выхватил у него револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было разобрать.

— Ну вот, — прокричал тогда Колька. — Беня хочет меня убить, это довольно интересно...

В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они катались по полу, задушенные смехом.

Один король не смеялся.

— В Одессе скажут, — начал он дельным голосом, — в Одессе скажут: король польстился на заработок своего товарища.

— Это скажут один раз, — ответил ему Штифт. — Никто не скажет ему этого два раза.

— Коля, — торжественно и тихим голосом продолжал король, — веришь ли ты мне, Коля?

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех выполз из кооператива «Справедливость».

— В чем я должен тебе верить, король?

— Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем?

И он сел на стул, этот присмиревший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король.

Потом они встали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здоровкаться за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу за шею руки, целовались нежно, как пьяные.

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла.

— Коля, — спросил наконец король, — кто тебе указал на «Справедливость»?

— Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал?

— И мне Цудечкис.

— Беня, — восклицает тогда Коля, — неужели же он останется у нас живой?

— Безусловно, что нет, — обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах, — закажешь, Фроим, глазетовый гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить в кругу моей семьи.

Часов в пять утра, или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было, король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя супруга спрыгнула и спросила Беню:

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса?

— Как за что, — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у него из глаз, — он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не может оставаться живой...

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь!

— За что серчать на моего Цудечкиса, — кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением, — за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой,

вы — Король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что значит для Бенчика одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь!

Она спасла мне жизнь.

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис.

Вот моя первая история. Кто виноват и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король, — нет. Истребляя ложь, он ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и это хуже.

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.

ЗАКАТ

Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань

в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца.

— Уходи, грубый сын, — сказал папаша Крик, завидев Левку.

— Папаша, — ответил Левка, — возьмите камертон и настройте ваши уши.

— В чем суть?

— Есть одна девушка, — сказал сын. — Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку.

— Ты положил глаз на помойницу, — сказал папаша Крик, — а мать ее бандерша.

Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.

— Мендель, — завизжала она, — набей Левке вывеску! Он скушал у меня одиннадцать котлет...

— Ты скушал у матери одиннадцать котлет! — закричал Мендель и подступил к сыну, но тот вывернулся и побежал со двора, и Бенчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней Королем.

— Бенчик, — сказал он, — возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава

не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?

— Еще не время, — ответил Бенчик, — но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка.

И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. Оно тронулось в путь — время, древний кассир, — и повстречалось в пути с Двойрой, сестрой Короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко.

Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома, но теперь у Двойры болтается зоб под подбородком и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюг и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?

Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Буциса, и Фроима Грача, и Хаима Дронга подкованы

резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему:

— Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои работали на резине.

И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за Ближними Мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, как собака за хозяином.

Несметная толпа бежала за Криками, как будто они были карета «скорой помощи», и Манассе неутомимо висел на железной руке.

— Папаша, — сказал тогда отцу Левка, — в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли.

Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюг выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Пятирубеля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню на груду железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манассе. Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца Криков, прозванного Погромом?

— Время идет, — сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.

— Маруся занеслась, — стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.

— Маруся занеслась, — говорил он и смеялся, как дитя, — горе всему Израилю, кто эта Маруся?

В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо.

— Я любитель женщин, — сказал Бенчик строго и передал папаше двадцать пять рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому.

— Я отдам ей эти деньги, — ответил папаша, — и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости.

И на следующее утро, в обычный час, он выехал на Налетчике и Любезной Супруге, а в обед на двор к Крикам явилась Маруся Евтушенко.

— Бенчик, — сказала она, — я любила тебя, будь ты проклят.

И швырнула ему в лицо десять рублей. Две бумажки по пяти — это никогда не было больше десяти.

— Убьем папашу, — сказал тогда Бенчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек семи лет. И вот, кто бы сказал, что такое семилетнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть. Кто знал, что оно любит Менделя Погрома, а оно любило.

Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за шестьюдесятью его годами, и Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом.

В тот час солнце не дошло еще до Ближних Мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распоротого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, и работницы мадам Парабелюм таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабелюм стояла на крыльце, хлопала в ладоши.

— Бабы, — кричала она, — свои бабы и чужие бабы. Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики! Подходите за вечерним молоком.

Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок две кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла Двойра Крик, для того чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабелюм в свое молоко и сколько соды она всыпала в него.

Но Бенчик отозвал сестру в сторону.

— Сегодня вечером, — сказал он, — когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову друшляком. И пусть настанет конец фирме «Мендель Крик и Сыновья».

— Аминь, в добрый час, — ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе и что вся Молдаванка идет к Крикам в гости.

Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у Криков были перекидки. Жители шли, как идут на Ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубель прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из

Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка на чалом жеребце. И только Фроим Грач пришел совсем один, рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке.

Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату:

— Мендель Погром нам отец, — сказал он, — мадам Горобчик нам мать, а люди — псы, Бенчик. Мы работаем для псов.

— Надо подумать, — ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле. Налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил:

— Заворачивайте биндюг, дяденька Крик, бо сыны ваши хочут лупцовать вас...

Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и... умолк.

Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни. Левка стоял на правом фланге у дворницкой.

— Люди и хозяева! — сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут. — Вот смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку.

И, соскочив с биндюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тут подоспел Левка и сделал что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был сшит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы услышали быстрые шаги Двойры и ее голос.

— За Левку, — сказала она, — за Бенчика, за меня, Двойру, и за всех людей, — и провалила папаше голову друшляком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая как воробей.

— Не молчи, Мендель, — сказала она шепотом, — кричи что-нибудь, Мендель...

Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы и кони не распряжены и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бородою кверху.

— Каюк, — сказал Фроим Грач и отвернулся.

— Крышка, — сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом.

— Трое на одного, — сказал Пятирубель, — позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видел я еще того хлопца, который кончит старого Крика...

— Уже вечер, — прервал его Арье-Лейб, неведомо откуда взявшийся, — уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да».

И, усевшись возле папаши, Арье-Лейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ и умевшем плакать вовремя.

— Не скули, Арье-Лейб, — закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арье-Лейба в спину, — не читай нам панихид, ты не у себя на кладбище!

И, оборотившись к папаше Крику, Хаим Дронг сказал:

— Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок наутро, бо мне надо возить отходы...

И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступала у него между губами.

— У меня нет площадок, — сказал папаша Крик, — меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют.

И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать,

потому что все кормушки в конюшне давно сгнили, половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков, но Беня, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беней Королем, не сдался и заказал новую вывеску «извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподники для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил Пятирубеля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знайте это, люди, он уморился больше, чем если бы сделал пятнадцать туров из Арбузной гавани на Одессу-Товарную. И к вечеру, знайте это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам. И мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке.

— Возьми их под заметку, — сказал тогда Бенчик младшему брату, — держи их под микроскопом, эту пару новобрачных, потому, сдается мне, Левка, они копают на нас.

Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля, но он, Левка-подпасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, и мадам Горобчик ворочалась с боку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются, зеленые звезды по синему полю. Граммофон, наискосок, у Петьки Овсяницы, заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себе своим делом, и воздух, богатый воздух лился в окно к Левке, младшему из Криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал, и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к биндюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Менделеву голову. Ночь была во дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной.

— Т-с-с, — приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям, потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню.

— Анисим, — сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой. — Анисим, сердце мое, отопри мне ворота.

Анисим вылез из дворницкой, всклокоченный, как сено.

— Старый хозяин, — сказал он, — прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною, простым человеком. Идите отдыхать, хозяин...

— Ты отопрешь мне ворота, — прошептал папаша еще тише, — я знаю это, Анисим, сердце мое...

— Вернись в помещение, Анисим, — сказал тогда Бенчик, вышел к дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое как бумага, и он отвернулся, чтобы не видеть такого лица у своего хозяина.

— Не бей меня, Бенчик, — сказал старый Крик, отступая, — где конец мучениям твоего отца...

— О низкий отец, — ответил Бенчик, — как могли вы сказать то, что вы сказали?

— Я мог! — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове. — Я мог, Бенчик! — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный. — Вот вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни. Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими конями. Он видел мою славу и двадцать моих жеребцов и двенадцать площадок, окованных

железом. Он видел ноги мои, непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу, пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много...

— Папаша, — ответил Беня, не поднимая глаз, — вернитесь к вашей супруге.

Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми, желтыми своими ногами.

— Ай, — кричала она, катаясь по земле, — Мендель Погром и сыны мои, байстрюки мои... Что вы сделали со мной, байстрюки мои, куда дели вы мои волосы, мое тело, где они, мои зубы, где моя молодость...

Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица, она целовала сыновьям лица и обрывала им щеки.

— Старый вор, — ревела мадам Горобчик и скакала вокруг мужа, и крутила ему усы и дергала их, — старый вор, мой старый Мендель...

Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стекалась на скандал. И Беня Крик, на глазах у людей поседевший от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат, взял его за воротник и стал трясти как грушу.

— Бенчик, — сказал он, — мы мучаем старика... Слеза меня точит, Бенчик...

— Слеза тебя точит, — ответил Бенчик, и, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо. — О низкий брат, — прошептал он, — подлый брат, развяжи мне руки, а не путайся у меня под ногами.

И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом Криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце, бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза, бархатные скатерти были разостланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втолкнули его в комнаты. Там сидел уже с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из Криков. Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши.

— Ефим, — говорил Ушер Боярский своему закройщику, — будьте такой ласковый спуститься к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик prima, как для своего, и осмельтесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают — на английский морской

двубортный, на английский сухопутный однобортный, на лодзинский демисезон или на московский плотный...

— Какую робу желаете вы себе справить? — спросил тогда Бенчик папашу Крика. — Сознавайтесь перед мосье Боярским.

— Какое ты имеешь сердце на твоего отца, — ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза, — такую справь ему робу.

— Коль скоро папаша не флотский, — прервал отца Беня, — то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день.

Мосье Боярский подался вперед и пригнул ухо.

— Выразите вашу мысль, — сказал он.

— Моя мысль такая, — ответил Беня...

ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди,

сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон, — сказал гость Пескину, — на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую, — сказал Миша, снимая шляпу, — мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать, — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. — Где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за

ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист, — сказала ему мадам Пескина, — ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак, — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой, — сказала им мадам Пескина. — Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик

этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха... — сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце... Ты молчишь, Фроим, — прибавил Миша Яблочко, — ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни, — сказал им Миша Яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось

над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим, — сказал он коменданту, — мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень, — ответил Боровой, — тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пусто, — сказал тогда Фроим, — в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня, — сказал он, — это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь, — сказал старший, увидев Борового, — это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду, — прервал его другой конвоир, — помер и помер, все одинакие...

— Ан не все, — вскричал старший, — один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

— У меня они все одинакие, — упрямо повторил красноармеец помоложе, — все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о

непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю, — сказал он, — но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

— Я не сержусь, — ответил Боровой и отвернулся, — вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист, — сказал он после молчания, — ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстания в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш, — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, — вступил в РСДРП большевиков в тысяча девятьсот одиннадцатом году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносзоном в тысяча девятьсот тринадцатом году в городе Николаеве...

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь, — сказал он, — отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди, — сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон, — мы у фараона в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячная каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала. Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть, — сказала ему Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть...

— Больно не будет, — вскричала Юдифь, — в мякоть не больно...

— У меня нет мякоти, — сказал Меер Бесконечный, — меня не во что колоть...

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитье, — пробормотал он, — свет — бордель, люди — аферисты...

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня, — сказал он, — нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучились. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, — этот человек недостоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь — смитье, — повторил Меер Бесконечный, — люди — аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист, — закричал ему Симон-Вольф, — нас не во что колоть... У нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб, — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу, — ты простишь

меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента... За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб, — сказал Бройдин сильным своим голосом, — прочитай телеграммы из Татреспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков...

— Мне некогда ждать, — прервал заведующего Арье-Лейб, — у меня нет времени...

— Есть люди, — ничего не слыша, гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, — я интересуюсь это знать, — есть у нас Советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, — тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что Советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой, — сказал Федька покойнику, — когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей, — закричал Федька, — нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Леей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей. — Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозваные канторы пронзительными фальцетами запели «Эль молей рахим»[*] над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим»[**], — чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, — ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»[***]...

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

---

[*] Заупокойная еврейская молитва.

[**] Суета сует (*евр.*).

[***] И всяческая суета (*евр.*).

— Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь...

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим, — бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по Степовой улице, — кулой гэвэл…

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Соцобесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалидцы и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на

растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, — голос незнакомой женщины был певуч, — мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, — со мной можно ладить... Со мной можно ладить... — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, — не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессе-

ны и Эфрусси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни, — Бройдин стучал по памятнику сапогом, — они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать. — Заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается...

— Ну, двигай, — сказал заведующий Майоров, — у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень, — опустив глаза, сказал Бройдин, — и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

— Варит котелок, — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, — ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные

красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

1920–1929 гг.

КАРЛ-ЯНКЕЛЬ

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Иойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сно-

сили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу утром; синагога была хасидская, там доплясывались на пасху до исступления, как дервиши. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди, — о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще с нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что

молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство; постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали, — сказал ему Бычач, — ты должен двинуть это дело…

Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не от-

цеживал кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы, — орал старик, сверкая коралловыми глазками, — печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы... Печатайте мальчиков, толстые мамы...

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч, — ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?..

— Я удивляюсь, — сказал Нафтула, — когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы — болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис*. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у Советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось...

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол... Саша Светлов,

---

* Брис — обряд обрезания (*евр.*).

фельетонист «Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку. «Ты баран, Сема, — значилось в записке, — убей его иронией, убивает исключительно смешное... Твой Саша».

Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы, приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району шестьдесят четыре тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом

маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник — в бант и новые штиблеты, и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, сорок лет проработал он в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых детей, из них трое умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена...

— Мать очень набожна, это все видят, она всегда страдала от того, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание — в какой семье мать выросла... Местечко Меджибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики...

— Скажите, свидетельница, — прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу. — Скажите, свидетельница, — повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу...

Если бы синедрион существовал в наши дни, Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда...

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница, — рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал, — вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками...

— Идем дальше, — сказал Лининг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять сунул в челюсть, — идем далее... Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице... Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?..

— На Нежинской улице, у доктора Дризо...

— Пользовали у доктора Дризо...

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить...

— Имею представить суду справку, — безжизненное лицо Лининга приподнялось над столом, — из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиатров в Харькове...

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее, — треща зубами, сказал Лининг.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо, — сказала она, лежа на барьере, — я не могу всего запомнить, я измучена...

Лининг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами.

На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его...

— Идем далее, — сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах... Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень, — прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновенье. За дверью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля, — густым голосом прокричала старуха, — ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика...

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв, — закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить, — приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят, — ответил издалека женский голос, — тебя дожидались...

— Припутана дочка, — сказал рабочий, сидевший рядом со мной, — дочка в доле...

— Семья, брат, — произнес его сосед, — ночное дело, темное... Ночью запутают, днем не распутаешь...

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала; портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли, — сказала киргизка, — найдется кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими, как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет, — сказала девочка, — ишь дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком... Женщина высвободила другую

грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный, — сказала она, поправляя мальчику чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет...

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой! — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии.

Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок…

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел

по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он гимназистам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо. — Дружок мой, — обернулся Пятницкий, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было

счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и

только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшие-

ся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «Виват!» Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах

и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на Охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела,

ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек.

Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы! — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. — Видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он, — где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек; чего наберешь, — все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам, што ль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека разворошил турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне, — голуби, — повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной

птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил

только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидав шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины.

Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

1925

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие,

всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении Маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву...

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чикчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол, и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться, — сказала мне Галина, — нам надо умыться, маленький раввин... У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови...

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро ее двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая

посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький, — сказала она, — поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь, — прошептала она вдруг, — у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой...

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, своротенной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так, — говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать... Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность... Ты подай ему, друг, слышь, подай...

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого сталоверского, от него евреям выгода, другому никому...

И Власов с отчаянием закричал о сталоверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан, — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним, — капитан, — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу? — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот, — сказал отец и не встал с колен, — они разбивают кровное, капитан, за что...

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с, — сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки.

Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой, — сказала она, — он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя, — пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки, — сказала мать нам навстречу, — человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше счастье, — ты все им отдал... Паршивые копейки, — закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький, — улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На

плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею...

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку, — мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил, — сказал Кузьма, входя, — теперь очень красивые лежат, — вот и служку привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком...

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит, — проговорил дворник дружелюбно, — служке кишку напихать — служка цельную ночь богу надоедать будет...

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика.

— Прошу вас, реб Аба, — сказал отец, — помолитесь над покойником, я заплачу вам...

— А я опасываюсь, что вы не заплатите, — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо, — я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач... Оптовое дело, — сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе.

— «...Граждане свободной России, — читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот, — граждане свободной России, с светлым вас Христовым воскресением...»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех, — вскричала она, высовываясь из-под ротонды, — я смеюсь, Аба... Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом, — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл, — произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом, — ой, Шойл, дорогой человек...

Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас.

— Манус, — закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь, — смотри, как худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль, — сказал он боязливо, — нельзя передать тебе, как я жалею Шойла...

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист, — сказал Аба, подходя ко мне, — пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило...

И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника.

В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком, тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина, — сказала мать певучим, сильным голосом, — как мы беспокоим вас, и милую Надежду Ивановну, и всех ваших... Как мне стыдно, милая Галина...

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок, — шептала мать, — потерпи для мамы...

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда...

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. Наутро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

Он велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурные воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства.

1925

ДЕТСТВО. У БАБУШКИ

По субботам я возвращался домой поздно, после шести уроков. Хождение по улице не казалось мне пустым занятием. Во время ходьбы удивительно хорошо мечталось и все, все было родное. Я знал вывески, камни домов, витрины магазинов. Я их знал особенно, только для себя и твердо был уверен, что вижу в них главное, таинственное, то, что мы, взрослые, называем сущностью вещей. Все мне крепко ложилось на душу. Если говорили при мне о лавке, я вспоминал вывеску, золотые потертые буквы, царапину в левом углу ее, барышню-кассиршу с высокой прической и вспоминал воздух, который живет возле этой лавки и не живет ни у какой другой. А из лавок, людей, воздуха, театральных афиш я составлял мой родной город. Я до сих пор помню, чувствую и люблю его; чувствую так, как мы чувствуем запах матери, запах ласки, слов и улыбки; люблю потому, что в нем я рос, был счастлив, грустен и мечтателен, страстно неповторимо мечтателен.

Шел я всегда по главной улице, там было больше всего людей.

Та суббота, о которой мне хочется рассказать, приходилась на начало весны. В эту пору у нас в воздухе нет тихой нежности, так сладостной в средней России, над мирной речкой, над скромной долиной. У нас блестящая, легкая прохлада, неглубокая, веющая холодком страстность. Я был совсем пузырем в то время и ничего не понимал, но весну чувствовал и от холодка цвел и румянился.

Ходьба занимала у меня много времени. Я долго рассматривал бриллианты в окне ювелира, прочитал театральные афиши от а до ижицы, а однажды осматривал в магазине мадам Розали бледно-розовые корсеты с длинными волнистыми подвязками. Собираясь идти дальше, я наткнулся тогда на высокого студента с большими черными усами.

Он улыбался и спросил меня: «Изучаете?» Я смутился. Тогда он важно похлопал меня по плечу и покровительственно сказал: «Продолжайте в том же духе, коллега. Хвалю. Всех благ!» Расхохотался, повернулся и ушел. Я был очень сконфужен, поплелся домой и на витрины мадам Розали уже не заглядывался.

Этот субботний день полагалось проводить у бабушки. У нее была отдельная комната, в самом конце квартиры, за кухней. В углу комнаты стояла печь: бабушка всегда зябла. В комнате было жарко, душно, и от этого мне всегда бывало тоскливо, хотелось вырваться, хотелось на волю.

Я перетащил к бабушке мои принадлежности, книги, пюпитр и скрипку. Стол для меня был уже накрыт. Бабушка села в углу. Я ел. Мы молчали. Дверь была заперта. Мы были одни. На обед была холодная фаршированная рыба с хреном (блюдо, ради которого стоит принять иудейство), жирный, вкусный суп, жареное мясо с луком, салат, компот, кофе, пирог и яблоки. Я съел все. Я был мечтателем, это правда, но с большим аппетитом. Бабушка убрала посуду. В комнате сделалось чисто. На окошке стояли чахленькие цветы. Из всего живущего бабушка любила своего сына, внука, собаку Мимку и цветы. Пришла и Мимка, свернулась калачиком на ди-

ване и заснула тотчас. Она была ужасная соня, но славная собака, добрая, разумная, небольшая и красивая. Мимка была мопсом. Шерсть у нее была светлая. До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой пятнадцатилетний собачий век, и любила нас, — это так понятно, а больше всех суровую и ко всему безжалостную бабушку. О том, какие друзья, молчаливые и скрытные, они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история.

Итак, нас было трое — я, бабушка и Мими. Мими спала. Бабушка, добрая, в праздничном шелковом платье, сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было 6 уроков, а должен был прийти г. Сор[окин], учитель музыки, и г. Л., учитель еврейского языка, отдавать пропущенный урок и пот[ом], м[ожет] б[ыть], Peysson*, учитель французского языка, и уроки приходилось приготовлять. С Л. я справился бы, мы были старые знакомые, но музыка, гаммы — какая тоска! Сначала я принялся за уроки. Разложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, боже сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее, круглые, желтые, прозрачные, не отрывались от меня. Я перелистывал страницу — они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего, неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык.

* Пейссон (*фр*.).

Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно, слова коверкала на свой, особенный, лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотна по-русски, конечно, не была и книгу держала вниз головой. Но это не мешало мне рассказать ей урок с начала до конца. Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка, она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел «богатырь» — так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги, я тогда читал «Первую любовь» Тургенева. Мне все в ней нравилось, ясные слова, описания, разговоры, но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижима, и даже жаркий одуряющий воздух стоял не шевелясь, точно чувствовал, что я занимаюсь, нельзя мне мешать. Жару в комнате все прибавлялось. Стала похрапывать Мимка. А раньше было тихо, призрачно тихо, не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь, и удар хлыстом, и этот пронзительный свист — только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня. Из этого тревожного состояния

меня вывел звонок. Пришел Сор[окин]. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную визгливую музыку. Надо признать, этот Сор[окин] был славный малый, носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы. В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех сил. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи холодно и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были не интересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам, и только. Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате, перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую, морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул.

Я выдержал и следующий час — урок господина Л., дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь.

Наступил вечер. Зажглись в небе далекие золотые точки. Наш двор — глубокую клетку — ослепила луна. У соседей женский голос запел романс «Отчего я безумно люблю». Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно. Я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой; темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошлась

по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительница чаю. Для меня был припасен пряник. Мы пили помногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь спать?» — спросила она. Я ответил: «Нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременен детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить. Он пошел к цадику и сказал: «Рабби, мне досаждает комиссар до смерти. Просите за меня бога». — «Иди с миром, — сказал ему цадик. — Комиссар успокоится». Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым с багровым вздутым лицом.

Бабушка замолчала. Самовар гудел. Соседка все пела. Луна все слепила. Мими помахала хвостом. Она была голодна.

— В старину люди верили, — промолвила бабушка. — Было проще жить на свете. Когда я была девушкой — взбунтовались поляки. Возле нас был графский майонтек. К графу приезжал сам царь. У него гуляли по семеро суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окна. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание. Пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму. Старику хотели завязать глаза. Он сказал «не надо», стал против солдат и скомандовал: «пали». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование.

Самовар потухал. Бабушка выпила последний, холодный уже стакан чаю, пососала беззубым ртом кусочек сахару.

— Твой дед, — заговорила она, — знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом.

И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь, он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет.

— Учись, — вдруг говорит она с силой, — учись, ты добьешься всего — богатства и славы. Ты должен знать всё. Все будут падать и унижаться перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям. Не имей друзей. Не отдавай им денег. Не отдавай им сердца.

Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжко — навеки — ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать, надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую (голову?).

В кухне гремят посудой. Бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический и гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так

недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон, наймичка, — гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. — Я здесь хозяйка. Ты добро уничтожаешь. Вон». Я не могу вынести этого оглушающего железного крика. Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелко и беспощадно вздрагивает, глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди», — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты.

Мы ужинаем в молчании. Едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, и куда они смотрят — я не знаю. После ужина она...*

Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко, сплю молодо за семью печатями в бабушкиной жаркой комнате.

Саратов, 12.11.15

В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я

---

* Фраза обрывается. Заключительный абзац написан на отдельном листке. — *Примечание составителя.*

проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало бильярдной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники, разинув рты, слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги.

Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я поехал на паровичке к 16-й станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком

красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях, укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем

Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, — не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа

я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь, но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на Судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока: он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала:

«Очень приятно», — протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем, — Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Он пленных приводил толпами в Рим,
Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье...
При виде нищеты он слезы лил, —

Так мягко властолюбье не бывает.
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Вы видели во время Луперкалий,
Я трижды подносил ему венец,
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, — глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает.
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту,
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом кричал мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во

чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
Они теперь из ваших глаз польются.
Всем этот плащ знаком. Я помню даже,
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке.
Где находился он, разбив неврийцев.
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь,
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасброд-

ный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на волю, — это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, — и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок, — сказала Бобка, — и где дитя находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

1930

ПРОБУЖДЕНИЕ

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю

и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма, — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот рас-

пев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors C°, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир... Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать

вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими... Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены...

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора,

с бронзовыми, чуть кривыми ногами, — он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит... С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь, — Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать, — произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним скверикам Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк… Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери, — о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана… Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы, — думал я. — Бог мой, почему это не пришло мне в голову… Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями…»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного

дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза...

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне...

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту... Я убью его... Конец...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они

хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия... Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула... Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

1930

ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импрессарио

не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскра-

шенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора…

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему

горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, — грозно, бесшумно сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали в экипажах к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке,

кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent»*, но, перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах

---

* «Граф Кентский» (*англ.*).

содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька, — называют эти мужья своих жен, — золотко, деточка...

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.

СПРАВКА

В ответ на ваш запрос сообщаю, что литературную работу я начал рано, лет двадцати. Меня влекла к ней природная склонность, поводом послужила любовь к женщине по имени Вера. Она была проституткой, жила в Тифлисе и слыла среди своих подруг деловой женщиной: брала в заклад вещи, покровительствовала начинающим и при случае торговала в компании с персами на восточном базаре. Каждый вечер выходила она на Головинский проспект и — рослая, белолицая — плыла впереди толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Я крался за ней безмолвно, копил деньги и, наконец, решился. Вера запросила десять рублей, прижалась ко мне мягким, большим плечом и забыла обо мне. В харчевне, где мы ели люля-кебаб, она, разгоревшись от волнения, убеждала кабатчика расширить торговлю, переехать на Михайловский проспект. Из харчевни мы отправились к сапожнику за туфлями, потом, оставив меня одного, Вера пошла к подруге, у которой были крестины в тот день. В двенадцатом часу ночи пришли мы в гостиницу, но и там нашлись дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Вера тискала коленями ее чемоданы, заворачивала в масляную бумагу пирожки. Старуха с рыжей сумкой на боку и в газовой шляпенке ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами.

Я ждал Веру в ее номере, заставленном трехногими креслами, с глиняной печью и сырыми углами в разводах. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи, каждая умирала по-своему; чужая жизнь шаркала и разражалась хохотом в коридоре. Прошла вечность, прежде чем явилась Вера.

— Сейчас сделаемся, — сказала она и прикрыла за собой дверь.

Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой, перелила согревшуюся воду в кружку, от которой отходила белая кишка. Она бросила кристалл в кружку и стала стягивать с себя платье.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала Вера, — поверишь, она нам как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

В постели, слепо уставившись на меня расплывшимися сосками, лежала большая женщина с опавшими плечами.

— Что сидишь невесел? — спросила Вера и потянула меня к себе, — или денег жалко?..

— Моих денег не жалко...

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?

— Я не вор, а мальчик...

— Вижу, что не корова, — зевнув, сказала Вера, глаза ее слипались.

— Мальчик... — повторил я и похолодел от внезапности моей выдумки.

Отступать было некуда, и я рассказал случайной моей спутнице такую историю:

— Мы жили в Алешках Херсонской губернии, — придумано было для начала, — отец работал чертежником, пытался дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, картежницу и лакомку. Десяти лет стал я воровать у отца деньги, а подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня со стариком. Звали его Степаном Ивановичем, я сошелся с ним, и мы прожили всего четыре года...

— Да тебе лет-то сколько было?..

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от человека, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили с ним четыре года, Степан Иванович оказался доверчивым человеком, всем верил на слово... Мне бы ремесло изучить за эти годы, но у меня на уме одно было — биллиард... Приятели разорили Степан Иваныча. Он выдал им бронзовые векселя, векселя предъявили ко взысканию...

Как взбрели мне на ум бронзовые векселя — кто знает? — но я сделал правильно, упомянув о них. Женщина всему поверила, услышав о векселях. Она закуталась в шаль, красный платок заколебался на ее плечах.

— ...Степан Иваныч разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд, я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, к церковному старосте...

Церковный староста… Это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца… Чтобы поправиться — я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья… Старик вскакивал по ночам и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь… Он скоро умер… Родственники прогнали меня. И вот я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане. Номерной гостиницы, где я остановился, обещал богатых гостей, но пока он приводит одних духанщиков…

И я стал молоть о духанщиках, о грубости их и корыстолюбии — вздор, слышанный мной когда-то… Жалость к себе разрывала мне сердце, гибель казалась неотвратимой. Я замолчал. История была кончена; керосинка потухла. Вода закипела и остыла. Женщина неслышно прошла по комнате. Передо мной двигалась ее спина, мясистая и печальная.

— Чего делают, — прошептала она и развела створки окна, — боже, чего делают…

В квадрате окна уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. Остывающие камни посвистывали на улице. Запах воды и пыли шел от мостовой.

— Ну, а баб ты знаешь? — обернулась ко мне Вера.

— Откуда мне их знать… Кто меня допустит…

— Чего делают, — сказала Вера, — боже, чего делают…

Я прерву здесь рассказ, для того чтобы спросить вас, товарищи, видели ли вы, как рубит деревенский плотник избу для своего собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки от обтесываемого бревна?..

В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня немудрой своей науке. Я испытал в ту ночь любовь, полную терпения, и услышал слова женщины, обращенные к женщине.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки.

Когда испарина бисером обложила меня — я поставил стакан донышком вверх и придвинул к Вере две золотые пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

МОЙ ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Жить весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым — это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные

ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути, — зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.

Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания — это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не

решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов — неутомимых этих пошлых и роющих слов любви — тоже не было. Смолоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием — сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..

Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель — я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.

Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту; ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.

Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая — она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.

— В какие Палестины?

Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась.

— Вы что там лепечете?..

Она нахмурилась, глаза ее смеялись.

— Куда бог несет?..

Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.

— Десятка — вам не обидно будет?..

Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.

— Да есть ли они у тебя, десять рублей?..

Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным.

— Десятку мне, — отдавая кошелек, сказала Вера, — пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..

Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.

— В Боржом бы от этакой жары...

Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.

— Ну и дуй в Боржом...

Это я сказал — «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено — это слово.

— Пети-мети нет, — ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.

Мы дошли до подножия горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.

— Вот не сдвинешь его с места, ишака этого... На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять...

Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры — князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники

в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масленую бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпёнке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час — не меньше — ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.

Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом...

В коридоре шаркала и разражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. В комнату вошла Вера.

— Проводили Федосью Маврикиевну, — сказала она. — Поверишь, она нам всем как родная была... Старушка одна едет, ни попутчика, никого...

Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.

— Заждался небось… Ничего, сейчас сделаемся…

Но что собиралась Вера делать — я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в стороны.

— Пока вода доспеет, — сказала моя возлюбленная, — подь-ка сюда, попрыгунчик…

Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель…

О, боги моей юности!.. Как не похожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг…

Вера подложила ладони под груди и покачала их.

— Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда…

Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.

— Или денег пожалел?

— Моих денег не жалко...

Я сказал это рвущимся голосом.

— Почему так — не жалко?.. Или ты вор?

— Я не вор.

— Нинкуешь у воров?

— Я мальчик.

— Я вижу, что не корова, — пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.

— Мальчик, — закричал я, — ты понимаешь, мальчик у армян...

О, боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет — пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле, — я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице, — я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного па-

роходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года...

— Да лет-то тебе сколько было тогда?

— Пятнадцать...

Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:

— Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло — я не ударил пальцем о палец... У меня другое было на уме — бильярд... Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию...

Бронзовые векселя... Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.

...Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте...

Церковный староста — это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.

Церковный староста — сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот — я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами... Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа...

И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то... Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена.

Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.

— Чего делают, — прошептала Вера не оборачиваясь, — боже, чего делают...

Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой... Голова Веры пошатывалась.

— Значит — бляха... Наша сестра — стерва...

Я понурился.

— Ваша сестра — стерва...

Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.

— Чего делают, — повторила женщина громче. — Боже, чего делают... Ну, а баб ты знаешь?

Я приложил обледеневшие губы к ее руке.

— Нет... Откуда мне их знать, кто меня допустит?

Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мной. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.

— Сестричка, — прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной, — сестричка моя, бляха...

Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.

Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города.

Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис — город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.

— Расплеваться хочешь, сестричка?..

Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых — мой первый гонорар.

Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один — и это будет мой последний — золотой.

ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованью были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью тор-

жественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки; атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо

упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали

ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврейский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков

остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю…

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает…

Я никогда не имел дела с мускатом 83 года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик… Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»…

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France*… Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце отполировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку

---

* Солнце Франции… (*фр.*).

Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабавимся, ma belle?»* — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо…» — «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабавимся, ma belle, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte...** За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце

---

* Красавица (*фр*.).

** Этот пройдоха Полит... (*фр*.)

Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux*, за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle...

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската 83 года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься,

---

* Старина (*фр.*).

и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках и поедал свои

испражнения. Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

ДОРОГА

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню.

В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место…

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо. За спиной телеграфиста топтался сутулый большой мужик в развязавшемся треухе. Начальник мигнул мужику, тот поставил на пол фонарь, расстегнул убитого, отрезал ему ножиком половые части и стал совать в рот его жене.

— Брезговала трефовым, — сказал телеграфист, — кушай кошерное.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом

отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф*, Хаим...

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной... Уходи, родной гражданин...

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице

---

* Беги (*евр.*).

не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим, — нация обязана существовать...

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит... Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров.

Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым Советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербур-

гу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железные собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков, — сказал комендант, — он там теперь...

— Не дойти мне, — и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне, — сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви.

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета, флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос Калугин. Перед ним на столе горою ле-

жали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты, — сказал Калугин, поднимая голову, — здорово… Тебя здесь надо…

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и… проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, — сказал Калугин, закатывая на мне рукава, — мальчик был пудов на девять…

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы

заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была, — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majesté, l`Empereur de toutes les Russies*, — было выгравировано на цинковой крышке, — от доброжелательного кузена...»

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы двадцать сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была, — сказал он, — авось не считаны... Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское... А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах — латки...

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки

---

* Его величеству императору всероссийскому (*фр.*).

и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю…

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них… Языки знает…

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

1920–1930 г.

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

Сергей Васильевич Малышев, ставший потом председателем Нижегородского ярмарочного комитета, образовал летом восемнадцатого года первую в нашей стране продовольственную экспедицию. С одобрения Ленина он нагрузил несколько поездов товарами крестьянского обихода и повез их в Поволжье, для того, чтобы там обменять на хлеб.

В эту экспедицию я попал конторщиком. Местом действия мы выбрали Ново-Николаевский уезд Самарской губернии. По вычислениям ученых, этот уезд при правильном на нем хозяйствовании может прокормить всю Московскую область.

Неподалеку от Саратова, на прибрежной станции Увек, товары были перегружены на баржу. Трюм этой баржи пре-

вратился в самодельный универсальный магазин. Между выгнутыми ребрами плавучего склада мы прибили портреты Ленина и Маркса, окружили их колосьями, на полках расположили ситцы, косы, гвозди, кожу; не обошлось без гармоник и балалаек.

Там же, на Увеке, нам придали буксир — «Иван Тупицын», названный по имени волжского купца, прежнего хозяина. На пароходе разместился «штаб» — Малышев с помощниками и кассирами. Охрана и приказчики устроились в барже, под стойками.

Перегрузка заняла неделю. В июльское утро «Тупицын», вываливая жирные клубы дыма, потащил нас вверх по Волге, к Баронску. Немцы называли его Катариненштадт. Это теперь столица области немцев Поволжья, прекрасного края, населенного мужественными немногословными людьми.

Степь, прилегающая к Баронску, покрыта таким тяжелым золотом пшеницы, какое есть только в Канаде. Она завалена коронами подсолнухов и масляными глыбами чернозема. Из Петербурга, вылизанного гранитным огнем, мы перенеслись в русскую, и этим еще более необыкновенную Калифорнию. Фунт хлеба стоил в нашей Калифорнии шестьдесят копеек, а не десять рублей, как на севере. Мы накинулись на булку с ожесточением, которого теперь нельзя передать; в паутинную мякоть вонзались собачьи отточившиеся зубы. Недели две после приезда нас томил хмель блаженного несварения желудка. Кровь, потекшая по жилам, имела — так мне казалось — вкус и цвет малинового варенья...

Малышев рассчитал верно: торговля пошла ходко. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег. По спинам сытых лошадей двигалось солнце. Солнце сияло на вершинах пшеничных холмов. Телеги тысячами точек спускались к Волге. Рядом с лошадьми шагали гиганты в шерстяных фуфайках, потомки голландских фермеров, переселенных при Екатерине в Приволжские урочища. Лица их остались такими же, как в Саардаме и Гаарлеме. Под патриархальным мхом бровей, в сети кожаных морщин, блестели капли поблекшей бирюзы. Дым трубок таял в голубых молниях, протянувшихся над степью. Колонисты медленно всходили на баржу по трапу; деревянные их башмаки стучали, как колокола твердости и покоя. Товар выбирали старухи в накрахмаленных чепцах и коричневых тальмах. Покупки выносились к бричкам. Доморощенные живописцы рассыпали вдоль этих возков охапки полевых цветов и розовые бычьи морды. Наружная сторона бричек была закрашена обыкновенно синим глубоким тоном. В нем горели восковые яблоки и сливы, тронутые солнечным лучом.

Из дальних мест приезжали на верблюдах. Животные ложились на берегу, расчерчивая горизонт сваливающимися горбами. Торговля наша кончалась к вечеру. Лавка запиралась; охрана, состоявшая из инвалидов, и приказчики разоблачались и прыгали с бортов в Волгу, подожженную закатом. В далекой степи красными валами ходили хлеба, в небе обрушивались стены заката. Купанье сотрудников продо-

вольственной в Самарскую губернию экспедиции (так назывались мы в официальных бумагах) представляло собой необыкновенное зрелище. Калеки поднимали в воде илистые розовые фонтаны. Охранники были об одной ноге, другие недосчитывали руки или глаза. Они спрягались по двое, чтобы плавать. На двух человек приходилось две ноги, они колотили обрубками по воде, илистые струи втягивались водоворотом между их тел. Рыча и фыркая, калеки вываливались на берег; разыгравшись, они потрясали культяпками навстречу несущимся небесам, закидывали себя песком и боролись, уминая друг дружке обрубленные конечности. После купанья мы отправлялись ужинать в трактир Карла Бидермаера. Этот ужин увенчивал наши дни. Две девки с кроваво-кирпичными руками — Августа и Анна — подавали нам котлеты, рыжие булыжники, шевелившиеся в струях кипящего масла и заваленные скирдами жареного картофеля. Для вкуса в деревенскую гороподобную эту еду подбавляли лук и чеснок. Перед нами ставили банки с кислыми огурцами. Из круглых окошечек, вырезанных высоко, у потолка, шел с базарной площади дым заката. Огурцы курились в багровом дыму и пахли, как морской берег. Мы запивали мясо сидром. Обитатели Песков и Охты, обыватели пригородов, обледеневших в желтой моче, мы каждый вечер наново чувствовали себя завоевателями. Окошечки, высеченные в столетних черных стенах, походили на иллюминаторы. Сквозь них просвечивал дворик божественной чистоты, немецкий дворик с кустами роз и глициний, с фиолетовой пропастью

раскрытой конюшни. Старухи в тальмах вязали у порогов чулки Гулливера. С пастбищ возвращались стада. Августа и Анна присаживались на скамеечки к коровам. В сумерках мерцали радужные коровьи глаза. Войны, казалось, не было и нет на свете. И все-таки фронт уральских казаков проходил в двадцати верстах от Баронска. Карл Бидермаер не догадывался о том, что гражданская война катится к его дому.

Ночью я возвращался в наш трюм с Селецким, таким же конторщиком, как и я. Он запевал по дороге. Из стрельчатых окон высовывались головы в колпаках. Лунный свет стекал по красным каналам черепицы. Глухой лай собак поднимался над русским Саардамом. Августы и Анны, окаменев, слушали пение Селецкого. Бас его доносил нас до степи, к готической изгороди хлебных амбаров. Лунные перекладины дрожали на реке, тьма была легка; она отступала к прибрежному песку; в порванном неводе загибались светящиеся черви.

Голос Селецкого был неестественной силы. Саженный детина, он принадлежал к тому разряду провинциальных Шаляпиных, которых, на счастье наше, рассеяно множество на Руси. У него было такое же лицо, как у Шаляпина, — не то шотландского кучера, не то екатерининского вельможи. Он был простоват, не в пример божественному своему прототипу, но голос его, безгранично, смертельно раздвигаясь, наполнял душу сладостью самоуничтожения и цыганского забытья. Кандальные песни он предпочитал итальянским ариям. От Селецкого первый раз услышал я гречаниновскую

«Смерть». Грозно, неумолимо, страстно шло по ночам над темной водой:

> ...Она не забудет, придет, приголубит,
> Обнимет, навеки полюбит, —
> И брачный свой, тяжкий, наденет венец!..

В мгновенной оболочке, называемой человеком, песня течет, как вода вечности. Она все смывает и все родит.

Фронт проходил в двадцати верстах. Уральские казаки, соединившись с чешским батальоном майора Боженилика, пытались выбить из Николаевска разрозненные отряды красных. Севернее — из Самары — наступали войска Комуча — Комитета членов Учредительного собрания. Распыленные и необученные, наши части перегруппировались на левом берегу. Только что изменил Муравьев. Советским главнокомандующим был назначен Вацетис.

Оружие для фронта привозили из Саратова. Раз, а то и два раза в неделю к баронской пристани пришвартовывался бело-розовый самолетский пароход «Иван-да-Марья». Он привозил винтовки и снаряды. Палуба парохода бывала уставлена ящиками с набитыми по трафарету черепами, с надписью под черепами: «Смертельно».

Командовал пароходом Коростелев, испитой человек с льняным висячим волосом. Коростелев был бегун, неустроенная душа, бродяга. Он на парусниках ездил по Белому морю, пешком обошел Россию, побывал в тюрьме и в монастыре на послушании.

Возвращаясь от Бидермаера, мы всегда заходили к нему, если находили у пристани огни «Иван-да-Марьи». Однажды ночью, поравнявшись с хлебными амбарами, с волшебной этой линией синих и коричневых замков, мы увидели факел, пылавший высоко в небе. Мы возвращались с Селецким домой в том размягченном и страстном состоянии, какое может произвести необыкновенная эта сторона, молодость, ночь, тающие огненные кольца на реке.

Волга катилась неслышно. Огней не было на «Иван-да-Марье», корпус парохода темнел мертво, только факел рвался высоко над ним. Пламя металось над мачтой и чадило. Селецкий пел, побледнев и закинув голову. Он подошел к воде и оборвал. Мы взошли на мостики, никем не охраняемые. На палубе валялись ящики и орудийные колеса. Я толкнул дверь капитанской каюты, она открылась. На залитом столе горела без стекла жестяная лампа. Железка, окружавшая фитиль, плавилась. Окна были забиты горбатыми досками. От бидонов, валявшихся под столом, шел серный дух самогона. Коростелев в холщовой рубахе сидел на полу в зеленых струях блевотины. Монашеский волос, склеившись, стоял вокруг его лица. Коростелев не отрываясь смотрел с полу на своего комиссара латыша Ларсона. Тот, поставив перед собой желтый картон «Правды», читал его в свете плавящегося керосинового костра.

— Вот ты какой, — сказал с полу Коростелев, — продолжай то, что ты говорил... Мучай нас, если хочешь...

— Зачем я буду говорить, — отозвался Ларсон, повернулся спиной и отгородился своим картоном, — лучше я тебя послушаю...

На бархатном диване, свесив ноги, сидел рыжий мужик.

— Лисей, — сказал ему Коростелев, — водки.

— Вся, — ответил Лисей, — и достать негде...

Ларсон отставил картон и захохотал вдруг, точно дробь стал выбивать.

— Российскому человеку выпить требуется, — латыш говорил с акцентом, — у российского человека душа мало-мало разошлась, а тут достать негде... Зачем тогда Волга называется?..

Худая детская шея Коростелева вытянулась, ноги его в холщовых штанах разбросались по полу. Жалобное недоумение отразилось в его глазах, потом они засияли.

— Мучай нас, — сказал он чуть слышно и вытянул шею, — мучай нас, Карл...

Лисей сложил пухлые руки и посмотрел на латыша сбоку:

— Ишь, Волгу ремизит... Нет, товарищ, ты нашу Волгу не ремизь, не порочь... Знаешь, как у нас песня играется: «Волга-матушка, река-царица...»

Мы с Селецким все стояли у двери. Я подумывал об отступлении.

— Вот никоим образом не пойму, — обратился к нам Ларсон, он, видимо, продолжал давнишний спор, — может, товарищи разъяснят мне, как это так выходит, что железобетон оказывается хуже березок да осинок, а дирижабли хуже калуцкого дерьма?..

Лисей повертел головой в ваточном воротнике. Ноги его не доставали до полу, пухлыми пальцами, прижатыми к животу, он плел невидимую сеть.

— Что ты, друг, об Калуге знаешь, — успокоительно сказал Лисей, — в Калуге, я тебе скажу, знаменитый народ живет: великолепный, если желаешь знать, народ...

— Водки, — произнес с полу Коростелев.

Ларсон снова запрокинул поросячью свою голову и резко захохотал.

— Мы-ста да вы-ста, — пробормотал латыш, придвигая к себе картон, — авось да небось...

Бурный пот бил на его лбу, в колтуне бесцветных волос плавали масляные струи огня.

— Авось да небось, — он снова фыркнул, — мы-ста да вы-ста...

Коростелев потрогал пальцами вокруг себя. Он двинулся и пополз, забирая вперед руками, таща за собой скелет в холщовой рубахе.

— Ты не смеешь мучить Россию, Карл, — прошептал он, подползши к латышу, ударил его сведенной ручкой по лицу и с визгом стал об него стучаться.

Тот надулся и поверх сползших очков осмотрел всех нас. Потом он обмотал вокруг пальцев шелковую реку волос Коростелева и вдавил его лицом в пол. Он поднял его и снова опустил.

— Получил, — отрывисто сказал Ларсон и отшвырнул костлявое тело, — и еще получишь...

Коростелев, упершись в ладони, приподнялся над полом по-собачьи. Кровь текла у него из ноздрей, глаза косили. Он поводил ими, потом вскинулся и с воем забрался под стол.

— Россия, — проговорил он под столом и забился, — Россия...

Лопаты босых его ступней выскочили и втянулись. Одно только слово — со свистом и стоном — можно было расслышать в его визге.

— Россия, — выл он, протягивая руки, и колотился головой.

Рыжий Лисей сидел на бархатном диване.

— С полдня завелись, — обернулся он ко мне и Селецкому, — все об Рассее бьются, все Рассею жалеют...

— Водки, — твердо сказал из-под стола Коростелев. Он вылез и стал на ноги. Волосы его, замокшие в кровавой луже, падали на щеку.

— Где водка, Лисей?

— Водка, друг, в Вознесенском, сорок верст, хошь по воде сорок верст, хошь по земле сорок верст... Там ноне храм, самогон обязан быть... Немцы, что хошь делай, не держат...

Коростелев повернулся и вышел на прямых журавлиных ногах.

— Мы калуцкие, — неожиданно закричал Ларсон.

— Не уважает Калугу, — вздохнул Лисей, — хоть ты што... А я в ей был, в Калуге... В ей стройный народ живет, знаменитый...

За стеной прокричали команду, послышался звук якоря, якорь пошел вверх. Брови Лисея поднялись.

— Никак в Вознесенское едем?..

Ларсон захохотал, откинув голову. Я выбежал из каюты. Босой Коростелев стоял на капитанском мостике. Медный отблеск луны лежал на раскроенном его лице. Сходни упали на берег. Матросы, кружась, наматывали канаты.

— Дмитрий Алексеевич, — крикнул вверх Селецкий, — нас-то отпусти, мы-то при чем?..

Машины, взорвавшись, перешли на беспорядочный стук. Колесо рыло воду. У пристани мягко разодралась сгнившая доска. «Иван-да-Марья» ворочал носом.

— Поехали, — сказал Лисей, вышедший на палубу, — поехали в Вознесенское за самогоном...

Раскручивая колесо, «Иван-да-Марья» набирал быстроту. В машине нарастала масляная толкотня, шелест, свист, ветер. Мы летели во мраке, не сворачивая по сторонам, сбивая бакены, сигнальные вешки и красные огни. Вода, пенясь под колесами, летела назад, как позлащенное крыло птицы. Луна врылась в черные водовороты. «Фарватер Волги извилист, — вспомнил я фразу из учебника, — он изобилует мелями...» Коростелев переминался на капитанском мостике. Голубая светящаяся кожа обтягивала его скулы.

— Полный, — сказал он в рупор.

— Есть полный, — ответил глухой невидимый голос.

— Еще дай...

Внизу молчали.

— Сорву машину, — ответил голос после молчания. Факел сорвался с мачты и проволочился по крутящейся волне. Пароход качнулся; взрыв, продрожав, прошел по корпусу. Мы летели во мраке, никуда не сворачивая. На берегу взвилась ракета, по нас ударили трехдюймовкой. Снаряд просвистал в мачтах. Поваренок, тащивший по палубе самовар, поднял голову. Самовар выскользнул из его рук, покатился по лестнице, треснул, и блещущая струя понеслась по гряз-

ным ступеням. Поваренок оскалился, привалился к лестнице и заснул. Изо рта его забил смертный запах самогона. Внизу, среди замаслившихся цилиндров, кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода «Иван-да-Марья» была пьяна. Один рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня.

— Жид, — сказал мне рулевой, — что с детями будет?..

— С какими детями?

— Дети не учатся, — сказал рулевой, ворочая кругом, — дети воры будут...

Он приблизил ко мне свинцовые синие скулы и заскрипел зубами. Челюсти его скрежетали, как жернова. Зубы, казалось, размалываются в песок.

— Загрызу...

Я попятился от него. По палубе проходил Лисей.

— Что будет, Лисей?

— Должен довезти, — сказал рыжий мужик и сел на лавочку отдохнуть.

Мы спустили его в Вознесенском. «Храма» там не оказалось, ни огней, ни карусели. Пологий берег был темен, прикрыт низким небом. Лисей потонул в темноте. Его не было больше часу, он вынырнул у самой воды, нагруженный бидонами. Его сопровождала рябая баба, статная как лошадь. Детская кофта, не по ней, обтягивала грудь бабы. Какой-то карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках, разинув рот, стоял тут же и смотрел, как мы грузились.

— Сливочный, — сказал Лисей, ставя бидоны на стол, — самый сливочный самогон...

И гонка призрачного нашего корабля возобновилась. Мы приехали в Баронск к рассвету. Река расстилалась необозримо. Вода стекала с берега, оставляя атласную синюю тень. Розовый луч ударил в туман, повисший на клочьях кустов. Глухие крашеные стены амбаров, тонкие их шпили медленно повернулись и стали подплывать к нам. Мы подходили к Баронску под раскаты песни. Селецкий прочистил горло бутылкой самого сливочного и распелся. Тут все было — «Блоха» Мусоргского, хохот Мефистофеля и ария помешавшегося мельника «Не мельник я — я ворон...».

Босой Коростелев, перегнувшись, лежал на перильцах капитанского мостика. Голова его с прикрытыми веками поматывалась, рассеченное лицо было закинуто к небу, по нем блуждала неясная детская улыбка. Коростелев очнулся, когда мы замедлили ход.

— Алеша, — сказал он в рупор, — самый полный.

И мы врезались в пристань с полного хода. Доска, помятая нами в прошлый раз, разлетелась. Машину застопорили вовремя.

— Вот и довез, — сказал Лисей, оказавшийся рядом со мной, — а ты, друг, опасывался...

На берегу выстроились уже чапаевские тачанки. Радужные полосы темнели и остывали на берегу, только что оставленном водой. У самой пристани валялись зарядные ящики, брошенные в прежние приезды. На одном из ящиков в папа-

хе и неподпоясанной рубахе сидел Макеев, командир сотни у Чапаева. Коростелев пошел к нему, расставив руки.

— Опять я, Костя, начудил, — сказал он с детской своей улыбкой, — все горючее извел...

Макеев боком сидел на ящике, клочья папахи свисали над безбровыми желтыми дугами глаз. Маузер с некрашеной ручкой лежал у него на коленях. Он выстрелил, не оборачиваясь, и промахнулся.

— Фу-ты ну-ты, — пролепетал Коростелев, весь светясь, — вот ты и рассердился... — Он шире расставил худые руки. — Фу-ты ну-ты...

Макеев вскочил, завертелся и выпустил из маузера все патроны. Выстрелы прозвучали торопливо. Коростелев еще что-то хотел сказать, но не успел, вздохнул и упал на колени. Он опустился к ободьям, к колесам тачанки, лицо его разлетелось, молочные пластинки черепа прилипли к ободьям. Макеев, пригнувшись, выдергивал из обоймы последний застрявший патрон.

— Отшутились, — сказал он, обводя взглядом красноармейцев и всех нас, скопившихся у сходен.

Лисей, приседая, протрусил с попоной в руках и накрыл ею Коростелева, длинного, как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегая по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к рябому лицу, смотрела с борта на берег сощуренными, незрячими глазами.

— Я те погляжу, — сказал ей Макеев, — я научу горючее жечь...

Матросов выводили по одному. За амбарами их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермаер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу.

В этот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали, в бесцветной жести горизонта, завертелись ветряки.

До обеда мы ссыпали в баржу фридентальское зерно, к вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе «Тупицына». Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина. Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор:

— И правильно... Будь ты трижды хороший человек, — и в скитах ты был, и по Белому морю ходил, и человек ты отчаянный, — а вот горючее, сделай милость, не жги...

Мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу.

— Москва. Кремль. Ленину.

В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей, двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в каждом.

1920–1928

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

То, что это царство книги, чувствуется сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни и сами как бы сделались лишь отражением живых, настоящих людей.

Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, не брюнеты и не блондины, а так — нечто среднее.

Дома они, может быть, под воскресенье пьют денатурат и долго бьют жену, но в библиотеке характер их не шумлив, неприметен и завуалированно-сумрачен.

Есть и такой служитель: рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что «Николай Сергеевич мои рисунки одобрили и Константин Васильевич также одобрили, первоначальное я произошел, но куда податься, между прочим, совсем неизвестно».

Толстый человек слушает. Он репортер, женат, обжорлив и заработался. Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать — читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался.

Репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том — вот ведь как поступить с таким человеком? Дать гривенник, когда уйдешь, — может обидеться: художник; не дать — тоже может обидеться: все-таки служитель.

В читальном зале — служащие повыше: библиотекари. Одни из них — «замечательные» — обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком: у этого пальцы скрючены, у того съехала набок голова и так и осталась.

Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру неизвестная.

Хорошо бы их описал Гоголь!

У библиотекарей «незамечательных» — начинающаяся нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет, говорят привычным шепотом; вообще, испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть.

Публика теперь, во время войны, изменилась. Меньше студентов. Совсем мало студентов. В кои-то веки увидишь студента, безбольно погибающего в уголку. Это — «белобилетник». Он в пенсне или деликатно подхрамывает. Есть, впрочем, еще государственники. Государственник — это человек рыхловатый, с обвисающими усами, уставший от жизни и большой созерцатель: что-то почитает, о чем-то подумает, посмотрит на узоры ламп и поникнет к книге. Ему надо кончать университет, надо идти в солдаты, а в общем, зачем торопиться? Успеется.

Прежний студент вернулся в библиотеку в обличье раненого офицера, с черной повязкой. Рана его заживает. Он молод и румян. Пообедал, прошелся по Невскому. На Невском уже огни. Совершает победное шествие Вечерняя Биржевка. У Елисеева выставлен виноград в просе. В гости еще рано. Офицер идет по старой памяти в Публичку, вытягивает под столом, за которым сидит, длинные ноги и читает «Аполлон». Скучновато. Напротив сидит курсистка. Учит анатомию и срисовывает желудок в тетрадочку. Происхождения она приблизительно калужского — широколица, ширококостна, румяна, добросовестна и вынослива. Если у нее есть возлюбленный, то это лучшее разрешение вопроса — добротный материал для любви.

Возле нее живописное tableau* — неизменная принадлежность каждой Публичной Библиотеки в Российской Империи — спит еврей. Он изможден. Волос его пламенно черен. Щеки впали. Лоб в шишках; рот полуоткрыт. Он посапывает. Откуда он — неизвестно. Есть ли право на жительство — неизвестно. Читает каждый день. Спит тоже каждый день. На лице ужасная неистребимая усталость и почти безумие. Мученик книги, особенный, еврейский, неугасимый мученик.

Вблизи стойки библиотекарей с выдающимся интересом читает большая женщина в серой кофте и с широкой грудной клеткой. Она из тех, кто говорит в библиотеке неожиданно громко, откровенно и восторженно удивляется

---

* Картина (*фр.*).

книжным словесам и, исполненная восхищения, заговаривает с соседями. Читает она вот почему — ищет способ домашнего приготовления мыла. Лет ей приблизительно 45. Нормальна ли она? Этим вопросом задаются многие.

Есть еще один постоянный посетитель — жиденький полковник в просторном кителе, в широких штанах и в очень хорошо вычищенных сапожках. Ножки у него маленькие. Усы — цвета пепла сигары. Мажет их фиксатуаром, отчего получается гамма темно-серых цветов. Во дни оны был настолько бездарен, что не мог дослужиться до полковника, чтобы выйти в отставку генерал-майором. Будучи в отставке, весьма надоедал садовнику, прислуге и внуку. 73-х лет от роду проникся мыслью написать историю своего полка.

Пишет. Обложен тремя пудами материалов. Любим библиотекарями. Здоровается с ними с отменной вежливостью. Домашним больше не надоедает. Прислуга с удовольствием доводит сапожки до предельного блеска.

Много еще бывает в Публичке всяческого народу. Всех не опишешь. Вот столь измызганный субъект, что ему под стать только писать роскошную монографию о балете. Физиономия — трагическое издание лица Гауптмана, корпус — незначителен.

Есть, конечно, чиновники, вонзающиеся в груды «Русского Инвалида» и «Правительственного Вестника». Есть провинциальные юноши, во время чтения пламенеющие.

Вечер. В зале полумрак. У столов неподвижные фигуры — собрание усталости, любознательности, честолюбия...

За широкими окнами вьется мягкий снег. Недалеко — на Невском — кипит жизнь. Далеко — на Карпатах — льется кровь.

C'est la Vie*.

ЛИНИЯ И ЦВЕТ

Александра Федоровича Керенского я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатории Оллила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацареный был ему другом.

Итак — Оллила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О Гельсингфорс, любовь моего сердца. О небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица.

Итак — Оллила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной

---

* Такова жизнь (*фр.*).

зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.

За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо — норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна. Налево — графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта.

Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти, — сказал я, — как она хороша...

Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это старый Иоганес, — сказал я. — Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганеса?

— Я знаю здесь всех, — ответил Керенский, — но я никого не вижу.

— Вы близоруки, Александр Федорович?

— Да, я близорук.

— Нужны очки, Александр Федорович.

— Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледене-

лых и розовых краев водопада, там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, — вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас...

— Дитя, — ответил он, — не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник…

Вечером я уехал в город. О Гельсингфорс, пристанище моей мечты...

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на Арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Товарищи и братья...

ВЕЧЕР У ИМПЕРАТРИЦЫ

В кармане кетовая икра и фунт хлеба. Приюта нет. Я стою на Аничковом мосту, прижавшись к Клодтовым коням. Разбухший вечер двигается с Морской. По Невскому, запутанные в вату, бродят оранжевые огоньки. Нужен угол. Голод пилит меня, как неумелый мальчуган скрипичную струну. Я перебираю в памяти квартиры, брошенные буржуазией. Аничков дворец вплывает в мои глаза всей своей плоской громадой. Вот он — угол.

Проскользнуть через вестибюль незамеченным — это нетрудно. Дворец пуст. Неторопливая мышь царапается в боковой комнате. Я в библиотеке вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Старый немец, стоя посредине комнаты, закладывает в уши вату. Он собирается уходить. Удача целует меня в губы. Немец мне знаком. Когда-то я напечатал бес-

платно его заявление об утере паспорта. Немец принадлежит мне всеми своими честными и вялыми потрохами. Мы решаем — я буду ждать Луначарского в библиотеке, потому что, видите ли, мне надобен Луначарский.

Мелодически тикающие часы смыли немца из комнаты. Я один. Хрустальные шары пылают надо мной желтым шелковым светом. От труб парового отопления идет неизъяснимая теплота. Глубокие диваны облекают покоем мое иззябшее тело.

Поверхностный обыск дает результаты. Я обнаруживаю в камине картофельный пирог, кастрюлю, щепотку чая и сахар. И вот — спиртовая машинка высунула-таки свой голубоватый язычок. В этот вечер я поужинал по-человечески. Я разостлал на резном китайском столике, отсвечивавшем древним лаком, тончайшую салфетку. Каждый кусок этого сурового пайкового хлеба я запивал чаем сладким, дымящимся, играющим коралловыми звездами на граненых стенках стакана. Бархат сидений поглаживал пухлыми ладонями мои худые бока. За окном на петербургский гранит, помертвевший от стужи, ложились пушистые кристаллы снега.

Свет — сияющими лимонными столбами струился по теплым стенам, трогал корешки книг, и они мерцали ему в ответ голубым золотом.

Книги — истлевшие и душистые страницы, — они отвели меня в далекую Данию. Больше полустолетия тому назад их дарили юной принцессе, отправлявшейся из своей маленькой и целомудренной страны в свирепую Россию. На строгих

титулах, выцветшими чернилами, в трех косых строчках, прощались с принцессой воспитавшие ее придворные дамы и подруги из Копенгагена — дочери государственных советников, учителя — пергаментные профессора из лицея — и отец-король и мать-королева, плачущая мать. Длинные полки маленьких пузатых книг с почерневшими золотыми обрезами, детские евангелия, перепачканные чернилами, робкими кляксами, неуклюжими самодельными обращениями к Господу Иисусу, сафьяновые томики Ламартина и Шенье с засохшими, рассыпающимися в пыль цветами. Я перебираю эти истончившиеся листки, пережившие забвение, образ неведомой страны, нить необычайных дней возникает передо мной — низкие ограды вокруг королевских садов, роса на подстриженных газонах, сонные изумруды каналов и длинный король с шоколадными баками, покойное гудение колокола над дворцовой церковью и, может быть, любовь, девическая любовь, короткий шепот в тяжелых залах.

Маленькая женщина с притертым пудрой лицом, пронырливая интриганка с неутомимой страстью к властвованью, яростная самка среди Преображенских гренадеров, безжалостная, но внимательная мать, раздавленная немкой, — императрица Мария Федоровна развивает передо мной свиток своей глухой и долгой жизни.

Только поздним вечером я оторвался от этой жалкой и трогательной летописи, от призраков с окровавленными черепами. У вычурного коричневого потолка по-прежнему спокойно пылали хрустальные шары, налитые роящейся пылью. Возле драных моих башмаков, на синих коврах за-

стыли свинцовые ручейки. Утомленный работой мозга и этим жаром тишины, я заснул.

Ночью — по тускло блистающему паркету коридоров — я пробирался к выходу. Кабинет Александра III, высокая коробка с заколоченными окнами, выходящими на Невский. Комнаты Михаила Александровича — веселенькая квартира просвещенного офицера, занимающегося гимнастикой, стены обтянуты светленькой материей в бледно-розовых разводах, на низких каминах фарфоровые безделушки, подделанные под наивность и ненужную мясистость семнадцатого века.

Я долго ждал, прижавшись к колонне, пока не заснул последний придворный лакей. Он свесил сморщенные, по давней привычке выбритые щеки, фонарь слабо золотил его упавший высокий лоб.

В первом часу ночи я был на улице. Невский принял меня в свое бессонное чрево. Я пошел спать на Николаевский вокзал. Те, кто бежал отсюда, пусть знают, что в Петербурге есть где провести вечер бездомному поэту.

ХОДЯ

Неумолимая ночь. Разящий ветер. Пальцы мертвеца перебирают обледенелые кишки Петербурга. Багровые аптеки стынут на углах. Фармацевт уронил набок расчесанную головку. Мороз взял аптеку за фиолетовое сердце. И сердце аптеки издохло.

Никого на Невском. Чернильные пузыри лопаются в небе. Два часа ночи. Неумолимая ночь.

Девка и личность сидят на перилах кафе «Бристоль». Две скулящие спины. Две иззябшие вороны на голом кусте.

— Ежели волей сатаны вы наследуете усопшему императору, то ведите за собой народные массы, матереубийцы... Но, шалишь... Они держатся на латышах, а латыши — это монголы, Глафира!..

У личности по обеим сторонам лица висят щеки, как мешки старьевщика. У личности в порыжелых зрачках бродят раненые коты.

— ...Христом молю вас, Аристарх Терентьич, отойдите на Надеждинскую. Когда я с мужчиной — кто же познакомится?

Китаец в кожаном проходит мимо. Он поднимает буханку хлеба над головой. Он отмечает голубым ногтем линию на корке. Фунт. Глафира поднимает два пальца. Два фунта.

Тысяча пил стонет в окостенелом снегу переулков. Звезда блестит в чернильной тверди.

Китаец, остановившись, бормочет сквозь стиснутые зубы:

— Ты грязный, э?

— Я чистенькая, товарищ...

— Фунт.

На Надеждинской зажигаются зрачки Аристарха.

— Милый, — хрипло говорит девка, — со мной папаша крестный... Ты разрешишь ему поспать у стенки?..

Китаец медлительно кивает головой. О мудрая важность Востока!

— Аристарх Терентьич, — прижимаясь к струящемуся кожаному плечу, кличет девка небрежно, — мой знакомый просют вас до себе в компанию...

Личность полна оживления.

— По причинам, от дирекции не зависящим, — не у дел... — шепчет она, играя плечами, — а было прошлое с кое-какой начинкой. Именно. Весьма лестно познакомиться. — Шереметев.

В гостинице им дали ханжи и не потребовали денег. Поздно ночью китаец слез с кровати и пошел во тьму.

— Куда? — просипела Глафира, суча ногами.

Китаец подошел к Аристарху, всхрапывавшему на полу у рукомойника. Он тронул старика за плечо и показал глазами на Глафиру.

— Отчего же, Васюк, — пролепетал с полу Аристарх, — ты обязательный, право, — и мелким шажком побежал к кровати.

— Уйди, пес, — сказала Глафира, — убил меня твой китаец.

— Она не слушается, Васюк, — прокричал Аристарх поспешно, — ты приказал, а она не слушается.

— Ми друг, — сказал китаец. — Он — можна. Э, стерфь...

— Вы пожилые, Аристарх Терентьич, — прошептала девушка, укладывая к себе старика, — а какое у вас понятие?

Точка.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Каждый день люди подкалывают друг друга, бросают друг друга с мостов в черную Неву, истекают кровью от неправильных или несчастных родов. Так было. Так есть.

Для того чтобы спасать маленьких людей, гранящих тротуары большого города, существуют станции скорой помощи.

Так и называется — скорая или первая помощь. Если вы хотите знать, как помогают в Петрограде, как быстро помогают в Петрограде — я могу вам рассказать.

В канцелярии станции царствует великое молчание. Есть длинные комнаты, блестящие пишущие машинки, стопочки бумаги, подметенные полы. Есть еще испуганная барышня, года три тому назад начавшая писать бумажонки и журналы и не могущая — в силу инерции — остановиться. А остановиться не мешало бы, потому что давно уже — ни бумажонки, ни журналы никому не нужны. Кроме барышни — людей нет. Барышня — это штат. Можно даже сказать — штат сверх комплекта. Если нет лошадей, нет бензина, нет работы, нет докторов, нет пекущихся, нет опекаемых — зачем же тогда комплекты?

Всего этого действительно нет. Когда-то было три автомобиля — «лежачих», как их называют служащие, и четыре «нележачих». Они и есть, но на вызовы не выезжают, потому что нет бензина. Бензина давно нет. Недавно кому-то надоело это тихое положение. Кто-то прикрепил значок к сюртуку и поехал в Смольный.

Начальство ответило: «общее количество бензина, числящегося на городских складах столицы, доходит до двух с половиной пудов». Начальство, может быть, ошиблось. Однако возражать нечего.

Было еще шесть кареток при пожарных частях. В настоящее время они отдыхают. Пожарные команды не дают лошадей — «для себя не хватает».

Итак, осталась одна каретка. Для нее нанимают двух лошадей у извозопромышленника и платят ему за это 1000 р. в месяц.

Из многочисленных вызовов — в день удовлетворяются два или три. Больше не успеть — концы большие, лошади тощие. На место происшествия, если оно, скажем, на Васильевском, приезжают через час-два. Человек уже помер, или человека вообще нет, — исчез. Если же пострадавший оказывается в наличности, — то он с прохладцей отвозится в больницу, а карета после роздыха отправляется дальше — на вызов, имевший место часов пять тому назад. Для регистрации деятельности учреждения существует специальная книга — книга отказов. В нее вносятся случаи, когда помощь не была оказана. Пухлая книга, самая важная, единственная книга. Других не надо.

Единственную шевелящуюся каретку обслуживают 22 человека персонала — из них 11 фельдшеров и 7 санитаров. Очень возможно, что все они получают жалованье и даже по сложной схеме — с прибавкой на дороговизну.

При станции нет никаких учреждений, иллюстрирующих ее деятельность, нет музеев, больниц. В Западной Европе,

во многих городах такие музеи представляют исключительный интерес, живую и скорбную летопись городской жизни. В них собраны орудия убийства, самоубийства, письма самоубийц — молчащие и красноречивые свидетельства о человеческих тяготах, о гибельном влиянии города и камня.

У нас этого нет. У нас ничего нет — ни скорой, ни помощи. Есть только — трехмиллионный город, недоедающий, бурно сотрясающийся в основах своего бытия. Есть много крови, льющейся на улице и в домах.

Станция, находившаяся в ведении Красного Креста, перешла теперь к городу. Очевидно, что-то ему нужно предпринять.

О ЛОШАДЯХ

То, что называлось раньше Петроградскими скотобойнями, ныне не существует. Ни одного быка, ни одного теленка не доставляют на скотный двор. Быки есть только у входа замечательного, по величественной и ясной архитектуре, главного флигеля — бронзовые быки, символы мощи, обилия и богатства. Нынче они сиротливы — эти символы — и живут собственной отдельной жизнью. Я брожу по скотному двору. Он мертвенно пуст, пуст до странности. Белый снег блестит под светлым и холодным солнцем Петрополя. Слабо протоптанные дорожки ведут в разные стороны. Мощные приземистые строения чисто выметены и молчат. Ни одного человека вокруг, ни одного голоса, ни одной травин-

ки на земле. Только воронье с криком носится над местами, где когда-то дымилась кровь и трепетали только что переставшие жить внутренности.

Я ищу конебойню, но в продолжение четверти часа не нахожу на обширных дворах ни одной души, у которой можно было бы справиться о пути. Наконец добрел. Картина изменилась. Здесь не пусто. Наоборот. Десятки, сотни лошадей понуро стоят в стойлах. Они дремлют от истощения, едят собственный кал и деревянные столбы изгородей. Изгороди теперь покрыты железными рельсами. Это сделано для того, чтобы предохранить наполовину съеденные лошадьми столбы от конечной гибели.

Полуразрушенное голодными животными дерево — вот нынешний символ, в противовес прошедшему — бронзовым быкам, наполненным тугим, красным, жирным мясом.

Десятки татар заняты убоем лошадей. Это чисто татарское дело. Наши бойцы, сидящие без работы, до сих пор не решились приступить к нему. Не могут, душа не пускает.

Это приносит вред. Татары совершенно не обучены своему ремеслу. Не менее четверти всех шкур пропадает бесплодно — не знают, как их снимать. Старых бойцов теперь не хватает. Сейчас вы узнаете — почему.

Я хожу с доктором мимо строений, где убивают лошадей. Мясники проносят дымящиеся туши, кони падают на каменные полы и умирают без стона. Доктор говорит мне скучные и привычные слова о том, что у нас во всем хаос, вот и на конебойнях хаос, надо бы то и другое, проектируют всяческие меры.

Я узнаю страшную статистику. Против 30–40 лошадей, шедших на убой в прежнее время, теперь ежедневно на скотный двор поступает 500–600 лошадей. Январь дал 5 тысяч убитых лошадей, март даст 10 тысяч. Причины — нет корма. Татары платят за истощенную лошадь 1000–1500–2000 рублей. Страшно повысился качественный уровень убиваемых лошадей. Раньше бойня видела только старых, издыхающих. Теперь сплошь и рядом идут в резку превосходные рабочие кони, трехлетки, четырехлетки. Продают все — легковые извозчики, ломовые, частные владельцы, окрестные крестьяне. Процесс обезлошадения идет со страшной быстротой, и это перед весной, перед рабочей порой. Паровая движущая сила исчезает катастрофически. С живой силой — столь нужной нам — происходит то же. Останется ли вообще что-нибудь?

Высчитано, что с октября (месяц, когда обозначилось огромное увеличение резки) убито количество лошадей, в нормальное время могущих обеспечить работу боен в течение 12–15 лет.

Я вышел из места лошадиного успокоения и отправился в трактир «Хуторок», что находится напротив скотобоен. Настало обеденное время. Трактир был наполнен татарами — бойцами и торговцами. От них пахло кровью, силой, довольством. За окном сияло солнце, растапливая грязный снег, играя на хмурых стеклах. Солнце лило лучи на тощий петроградский рынок — на мороженых рыбешек, на мороженую капусту, на папиросы «Ю-ю» и на восточную «гузинаки». За столиками рослые татары трещали на своем языке и требо-

вали себе к чаю варенья на 2 рубля. Возле меня примостился мужичонка. Мигая глазами, он сообщил, что в нынешнее время каждый татарин тысяч по пяти, а может, и по десяти в месяц зашибает, «всех лошадей скупили, дочиста всех».

Потом я узнал, что и русские за ум взялись. Тоже промышляют. «Что поделаешь? Раньше конину татары ели, а нынче весь народ и даже господа...»

Солнце светит. У меня странная мысль: всем худо, все мы оскудели. Только татарам хорошо, веселым могильщикам благополучия. Потом мысль уходит. Какие там татары?.. Все — могильщики.

НЕДОНОСКИ

Нагретые белые стены исполнены ровного света.

Не видно Фонтанки, скудной лужей расползшейся по липкой низине. Не видно тяжелого кружева набережной, захлестнутой вспухшими кучами нечистот из рыхлого черного снежного месива.

По высоким теплым комнатам бесшумно снуют женщины в платьях серых или темных. Вдоль стен — в глубине металлических ванночек лежат с раскрытыми серьезными глазами молчащие уродцы — чахлые плоды изъеденных, бездушных низкорослых женщин, женщин деревянных предместий, погруженных в туман.

Недоноски, когда их доставляют, имеют весу фунт — полтора. У каждой ванночки висит табличка — кривая жизни

младенца. Нынче это уж не кривая. Линия выпрямляется. Жизнь в фунтовых телах теплится уныло и призрачно.

Еще одна неприметная грань замирания нашего: женщины, кормящие грудью, все меньше дают молока.

Их немного — кормилиц. Пять — на тридцать младенцев. Каждая кормит четырех чужих и одного своего. Так в приюте и произносят скороговоркой: четыре чужих, одно свое.

Кормить надо через каждые три часа. Праздников нет. Спать можете два часа сряду — не более.

Каждый день женщинам, к груди которых по семь раз в сутки присасываются пять синих, тонких ртов, выдают по три восьмых хлеба.

Они стоят вокруг меня грудастые, но тонкие — все пятеро — в монашеских своих одеждах и говорят:

— Докторша высказывает — молока мало даете, дети в весе не растут... Душой бы рады, кровь, чувствуем, сосут... К извозчикам бы приравняли... В управе сказывали: не рабочие... Пошли вон мы нынче вдвоем в лавку, ходим, ноги гнутся, стали мы, смотрим друг дружке в глаза, падать хотим, не можем двинуться...

Они просят меня о карточках, о дополнениях, кланяются, стоят вдоль стен, и лица их краснеют и становятся напряженными и жалкими, как у просительниц в канцелярии.

Я отхожу. Надзирательница идет вслед за мной и шепчет:

— Все нервные стали... Слова не скажешь, плачут... Мы уж молчим, покрываем. Солдат тут к одной ходит — пусть ходит...

Я узнаю историю той, к которой солдат ходит. Она поступила в приют год тому назад — маленькая, крохотная, деловитая женщина. Только и было у нее большого, что тяжелая молочная грудь. Молока у ней было больше, чем у всех других кормилиц приюта. Прошел год: год карточек, корюшки и размножившихся скрюченных телец, на ходу выдавленных безликими, бездумными женщинами Петрограда. Теперь у маленькой деловитой женщины нет молока. Она плачет, когда ее обижают, и злобно тычет детям пустую грудь и отворачивается, когда кормит.

Дали бы маленькой женщине еще три восьмых, приравняли бы к извозчикам, сделали бы что-нибудь... Ведь рассудить-то надо, детей-то ведь жалко, если не помрут — из детей юноши и девушки выйдут, им жизнь делать надо. А что как они возьмут да на три восьмых жизнь и сделают. И выйдет жизнь куцая. А мы на нее — куцую — довольно насмотрелись.

БИТЫЕ

Это было неделю тому назад. Все утро я ходил по Петрограду, по городу замирания и скудости. Туман — мелкий, всевластный — клубился над сумраком каменных улиц. Грязный снег превратился в тускло блистающие черные лужи.

Рынки — пусты. Бабы обступили торговцев, продающих то, что никому не нужно. У торговцев все еще тугие розовые щеки, налитые холодным жиром. Их глазки — голубые

и себялюбивые — щупают беспомощную толпу женщин, солдат в цивильных брюках и стариков в кожаных галошах.

Ломовики проезжают мимо рынка. Лица их нелепы и серы; брань нудна и горяча по привычке; лошади огромны, кладь состоит из сломанных плюшевых диванов или черных бочек. У лошадей тяжелые мохнатые копыта, длинные, густые гривы. Но бока их торчат, ноги скользят от слабости, напряженные морды опущены.

Я хожу и читаю о расстрелах, о том, как город наш провел еще одну свою ночь. Я иду туда, где каждое утро подводят итоги.

В часовне, что при мертвецкой, идет панихида.

Отпевают солдата.

Вокруг три родственника. Мастеровые, одна женщина. Мелкие лица.

Батюшка молится худо, без благолепия и скорби. Родственники чувствуют это. Они смотрят на священника тупо, выпучив глаза.

Я заговариваю со сторожем.

— Этого хоть похоронят, — говорит он. — А то вон у нас лежат штук тридцать, по три недели лежат, каждый день сваливают.

Каждый день привозят в мертвецкую тела расстрелянных и убитых. Привозят на дровнях, сваливают у ворот и уезжают.

Раньше опрашивали — кто убит, когда, кем. Теперь бросили. Пишут на листочке — «неизвестного звания мужчина» и относят в морг.

Привозят красноармейцы, милиционеры, всякие люди.

Эти визиты — утренние и ночью — длятся год без перерыва, без передышки. В последнее время количество трупов повысилось до крайности. Если кто, от нечего делать, задает вопрос — милиционеры отвечают: «убит при грабеже».

В сопровождении сторожа я иду в мертвецкую. Он приподнимает покрывала и показывает мне лица людей, умерших три недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка: — Князь Константин Эболи де Триколи.

Сторож отдергивает простыню. Я вижу стройное сухощавое тело, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах.

На другом столе я нахожу его подругу — дворянку, Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице два часа. Стройное багровое ее тело забинтовано. Она также тонка и высока, как князь. Рот ее раскрыт. Голова приподнята — в яростном быстром стремлении. Длинные белые зубы хищно сверкают. Мертвая — она хранит печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами.

Я узнаю самое главное: трупы не хоронят, потому что не на что их хоронить. Больница не хочет тратиться на похороны. Родных нет. Комиссариат не внемлет просьбам, отговаривается и отписывается. Администрация пойдет в Смольный.

Конечно.

Все там будем.

— Теперь ничего, — повествует сторож, — пущай лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тогда всей больницей беги...

Неубранные трупы — злоба дня в больнице. Кто уберет — это, кажется, сделалось вопросом самолюбия.

— Вы били, — с ожесточением доказывает фельдшер, — вы и убирайте. Сваливать ума хватает... Ведь их, битых-то, что ни день — десятки. То расстрел, то грабеж... Уж сколько бумаг написали...

Я ухожу из места, где подводят итоги. Тяжко.

ДВОРЕЦ МАТЕРИНСТВА

По преданию, его строил Растрелли.

Темно-красный фасад, оживленный тонкими колоннами, — этими верными, молчащими и изысканными памятниками императорского Петрополя, — менее торжественен, чем великолепные, в тонкой и простой своей законченности, дворцы Юсуповых и Строгановых.

Дворец принадлежал Разумовскому. Потом в нем воспитывались благородные девицы — сироты. У благородных сирот была начальница. Начальница жила в двадцати двух высоких, светлых голубых комнатах.

Теперь нет Разумовского, нет начальницы. По растреллиевским коридорам, шаркая туфлями, тяжелой поступью бе-

ременных, расхаживают восемь женщин с оттопыренными животами.

Их только восемь. Но дворец принадлежит им. И так он называется — Дворец Материнства.

Восемь женщин Петрограда с серыми лицами и вспухшими от беготни ногами. Их прошлое: месяцы хвостов и потребительских лавок; гудки заводов, призывающие мужей на защиту революции; тяжкая тревога войны и неведомо куда влекущее содрогание революции.

Уже теперь бездумность нашего разрушения бесстрастно предъявляет счета безработицы и голода. Людям, возвращающимся с фронта, нечего делать, женам их не на что рожать, фабрики возносят к небу застывшие трубы. Бумажный туман — денежный и всяческий, — призрачно мелькавший перед оглушенными нашими лицами, замирает. А земля все вертится. Человеки мрут, человеки рождаются.

Мне приятно говорить об огоньке творчества, затеплившегося в пустых наших комнатах. Хорошо, что здание Института не отведено для комитетов по конфискации и реквизиции. Хорошо, что с белых столов не льются жидкие щи и не слышны столь обычные слова об арестах.

Дом этот будет называться Домом Материнства. В декрете говорится: он будет помогать женщинам в тяжких и величественных ее обязанностях.

Дворец порывает с жандармскими традициями Воспитательного дома, где дети мерли или, в счастливом случае, выходили в «питомцы». Дети должны жить. Рождать их нужно для лучшего устроения человеческой жизни.

Такова идея. Ее надо провести до конца. Надо же когда-нибудь делать революцию.

Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку — это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает — может быть, это совсем не революция.

Надобно хорошо рожать детей. И это — я знаю твердо — настоящая революция.

Дворец Материнства начал работать три дня тому назад. Районные Советы прислали первых пациенток. Начало положено. Главное — впереди.

Предположено открыть школу материнства. Приходить будет всякий, кто захочет. Будут учить — чистоте, тому, как сохранить жизнь ребенка и матери. Этому поучиться надо. В начале столетия в родильных наших приютах умирало до 40% рожениц. Цифра эта не спускалась ниже 15–20%. Теперь, в связи с худосочием и малокровием, количество смертей увеличивается.

Женщины будут поступать во Дворец на восьмом месяце беременности. Полтора месяца до родов они проведут в условиях покоя, сытости и разумной работы. Платы никакой. Рождение детей — дань государству. Государство оплачивает ее.

После родов матери остаются во Дворце в течение 10–20–42 дней, до полного восстановления сил. Раньше из приютов уходили на третий день: «по хозяйству некому присмотреть, дети не кормлены...»

Предполагается устроить школу хозяек-заместительниц. Заместительницы будут следить за домом рожениц, находящихся во Дворце.

Есть уже начатки музея-выставки. В нем мать увидит хорошую простейшую кровать, белье, нужную пищу, увидит муляжи с сифилитическими, оспенными язвами, прочтет наши статистические карты с приевшимися, но все же первыми в мире цифрами о смертности детей. На выставке она сможет купить за дешевую плату белье, пеленки, препараты.

Таковы зародыши идеи, революционной идеи «социализации женщины».

В просторные залы пришли первые восемь матросских и рабочих жен. Залы принадлежат им. Залы нужно удержать и раскинуть широко.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Был завод, а в заводе — неправда. Однако в неправедные времена дымились трубы, бесшумно ходили маховики, сверкала сталь, корпуса сотрясались гудящею дрожью работы.

Пришла правда. Устроили ее плохо. Сталь померла. Людей стали рассчитывать. В вялом недоумении машины тащили их на вокзалы и с вокзалов.

Покорные непреложному закону, рабочие люди бродят теперь по земле неведомо зачем, словно пыль, ничем не ценимая.

Несколько дней тому назад происходила «эвакуация» с Балтийского завода. Всунули в вагон четыре рабочих семьи. Вагон поставили на паром и — пустили. Не знаю — хорошо ли, худо ли был прикреплен вагон к парому. Говорят — совсем почти не был прикреплен.

Вчера я видел эти четыре «эвакуированных» семьи. Они рядышком лежат в мертвецкой. Двадцать пять трупов. Пятнадцать из них дети. Фамилии все подходящие для скучных катастроф — Кузьмины, Куликовы, Ивановы. Старше сорока пяти лет никого.

Целый день в мертвецкой толкутся между белыми гробами женщины с Васильевского, с Выборгской. Лица у них совсем такие, как у утопленников, — серые.

Плачут скупо. Кто ходит на кладбище, тот знает, что у нас перестали плакать на похоронах. Люди все торопятся, растеряны, мелкие и острые мыслишки без устали буравят мозг.

Женщины более всего жалеют детей и кладут бумажные гривенники на скрещенные малые руки. Грудь одной из умерших, прижавшей к себе пятимесячного задохнувшегося ребенка, вся забросана деньгами.

Я вышел. У калитки, в тупичке, на сгнившей лавочке сидели две согнутые старухи. Слезливыми бесцветными глазами они глядели на рослого дворника, растапливавшего черный ноздреватый снег. Темные ручьи растекались по липкой земле.

Старухи шептались об обыденной своей суете. У столяра сын в красногвардейцы пошел — убили. Картошки нету на рынках и не будет. Грузин во дворе поселился, конфектами торгует, генеральскую дочь институтку к себе сманил, водку с милицией пьет, денег ему со всех концов несут.

После этого — одна старуха рассказала бабьими и темными своими словами, — отчего двадцать пять человек в Неву упали.

— Анжинеры от заводов все отъехамши. Немец говорит — земля евонная. Народ потолкался, потом квартиры все побросали, домой едут. Куликовы, матушка, на Калугу подались. Стали плот сбивать. Три дня бились. Кто — напился, а другому горько, сидит, думает. А инженеров — нету, народ темный. Плот сбили, отплыл он, все прощаться стали. Река заходила, народ с детишками, с бабами попадал. Вырядили-то хорошо, восемь тысяч на похороны дали, панихиды каково служат, гробы все глазетовые, уважение сделали рабочему народу.

МОЗАИКА

В воскресенье — день праздника и весны — товарищ Шпицберг говорил речь в залах Зимнего дворца.

Он озаглавил ее: «Всепрощающая личность Христа и блевотина анафемы христианства».

Бога товарищ Шпицберг называет — господин Бог, священника — попом, попистом и чаще всего — пузистом (от слова — пузо).

Он именует все религии — лавочка шарлатанов и эксплуататоров, поносит пап римских, епископов, архиепископов, иудейских раввинов и даже тибетского далай-ламу, «экскременты которого одураченная тибетская демократия считает целебным снадобьем».

В отдельном углу зала сидит служитель. Он брит, худ и спокоен. Вокруг него кучка людей — бабы, рабочие, довольные жизнью, бездельные солдаты. Служитель рассказывает о Керенском, о бомбах, рвавшихся под полами, о министрах, прижатых

к гладким стенам гулких и сумрачных коридоров, о пухе, выпущенном из подушек Александра II и Марии Феодоровны.

Рассказ прервала старушка. Она спросила:

— Где, батюшка, здесь речь говорят?

— Антихрист в Николаевской зале, — равнодушно ответил служитель.

Солдат, стоявший неподалеку, рассмеялся.

— В зале — антихрист, а ты здесь растабарываешь...

— Я не боюсь, — так же равнодушно, как и в первый раз, ответил служитель, — я с ним день и ночь живу.

— Весело живешь, значит...

— Нет, — сказал служитель, подняв на солдата выцветшие глаза, — невесело живу. Скучно с ним.

И старик уныло рассказал улыбающемуся народу, что его черт — куцый и пугливый, ходит в калошах и тайком портит гимназисток.

Старику не дали договорить. Его увели сослуживцы, объявив, что он после Октября «маненько тронулся».

Я отошел в раздумье. Вот здесь — старик видел царя, бунт, кровь, смерть, пух из царских подушек. И пришел к старику антихрист. И только и нашел черт дела на земле, что мечтать о гимназистках, таясь от адмиралтейского подрайона.

Скучные у нас черти.

Проповедь Шпицберга об убиении господина Бога явно не имеет успеха. Слушают вяло, хлопают жидко.

Не то происходило неделю тому назад, после такой же беседы, заключавшей в себе «слова краткие, но антирелигиоз-

ные». Четыре человека тогда отличились — церковный староста, щуплый псаломщик, отставной полковник в феске и тучный лавочник из Гостиного. Они подступили к кафедре. За ними двинулась толпа женщин и угрожающе молчавших приказчиков.

Псаломщик начал елейно:

— Надобно, друзья, помолиться.

А кончил шепотком:

— Не все дремлют, друзья. У гробницы отца Иоанна мы дали нынче клятвенное обещание. Организуйтесь, друзья, в своих приходах.

Сошедши, псаломщик добавил, от злобы призакрыв глаза и вздрагивая тощим телом:

— До чего все хитро устроено, друзья. О раввинах, о раввинах-то никто словечка не проронит...

Тогда загремел голос церковного старосты:

— Они убили дух русской армии.

Полковник в феске кричал: «не позволим», лавочник тупо и оглушающе вопил: «жулики», растрепанные, простоволосые женщины жались к тихонько усмехавшимся батюшкам, лектора прогнали с возвышения, двух рабочих-красногвардейцев, израненных под Псковом, прижали к стене. Один из них кричал, потрясая кулаком:

— Мы игру-то вашу видим. В Колпине вечерню до двух часов ночи служат. Поп службу новую выдумал, митинг в церкви выдумал... Мы купола-то тряхнем...

— Не тряхнешь, проклятый, — глухим голосом ответила женщина, отступила и перекрестилась.

Во время пассии в Казанском соборе народ стоит с возжженными свечами. Дыхание людское колеблет желтое, малое горячее пламя. Высокий храм наполнен людьми от края до края. Служба идет необычайно долгая. Духовенство в сверкающих митрах проходит по церкви. За Распятием искусно расположенные электрические огни. — Чудится, что Распятый простерт в густой синеве звездного неба.

Священник в проповеди говорит о святом лике, вновь склонившемся набок от невыносимой боли, об оплевании, о заушении, о поругании святыни, совершаемом темными, «не ведающими, что творят». Слова проповеди скорбны, неясны, значительны. «Припадайте к церкви, к последнему оплоту нашему, ибо он не изменит».

У дверей храма молится старушонка. Она ласково говорит мне:

— Хор-то каково поет, службы какие пошли... В прошлое воскресенье митрополит служил... Никогда благолепия такого не было... Рабочие с завода нашего, и те в церковь ходят... Устал народ, измаялся в неспокойствии, а в церкви тишина, пение, отдохнешь...

ЗАВЕДЕНЬИЦЕ

В период «социальной революции» никто не задавался намерениями более благими, чем комиссариат по призрению. Начинания его были исполнены смелости. Ему были поручены важнейшие задачи: немедленный взрыв душ, де-

кретирование царства любви, подготовка граждан к гордой жизни и вольной коммуне. К своей цели комиссариат пошел путями не извилистыми.

В ведомстве призрения состоит учреждение, неуклюже именуемое «Убежище для несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных деяниях». Убежища эти должны были быть созданы по новому плану — согласно новейшим данным психологии и педагогики. Именно так — на новых началах — мероприятия комиссариата были проведены в жизнь.

Одним из заведующих был назначен никому не ведомый врач с Мурмана. Другим заведующим был назначен какой-то мелкий служащий на железной дороге — тоже с Мурмана. Ныне этот социальный реформатор находится под судом, обвиняется в сожительстве с воспитанницами и в вольном расходовании средств вольной коммуны. Прошения он пишет полуграмотные (этот директор приюта), кляузные, неотразимо пахнущие околоточным надзирателем. Он говорит, что «душой и телом предан святому народному делу», предали его «контрреволюционеры».

Поступил сей муж на службу в ведомство призрения, «указав на свою политическую физиономию, как партийного работника-большевика».

Это все, что оказалось нужным для воспитания преступных детей.

Состав других воспитателей: латышка, плохо говорящая по-русски, окончила четыре класса неведомо чего.

Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и тридцать лет пробывший в балете.

Бывший красноармеец, до солдатчины служивший приказчиком в чайном магазине.

Малограмотный конторщик с Мурмана.

Девица конторщица с Мурмана.

К призреваемым мальчикам было еще приставлено пять дядек (словцо-то какое коммунистическое).

Работа их официальным лицам характеризуется так: «день дежурят, день спят, день отдыхают, делают — что сами находят нужным, заставляют мыть полы кого придется».

Необходимо добавить, что в одном из приютов числилось на 40 детей — 23 служащих.

Делопроизводство этих служащих, многие из которых преданы уже суду, находилось, согласно данным ревизии, в следующем состоянии:

Большинство счетов не заверено подписью, на счетах нельзя усмотреть, на какой предмет израсходованы суммы, нет подписи получателей денег, в расписках не сказано, за какое время служащим уплачено содержание, счет разъездных одного мелкого служащего за январь сего года достиг 455 рублей.

Если вы явитесь в убежище, то застанете там вот что.

Никакие учебные занятия не производятся, 60% детей полуграмотны или совсем неграмотны. Никакие работы не производятся. Пища состоит из супа с кореньями и селедки. Здание пропитано зловонием, ибо канализационные трубы — разбиты. Дезинфекция не произведена, несмотря на то, что среди призреваемых имели место 10 тифозных забо-

леваний. Болезни часты. Был такой случай. В 11 часов ночи привезли мальчика с отмороженной ногой. Он пролежал до утра в коридоре, никем не принятый. Побеги часты. По ночам детей заставляют ходить в мокрые уборные нагишом. Одежду припрятывают из боязни побегов.

Заключение:

Убежища комиссариата по призрению представляют собой зловонные дыры, имеющие величайшее сходство с дореформенными участками. Администраторы и воспитатели — бывшие люди, нечистоплотные люди, безграмотные люди, примазавшиеся к «народному делу», никакого отношения к призрению не имеющие, в огромном большинстве никакой специальной подготовкой не обладающие. На каком основании они приняты на службу властью крестьян и рабочих — неизвестно.

Я видел все это — и босых угрюмых детей, и угреватые припухшие лица унылых их наставников, и лопнувшие трубы канализации. Нищета и убожество наше поистине ни с чем не сравнимы.

О ГРУЗИНЕ, КЕРЕНКЕ И ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДОЧКЕ

(Нечто современное)

Два печальных грузина навещают ресторацию Пальмира. Один из них стар, другой молод. Молодого зовут Ованес.

Дела плохи. Чай подают жидкий. Молодой смотрит на русских женщин. Любитель. Старик смотрит на музыкальную машину. Старику грустно, но тепло.

Молодой обнюхивает обстоятельства.

Обнюхал. Молодой одевает национальный костюм, кривую шашку и мягкие кавказские сапоги.

Горизонты проясняются. В ресторации Пальмира молодому предлагают изюм и миндаль. Ованес покупает. Знакомая из государственного контроля варит на дому гузинаки.

Товар приносит барыш.

Идут дни и недели. У Ованеса, на Моховой, лавка восточных сластей.

У Ованеса лавка на Невском. Услуживающий ему мальчик Петька щеголяет в сияющих новых калошах. Знакомым прислугам Ованес не кланяется, а козыряет. Домовому старосте на именины подносится не что иное, как шоколадный торт. Все уважают Ованеса.

В то же время живет на Кирочной генерал Орлов. Его сосед — отставной фельдшер Бурышкин.

В институте, когда дочь Орлова — Галичка — переходила из третьего класса во второй, императрица поцеловала ее в

щеку. Родные и знакомые думали, что Галичка выйдет за инженера путей сообщения. У Галички стройная и тонкая нога, обтянутая замшевым башмачком.

Фельдшер Бурышкин состоит на службе при всех режимах. Бурышкин начеку. Он носит вату в ушах и в то же время смазанные сапоги. Придраться нельзя.

Придрались. Бурышкин изгнан. Много свободного времени. Заметил весну. Пишет прошение. Почерк красивый.

Удар среди ясного неба: Галичка переходит на жительство к Ованесу.

Генералу так грустно, что он заводит дружбу с Бурышкиным. Провизии мало. Управа выдала кету. С дочерью не встречается.

Однажды утром, проснувшись, генерал подумал: все тюфяки, большевики — настоящие люди. Подумал и заснул снова, довольный своими мыслями.

Галичка сидит у Ованеса за кассой. Подруги из института служат у нее в лавке продавщицами. Очень весело. От публики нет отбоя. Магазин совсем как у Абрикосова. Публику все презирают. Подруг зовут Лида и Шурик. Шурик очень веселая, наставляет рога подпоручику. Галичка затеяла ежедневные горячие завтраки. В министерстве продовольствия, где

она служила раньше, служащие всегда устраивали горячие завтраки на кооперативных началах.

Генерал задумывается чаще.

Генерал примиряется с дочерью. Генерал каждый день ест шоколад. Галичка нежна и хороша необыкновенно. Ованес завел себе николаевскую шинель. Генерал удивляется тому, что никогда не интересовался грузинами. Генерал изучает историю Грузии и кавказские походы. Бурышкин забыт.

Городская управа выдала кету. Пенсию заплатили керенками.

Весна. Галичка с отцом проезжает по Невскому в экипаже. Бурышкин бродит в рассуждении — чего бы поесть. Хлеба нет. Старику обидно.

Бурышкин решает купить гузинаки для умерщвления аппетита.

Лавка Ованеса полна народа. Фельдшер стоит в хвосте. Лида и Шурик презирают его. Генерал рассказывает Ованесу анекдоты и хохочет. Грузин снисходительно улыбается. Бурышкин в ничтожестве.

Ованес не хочет дать фельдшеру сдачи с керенки. А у Ованеса есть мелочь.

— Декрет насчет сдачи читали? — спрашивает Бурышкин.

— Наплевал я на декреты, — отвечает грузин.

— Нет у меня мелочи, — шепчет Бурышкин.

— Коли нету — отдавай гузинаки.

— А в Красную Армию не хочешь?

— Наплевал я на Красную Армию.

— Ага!

Бурышкин в штабе. Бурышкин рассказывает. Комиссар отряжает 50 человек.

Отряд в лавке. Шурик в обмороке. Побледневший генерал трясущейся рукой с достоинством водружает пенсне.

Обыск у Ованеса. Найдены: мука, крупа, сахар, золото в слитках, шведские кроны, сухие яйца «Эгго», подошвенная кожа, рисовый крахмал, старинные монеты, игральные карты и парфюмерия «Модерн». Все кончено.

Ованес сидит. По ночам ему снится, что ничего не случилось, что он находится в ресторации Пальмира и смотрит на женщин.

Бурышкин исполнен энергии. Он — свидетель.

Аборт у Галички прошел благополучно. Она слаба и нежна. Муж Шурика поступил инструктором в Красную Армию, участвовал в каких-то боях на внутреннем фронте, получает

фунт хлеба в день, очень весел, вернулся с нехорошей болезнью. Шурик лечится у дорогого врача и капризничает. Подпоручик говорит, что теперь все больны.

Генерал сводит знакомство с провизором Лейбзоном. Генерал слаб, исхудал. Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость.

Не оправившуюся от болезни Галичку навещает Лида. Она подурнела, служит секретаршей в Смольном, на нее очень действует весна. Она говорит, что женщине трудно устроиться теперь. Железные дороги не действуют, нельзя поехать в деревню.

СЛЕПЫЕ

На табличке значилось: «Убежище для слепых воинов». Я позвонил у высокой дубовой двери. Никто не отозвался. Дверь оказалась открытой. Я вошел и увидел вот что:

С широкой лестницы сходит большой черноволосый человек в темных очках. Он машет перед собой камышовой тросточкой. Лестница благополучно преодолена. Перед слепым лежит множество дорог — тупички, закоулки, ступени, боковые комнаты. Тросточка тихонько бьет гладкие, тускло блистающие стены. Недвижимая голова слепого запрокинута кверху. Он движется медленно, ищет ногой ступеньку, спотыкается и падает. Струйка крови прорезывает выпу-

клый белый лоб, обтекает висок, скрывается под круглыми очками. Черноволосый человек приподнимается, мочит пальцы в своей крови и тихо кличет: «Каблуков». Дверь из соседней комнаты открывается бесшумно. Передо мной мелькают камышовые тросточки. Слепые идут на помощь упавшему товарищу. Некоторые не находят его, прижимаются к стенам и незрячими глазами глядят кверху, другие берут его за руку, поднимают с пола и понурив головы ждут сестру или санитара.

Сестра приходит. Она разводит солдат по комнатам, потом объясняет мне:

— Каждый день такие случаи. Не подходит нам дом этот, совсем не подходит. Нам надо дом ровный, гладкий, чтобы коридоры в нем были длинные. Убежище наше — ловушка: все ступеньки, ступеньки... Каждый день падают...

Начальство наше, как известно, проявляет особенный административный восторг в двух случаях — когда надо спасаться или пищать. В периоды всяческих эвакуаций и разорительных перетаскиваний деятельность властей получает оттенок хлопотливости, творческого веселья и деловитого сладострастия.

Мне рассказывали о том, как протекала эвакуация слепых из убежища.

Инициатива переезда принадлежала больным. Приближение немцев, боязнь оккупации приводила их в чрезвычайное волнение. Причины волнения — многосложны. Первая из них та, что всякая тревога сладостна для слепых.

Возбуждение охватывает их быстро и неодолимо, нервическое стремление к выдуманной цели побеждает на время уныние тьмы.

Второе основание для бегства — особенная боязнь немцев.

Большинство призреваемых прибыли из плена. Они твердо убеждены в том, что если придет немец, то снова заставит служить, заставит работать, заставит голодать.

Сестры говорили им:

— Вы слепы, никому не нужны, ничего вам не сделают...

Они отвечали:

— Немец не пропустит, немец всем работу даст, мы у немца жили, сестра...

Тревога эта трогательна и показательна для пленников.

Слепые попросили отвезти их в глубь России. Так как дело пахло эвакуацией, то разрешение было получено быстро. И вот началось главное.

С печатью решимости на тощих лицах, закутанные слепцы потянулись на вокзалы. Проводники рассказали потом историю их странствований. В тот день шел дождь. Сбившись в кучу, понурые люди всю ночь ждали под дождем посадки. Потом в товарных вагонах, холодных и темных, они брели по лицу нищего отечества, ходили в советы, в грязных приемных ожидали выдачи пайков и, растерянные, прямые, молчаливые, покорно шли за утомленными и злыми проводниками. Некоторые сунулись в деревню. Деревне было не до них. Всем было не до них. Негодная людская пыль,

никому не нужная, блуждала, подобно слепым щенятам, по пустым станциям, ища дома. Дома не оказалось. Все вернулись в Петроград. В Петрограде тихо, совсем тихо.

В стороне от главного здания приютился одноэтажный дом. В нем живут особенные люди особенного времени — семейные слепые.

Я разговорился с одной из жен — рыхлой, молодой женщиной в капоте и в кавказских туфлях. Тут же сидел муж — старый костлявый поляк с оранжевым цветом лица, выеденного газами.

Я расспросил и понял быстро: отупевшая маленькая женщина — русская женщина нашего времени, заверченная вихрем войны, потрясений, передвижений.

В начале войны она «из патриотизма» пошла в сестры милосердия.

Прожито многое: изувеченные «солдатики», налеты немецких аэропланов, танцевальные вечера в офицерском собрании, офицеры в «галифе», женская болезнь, любовь к какому-то уполномоченному, потом — революция, агитация, снова любовь, эвакуация и подкомиссии...

Где-то, когда-то, в Симбирске были родители, сестра Варя, двоюродный брат путеец... Но от родителей полтора года нет писем, сестра Варя — далеко, теплый запах родины испарился...

Теперь вместо этого — усталость, расползшееся тело, сидение у окна, любовь к безделью, мутный взгляд, тихонько перебирающийся с одного предмета на другой, и еще муж — слепой поляк с оранжевым лицом...

Таких женщин в убежище несколько. Они не уезжают потому, что ехать некуда и незачем. Сестра надзирательница часто говорит им:

— Не пойму, что у нас здесь... Все сбились в кучу и живем, а жить вам не полагается... Я теперь и названия убежищу не подберу, по штату мы казенное учреждение, а теперь... ничего не понять...

В темной низкой комнате, друг против друга, на узких кроватях сидят два бледных бородатых мужика. Стеклянные глаза их недвижимы. Тихими голосами они переговариваются о земле, о пшенице, о том, какая нынче цена поросятам...

В другом месте дряхлый и равнодушный старичок учит высокого сильного солдата игре на скрипке. Слабые визгливые звуки текут из-под смычка поющей трепещущей струей...

Я иду дальше.

В одной из комнат стонет женщина. Заглядываю и вижу: на широкой кровати корчится от болей девочка лет семнадцати с багровым и мелким личиком. Темный муж ее сидит в углу на низкой табуретке, широкими движениями рук плетет корзину и внимательно и холодно прислушивается к стонам.

Девочка вышла замуж полгода тому назад.

Скоро в особенном домишке, начиненном особенными людьми, — родится младенец.

Дитя это будет, поистине, дитя нашего времени.

ВЕЧЕР

Я не стану делать выводов. Мне не до них.

Рассказ будет прост.

Я шел по Офицерской улице. Это было 14 мая в 10 часов вечера. У ворот одного из домов я услышал крик. В подворотню заглядывали людишки — лавочник, проходивший мимо, внимательный мальчишка-приказчик, барышня с нотами, щекастая горничная, распаленная весной.

В глубине двора, у сарая, стоял человек в черном пиджаке. Сказать о нем «человек» — значит сказать много. Он был узкогруд и тонок, паренек лет семнадцати. Вокруг него бегали раскормленные плотные люди в новых скрипящих сапогах и вопили тягучие слова. Один из бегущих с недоумением, наотмашь ударил паренька кулаком по лицу. Тот, склонив голову, молчал.

Из окна второго этажа торчала рука, сжимавшая револьвер, и летел быстрый хриплый голос:

— Будь уверен, жить не будешь... Товарищи, израсходую я его... Не можешь ты у меня жить...

Паренек, понурясь, стоял против окна и смотрел на говорившего со вниманием и тоскою. А тот, расширив до предела узкие щели мутных голубых глаз, загорался злобой от нелепого и горячего своего крика. Паренек стоял не шевелясь. В окне блеснуло пламя. Звук выстрела прозвучал подобно мощной бархатной ноте, взятой баритоном. Покачиваясь, парень отошел в сторону и прошептал:

— Что же вы, товарищи... Господи...

Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили: бьют комиссары. В доме помещается «район». Мальчишка — арестованный, пытался улизнуть.

У ворот все еще стояла щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего, лавочник с неожиданным оживлением захлопнул калитку — подпер ее плечом и выпучил глаза. Арестант прижался к калитке. Здесь солдат ударил его прикладом по голове. Прозвучал скучный заглушенный хрип:

— Убили...

Я шел по улице, сердце побаливало, отчаяние владело мною.

Избивавшие были рабочими. Никому из них не было более тридцати лет. Они поволокли мальчишку в участок. Я проскользнул вслед за ними. По коридорам крались широкоплечие багровые люди. На деревянной скамейке, сжатый стражей, сидел пленник. Лицо у него было окровавленное, незначительное, обреченное. Комиссары сделались деловитыми, напряженными, неторопливыми. Один из них подошел ко мне и спросил, глядя на меня в упор:

— Что надо? Убирайся вон!

Все двери захлопнулись. Участок отгородился от мира. Наступила тишина. За дверью отдаленно звучал шум сдержанной суеты. Ко мне приблизился седенький сторож:

— Уйди, товарищ, не ищи греха. Его уж прикончат, вишь — заперлись. — Потом сторож добавил: убить его мало, собаку, не бегай в другой раз.

В двух шагах ходьбы от участка мне бросился в глаза освещенный ряд окон кафе. Оттуда доносилась солдатская музыка. Мне было грустно. Я пошел. Вид зала поразил меня. Его заливал необычный свет мощных электрических ламп — свет яркий, белый, ослепительный. У меня зарябило в глазах от красок. Мундиры — синие, красные, белые — образовывали цветную радостную ткань. Под сияющими лампами сверкало золото эполет, пуговиц, кокард, белокурые, молодые головы, черный блеск крепко вычищенных сапог светился недвижимо и точно. Все столики были заняты германскими солдатами. Они курили длинные черные сигареты, задумчиво и весело следили за синими кольцами дыма, пили много кофе с молоком. Их угощал растроганный, рыхлый старый немец; он все время заказывал музыкантам вальсы Штрауса и «Песню без слов» Мендельсона. Крепкие плечи солдат двигались в такт с музыкой, светлые глаза их блистали лукаво и уверенно. Они охорашивались друг перед другом и все смотрели в зеркало. И сигары, и мундиры с золотым шитьем совсем недавно были присланы им из Германии. Среди немцев, глотавших кофе, были всякие: скрытные и разговорчивые, красивые и корявые, хохочущие и молчаливые, но на всех лежала печать юности, мысли и улыбки — спокойной и уверенной.

Наш северный притихший Рим был величествен и грустен в эту ночь. Впервые в нынешнем году не были зажжены огни. Начались белые ночи.

Гранитные улицы стояли в молочном тумане призрачной ночи и были пустынны. Темные фигуры женщин смутно

чернелись у высоких свободных перекрестков. Могучий Исаакий высказывал единую непреходящую легкую каменную мысль. В синем сумрачном сиянии видно было, сколь чист гранитный и мелкий узор мостовой. Нева, заключенная в недвижимые берега, холодно ласкала мерцание огней в темной и гладкой своей воде.

Молчали мосты, дворцы и памятники, спутанные красными лентами и изъязвленные лестницами, приготовленными для разрушения. Людей не было. Шумы умерли. Из редеющей тьмы стремительно наплывало яростное пламя автомобиля и исчезало бесследно. Вокруг золотистых шпилей вилось бесплотное покрывало ночи. Безмолвие пустоты таило мысль — легчайшую и беспощадную.

Я ЗАДНИМ СТОЯЛ

Мы похожи на мух в сентябре: сидим вялые, точно нам подыхать скоро надо. Мы представляем собой собрание безработных Петроградской стороны.

Зал для собрания отвели просторный. Надвигающиеся солнечные лучи — широкие, горячие, белые — уперлись в стену.

Доклад делает председатель Комитета безработных. Он говорит:

— Безработных сто тысяч.

Остановившиеся заводы не могут быть пущены в ход. Нет топлива.

Биржа труда работает худо. Хоть в ней сидят рабочие, однако это не очень умные, не очень грамотные рабочие. Продовольственная управа бесконтрольна в своих действиях. Те, кто распределяет хлеб между населением, те же имеют право и браковать его. Ничего хорошего из этого не выходит. Никто ни в чем не отчитывается.

Сообщение выслушивается пассивно. Ждут выводов. Выводы следуют.

Необходимо, чтобы в учреждениях не служили целыми семьями — муж, да жена, да дети.

Необходимо безработным контролировать биржу труда.

Необходимо предоставить Комитету безработных просторное помещение и т. д. и т. п.

Под стульями светятся черным блеском сапоги. Всем известно, что безработный, обладая досугом и остатком денег, полученных при расчете, по утрам усердно поплевывает на сапоги, создавая себе, таким образом, иллюзию занятия.

Докладчик умолк. На кафедру входят присмиревшие неумелые люди в куцых пальтишках. Безработные Петрограда заявляют о великих своих нуждах, о пятирублевом пособии и о дополнительной карточке.

— Смирный народ исделался, — пугливо шепчет за моей спиной шепелявый старческий голос. — Кроткий народ исделался. Выражение-то какое у народа тихое...

— Утихнешь, — отвечает ему басом другой голос, густой и рокочущий. — Без пищи голова не ту работу оказывает. С одной стороны — жарко, с другой — пищи нет. Народ, скажу тебе, в задумчивость впал.

— Это верно — впал, — подтверждает старик.

Ораторы менялись. Всем хлопали. Совершила выступление интеллигенция. Застенчивый человек с бороденкой, задумываясь, покашливая и прикрывая ладонью глаза, поведал о том, что Маркса не поняли, капиталу нужно движение дать...

Ораторы говорили, публика расходилась. Только угрюмые рабочие чего-то ждали.

На трибуну взошел рабочий лет сорока, с круглым, добрым лицом, красным от волнения. Речь его была бессвязна...

— Товарищи, здесь председатель говорил, другие также... Я одобряю, я свое не могу выразить. Меня в заводе — ты какой? Я говорю — ни к кому я не принадлежу, я неграмотный, дай мне работу, я тебя накормлю, я всех накормлю. На завод ребята с газетами приходили, все горлопанили. Я задним стоял, товарищи, я ни к кому не принадлежал, мне работу дай... Кто красноречивый был, — что мы видим? — он в комиссарах горлопанит, а нам велит: ходи вокруг биржи... Мы вокруг биржи ходим, потом вокруг Петроградской стороны пойдем, потом вокруг России... Как же так, товарищи?..

Рабочего прерывают. Рев потрясает зал. Аплодисменты оглушительны.

Оратор смущен, радостен, он машет руками и мнет фуражку.

— Товарищи, я свое не могу выразить, меня от дела отставили, зачем я теперь? Все учили про справедливость...

Если справедливость, если народ — мы, значит, казна наша, ляса наши, именьишка наши, вся земля и вода наши. Устрой нас теперь, мы задними стояли, мы ни в чем этом не виноваты, мы нынче пустые по углам слоняемся. Невозможно дальше в таком беспокойствии жить...

— Все враги у нас — и немец, и другие, я поднимать их всех притомился... Я про справедливость хотел выразить... Поработать бы нам этим летом — и все...

Последний оратор имел успех, наибольший успех, единственный успех. Когда он сошел с возвышения — его точно на руки подхватили, обступили и все хлопали.

Он счастливо улыбался и говорил, поворачивая голову во все стороны:

— Никогда за мной этого не было, чтоб говорить. Но теперь я, товарищи, по всех митингах пойду, я про работу должен все сказать.

Он пойдет на митинг. Он скажет. И боюсь я, что он будет иметь успех — этот последний наш оратор.

ЗВЕРЬ МОЛЧИТ

Баба улыбчива, ласкова, белолица. Из клетки на нее смотрит с холодным вниманием старая обезьяна.

С нестерпимой пронзительностью вопят попугаи, объятые скучным недугом. Серебристыми язычками они трутся о проволоку, скрюченные когти впились в решетку, серые клювы, столь схожие с желобками из жести, раскрываются и

закрываются, как у птицы, издыхающей от жажды. Бело-розовые тельца попугаев мерно качаются у стенок.

Египетский голубь смотрит на бабу красным блистающим глазком.

Морские свинки, сбившись в шевелящийся холмик, попискивают и тычут в решетку белые мохнатые мордочки.

Баба ничем не одаряет голодных животных. Орехи и монпансье — это не по ее карману.

Тогда обезьяна, умирающая от старости и недоедания, приподнимается с тяжким усилием и взбирается на палку, волоча за собой распухший серый волосатый зад.

Понурив бесстрастную морду, равнодушно раскорячив ноги, обратив на бабу тусклый и невидящий взор, обезьяна отдается дурному занятию, так развлекаются тупые старики в деревне и мальчики, скрывающиеся на черном дворе за сорными кучами.

Румянец заливает бледные щеки женщины, ресницы ее трепещут и призакрывают синие глаза. Очаровательное движение, полное смущения и лукавства, изгибает шею.

Вокруг бабы раздается ржанье солдат и подростков. Помотавшись по зверинцу, она снова подходит к обезьянской клетке.

— Ах, старый пес... — слышен укоризненный шепот. — Совсем ты из ума выжил, бесстыдник...

Баба вытаскивает из кармана кусок хлеба и протягивает обезьяне.

Трудно передвигаясь, животное приближается к ней, не спуская глаз с заплесневевшего куска.

— Люди голодом сидят, — бормочет солдат, стоящий неподалеку.

— Что зверю-то делать? Зверь — он молчит...

Обезьяна ест внимательно, осторожно двигая челюстями.

Луч солнца тронул сощуренный бабий глаз. Глаз засиял и покосился на сгорбившуюся волосатую фигурку.

— Дурачок, — с усмешкой прошептала женщина. Ситцевая юбка ее взметнулась, ударила солдата по глянцевитым сапогам и, медлительно виляя, потянулась к выходу, туда, где вспыхнувшее солнце буравило серую дорожку.

Баба уходит, солдат за нею.

Я и мальчишки — мы остаемся и смотрим на жующую обезьяну. Старая полька, услуживающая в здании, стоит рядом со мной и торопливо бормочет о том, что люди Бога забыли, все звери скоро от голоду подохнут, теперь люди все крестные ходы затевают, вспомнили о Боге, да поздно...

Из глаз старухи выкатываются мелкие слезинки, она снимает их с морщин ловкими тонкими пальцами, трепыхается изогнутым телом и все бормочет мне о людях, о Боге и об обезьяне...

Несколько дней тому назад в зоологический сад пришли три седобородых старца.

Они представляли собой комиссию. Им была поставлена задача — рассмотреть, какие животные являются менее ценными. Таких надлежит пристрелить, так как кормов не хватает.

Старцы расхаживали по пустынным, чисто выметенным аллеям. Им давал разъяснения укротитель. За комиссией

следовала приехавшая толпа дрессировщиков татар, кротких татарок.

Старцы останавливались у клеток. Навстречу им приподнимались на высоких ногах двугорбые верблюды и лизали руки, говоря о покорном недоумении души, обеспокоенной голодом. Олени бились мягкими неотросшими рогами о железные прутья.

Слон, неутомимо шагавший на возвышении, вытягивал и свертывал хобот, но не получал ничего.

Комиссия совещалась, а укротитель докладывал с безнадежностью.

За зиму в зоологическом саду издохло восемь львов и тигров. Им дали в пищу негодную ядовитую конину. Звери были отравлены.

Из тридцати шести обезьян остались в живых две. Тридцать четыре умерли от чахотки и недоедания. В Петрограде обезьяна не живет больше года.

Из двух слонов пал один — наилучший. Он пал от голода. Спохватились, когда слон слег. Ему дали тогда пуд хлеба и пуд сена. Это не помогло.

Змей больше нет в зоологическом саду. Клетки их пусты. Издохли все удавы — драгоценные образцы породы.

Старцы расхаживают по пустынным дорожкам.

Молчаливой толпой следуют за ними дрессировщики и кроткие татарки-прислуги.

Солнце стоит над головой. Земля бела от недвижных лучей. Звери дремлют за изгородями на гладком песке.

Публики нет. Три финки, три белобрысые девочки с желтыми косицами неслышно снуют сбоку. Они — беженки из Вильно. Они доставляют себе удовольствие.

На листве, зазеленевшей недавно, оседает горячий порошок пыли. В вышине блистает одинокое синее солнце.

ФИННЫ

Красных прижимали к границе. Гельсингфорс, Або, Выборг пали. Стало ясно, что дела красных плохи. Тогда штаб послал за подмогой на далекий север.

Месяц тому назад на пустынной финской станции, там, где небо прозрачно, а высокие сосны неподвижны, я увидел людей, призванных для последнего боя.

Они приехали с Коми и с Мурмана — из мерзлой земли, прилегающей к тундре.

Их собрание происходило в низком бревенчатом сарае, наполненном сырой тьмой.

Черные тела — без движения — вповалку лежали на земле. Мглистый свет бродил по татарским безволосым лицам. Ноги их были обуты в лосиные сапоги, плечи покрывал черный мех.

За поясом у каждого торчал кривой нож, тугие пальцы лежали на тусклых стволах старинных ружей.

Древние тюрки лежали передо мной — круглоголовые, бесстрастные, молчащие.

Речь держал финский офицер.

Он сказал: «Бой будет завтра у Белоострова, у последнего моста! Мы хотим знать, кто будет хозяином на нашей земле».

Офицер не убеждал. Он думал вслух, с тягостным вниманием обтачивая небыстрые слова.

Замолчав, он отошел в сторону и, склонив голову, стал слушать.

Началось обсуждение, особенное обсуждение, я такого не слыхал в России.

Тишина царила в бревенчатом сарае, наполненном серой тьмой. Под черным мехом — непонятно молчали твердые лица, призрачно искаженные мглой, склоненные, дремлющие.

Медленно и трудно негромкие голоса входили в угрюмую тишину. Пятнадцатилетний говорил с холодной раздумчивостью старика, старики во всем походили на юношей.

Одни из финнов сказали: пойдем помогать. Они вышли из сарая и, гремя ружьями, стали строиться у леса.

Другие не тронулись с места. Бледный мальчик лет шестнадцати протянул офицеру газету, в которой напечатан был русский приказ о разоружении красных, переходящих границу.

Мальчик дал газету и тихо промолвил несколько слов. Я спросил тогда финна, служившего мне переводчиком: — О чем говорит теперь?

Финн обернулся и, не отрывая от моего лица холодных глаз, ответил мне в упор:

— Я не скажу вам того, я ничего не скажу вам больше.

Финны, оставшиеся с мальчиком, встали.

Вместо ответа они покачали лишь бритыми головами, вышли и, понурясь, молчащей толпой сбились у низкой стены.

Побледневший офицер крался вслед за ними, трясущейся рукой вытаскивая револьвер. Он навел его на потушенное желтое скуластое лицо юноши, стоявшего впереди. Тот скосил узкие глаза, отвернулся, сгорбился.

Офицер отошел, опустился на пень, швырнул револьвер и закрыл глаза руками.

На землю нисходил вечер. Румянец озарил край неба. Тишина весны и ночи облекла лес. Брошенный револьвер валялся в стороне. У леса офицер раздавал патроны тем, кто пойдет.

Недалеко от отряда, готовившегося в поход, я увидел мужичонку в армяке. Он сидел на толстом пне. Перед ним была миска с кашей, манерка борща, каравай хлеба.

Мужик ел, задыхаясь от жадности. Он стонал, откидывался назад, дышал со свистом и впивался черными пальцами в свалявшиеся куски застывшей каши. Пищи хватило бы на троих.

Узнав, что я русский, мужичонка поднял на меня мутносияющий, голубой глазок. Глазок сощурился, скользнул по караваю и подмигнул мне:

— Каши дали, чаю сухого — задобрить хотят на позиции везть, я ведь петрозаводский. А толку что? На что народ аккуратный — финны-то, — а с понятием идут. Не выйтить им живыми, никак им живыми не выйтить. Понаехали вроде

мордва, озираются, все арестовать кого-то хочут. Зачем — говорят — нас везли? Аккуратный народ, худого не скажешь. Я так думаю — прихлопнет их немец скоро.

Все это я видел на пустынной финской станции месяц тому назад.

НОВЫЙ БЫТ

Мы в сыром полутемном сарае. Косаренко нарезывает ножичком картофель. Толстоногая босая девка поднимает запотевшее веснушчатое лицо, взваливает на спину мешок с рассадой и выходит. Мы идем вслед за нею.

Полдень — синий в своей ослепительности — звучит тишиной зноя. На сияющих припухлостях белых облаков легко вычерчиваются овалы ласточкиного полета. Цветники и дорожки — жадно поглощенные шепчущейся травой — обведены с строгой остротою.

Проворной рукой девка прячет картофель в развороченной земле. Склонив голову набок, Косаренко ловит тонкими губами усмешку. Мелкие тени летают по сухой коже, наполняя желтоватое лицо неприметной дрожью морщинок, светлый глаз задумчиво сощурился, рассеянно трогая цветы, траву, бревно сбоку…

— Стрелковый Царской фамилии полк от нас неподалеку стоял, — шепчет Косаренко в мою сторону. — Там, кроме князей, никого и не увидишь… Сухих, гвардии полковник был,

с царем учился, наш полк ему и дали, как флигель-адъютанта получил — маленько от долгов оправился, не из богатых был...

Косаренко уже успел рассказать мне о великих князьях, об Скоропадском, бывшем его генерале, о сражениях, в которых погибла русская гвардия...

Мы сидим на скамейке, украшенной Амуром, пузатым и улыбчивым. На фронтоне легкого здания сияет позолота надписи: лейб-гвардии Финляндского полка офицерское собрание. Мозаика цветных стекол забита досками, сквозь щели виден светлый зал, стены его покрыты живописью, в углу свалена резная белая мебель.

— Товарищ, — говорит Косаренке толстоногая девка, — делегат насчет грядки говорил, я грядку-то посадила...

Девка уходит. Мясистая спина ее туго обтянута кофтой, крепкие соски упруго ходят под ситцем, оттопыриваясь дрожащими холмиками. В руках девки — пустой мешок кажет солнцу черные дыры.

Пустошь представлял из себя лагерь финляндского полка. Теперь земля принадлежит Красной Армии. На пустоши решили развести огород, для этого из полка послали десять красноармейцев. О посланных этих мне сказали так:

— Они ленивы, привередливы, наглы и болтливы. Они не умеют, не хотят и не будут работать. Мы отослали их обратно и взяли наемных рабочих.

Полк насчитывал в своей среде тысячу здоровых, бездельных юношей, едящих и болтающих.

Огород этой тысячи обрабатывается двумя заморенными чухонцами, равнодушными, как смерть, и несколькими девушками петербургских окраин.

Им платят по 11 рублей в сутки, они получают фунт хлеба в день, над ними поставлен агроном. Заглядывая в глаза, агроном говорит всем навещающим его:

— Мы всё разрушали, теперь стройка началась, хоть с изъянами, да стройка, на будущей неделе сорок коров купим...

Сказав про коров, агроном отскакивает, потом медленно приближается и вдруг — бормочет на ухо свистящим злым шепотом:

— Беда. Людей нет. Беда.

Я в поле. Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу точно соглядатай, втыкаю сапоги в рассыпающуюся землю.

Чухонцы, подпрыгивая, ходят за плугом.

Из десяти красноармейцев остался всего один. Он боронит. Борона ездит в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности.

Красноармеец — мужик с хитринкой. Вместе с остальными хотели отправить в город и его. Он воспротивился — харчи хороши показались и жизнь привольная.

Теперь он бегает за скачущими лошадьми, за кувыркающейся бороной и вспотевший, но важный, выпучив глаза, кричит мне яростно:

— Сторонись...

А девушки — те обливают грядки, работают неспешно, отдыхают, обняв колени, в холодку, и лукавым певучим шепотом перебрасывают друг дружке бесстыдную городскую песню.

— Я на десять фунтов поправилась, — шныряя глазками, говорит одна из них, горбатенькая, с мелким сероватым личиком, — отсюда на Гребецкую в мастерскую не побежишь... Кабы всегда казенная служба в деревне была, я, может, и молоко б тогда для ребенка пустила...

Час шабаша. Солнце высоко. Стены белы. Мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве.

Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухонец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми глазами. Красноармеец спит на солнцепеке, выбросив вбок обутую в лапоть ногу и приоткрыв перекошенный черный рот.

Тишина. Задумчиво уставившись в землю, Косаренко шепчет небыстрые слова:

— Я двадцать два года в фельфебелях был, мне уж удивляться нечему; а скажу вам, что не сознаю я себя — сон или настоящее? Был я у них в казарме — занятий нету, дрыхнут, на полу селедки, дрянь, щи разлитые... Долго ли продержимся?

Немигающие глазки устремлены на меня.

— Не знаю, Косаренко, надо б долго...

— Делать-то не с кем. Гляди!

Я гляжу. Чухонец распряг лошадей, присел на пень, бедными движениями поправляет портянки, красноармеец

спит, пустынный двор облит белым зноем, длинные ряды конюшен стоят заколоченные.

Далеко от нас, на фронтоне легкого здания, сияет позолота слов: лейб-гвардия... офицерское собрание... Рядом со мной похрапывает Косаренко. Он забыл уж, о чем говорил. Солнце сморило его.

СЛУЧАЙ НА НЕВСКОМ

Я сворачиваю с Литейного на Невский. Впереди меня — покачиваясь — идет безрукий мальчик. Он в солдатском мундире. Пустой рукав приколот булавкой к черному сукну.

Мальчик покачивается. Я думаю — ему весело. Теперь три часа дня. Солдаты продают ландыши, а генералы — шоколад. Весна, тепло, светло.

Я ошибся — безрукому не весело. Он подходит к деревянному забору, цветисто украшенному афишами, и садится на горячий асфальт тротуара. Тело его ползет книзу, искривленный рот пускает слюну, никнет голова — узкая и желтая.

Людишки стягиваются медленно. Стянулись. Мы стоим в бездеятельности, шепчем слова и упираемся друг в друга тупыми и изумленными глазами.

Рыжеватая дама проворнее всех. У нее золотистый парик, голубые глаза, синие щеки, пудреный нос и прыгающие вставные зубы. Она узнала всё: упал от голода наш инвалид, вернувшийся из немецкого плена.

Синие щеки ходят вниз и вверх. Она говорит:

— Господа, немцы обкуривают улицы столицы сигарами, а наши страдальцы...

Мы все, сбившиеся вокруг распростертого тела в неторопливую, но внимательную кучку, — мы все растроганы словами дамы.

Проститутки с пугливой быстротой суют в шапку мелкие кусочки сахару, еврей покупает с лотка картофельные котлеты, иностранец бросает чистенькую ленточку новых гривенников, барышня из магазина принесла чашку кофе. Инвалид копошится внизу на асфальте, пьет из китайской чашечки кофе и жует сладкие пирожки.

— Точно на паперти, — бормочет он, икая и обливаясь светлой обильной слезой, — точно нищий, точно в цирк пришли, Господи...

Дама просит нас уйти. Дама взывает к деликатности. Инвалид боком валится на землю. Вытянутая нога его вспрыгивает кверху, как у игрушечного паяца.

В это время к панели подлетает экипаж. Из него выходит матрос и синеглазая девушка в белых чулках и замшевых туфельках. Легким движением она прижимает к груди охапку цветов.

Расставив ноги, матрос стоит у забора. Инвалид приподнимает обмякшую шею и робко всматривается в голую шею матроса, в завитые волосы, в лицо, покрытое пудрой, пьяное, радостное.

Матрос медленно вынимает кошелек и бросает в шапку сорокарублевку. Мальчик сгребает ее черными негнущимися

пальцами и поднимает на матроса водянистые собачьи глаза.

Тот качается на высоких ногах, отступает на шаг назад и подмигивает лежащему — лукаво и нежно.

Пламенные полосы зажжены на небе. Улыбка идиота растягивает губы лежащего, мы слышим лающий хриплый смех, изо рта мальчика бьет душный зловонный запах спирта.

— Лежи, товарищ, — говорит матрос, — лежи...

Весна на Невском, тепло, светло. Широкая спина матроса медлительно удаляется. Синеглазая девушка, склонившись к круглому плечу, тихо улыбается. Калека, ерзая на асфальте, заливается обрывистым, счастливым и бессмысленным хохотом.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ

Две недели тому назад Тихон — патриарх московский — принимал делегации от приходских советов, духовной академии и религиозно-просветительных обществ.

Представителями делегации — монахами, священнослужителями и мирянами — были произнесены речи. Я записал эти речи и воспроизведу их здесь:

— Социализм есть религия свиньи, приверженной земле.

— Темные люди рыщут по городам и селам, дымятся пожарища, льется кровь убиенных за веру. Нам сказывают: социализм. Мы ответим: грабеж, разорение земли русской, вызов святой непреходящей церкви.

— Темные люди возвысили братства и равенства. Они украли эти лозунги у христианства и злобно извратили до последнего постыдного предела.

Быстрой вереницей проходят кудреватые батюшки, чернобородые церковные старосты, короткие задыхающиеся генералы и девочки в белых платьицах.

Они падают ниц, тянутся губами к милому сапогу, скрытому колеблющимся шелком лиловой рясы, припадают к старческой руке, не находя в себе сил оторваться от синеватых упавших пальцев.

Патриарх сидит в золоченом кресле. Он окружен архиепископами, епископами, архимандритами, монашествующей братией. Лепестки белых цветов в шелку его рукавов. Цветами усыпаны столы и дорожки.

С сладостной четкостью с генеральских уст срываются титулы — ваше святейшество, боголюбимый владыко, царь церкви. По обычаю старины, они низко бьют челом патриарху, неуклюже трогая руками пол. Неприметно и строго блюдут монахи порядок почитания, с горделивой озабоченностью пропуская делегации.

Люди поднимают кверху дрожащие шеи. Схваченные тисками распаренных тел, тяжко дышащих жаром — они, стоя, затягивают гимны. Нешумно разлетаются по сторонам батюшки, зажимая между сапогами развевающиеся рясы.

Золотое кресло скрыто круглыми поповскими спинами. Давнишняя усталость лежит на тонких морщинах патриарха. Она осветляет желтизну тихо шевелящихся щек, скупо поросших серебряным волосом.

Зычные голоса гремят с назойливым воодушевлением. Несдержанно изливается восторг прорвавшегося многословия. Бегом бегут на возвышение архимандриты, торопливо сгибаются широкие спины. Черная стена — стремительно, неслышно растущая, обвивает заветное кресло. Белый клобук скрыт от жадных глаз. Обрывистый голос язвит слух нетерпеливыми словами:

— Восстановление на Москве патриаршества — есть первое знамение из пепла восстающего государства Российского. Церковь верит, что верные ее сыны, ведомые грядущим во имя Господне святейшим Тихоном, патриархом Московским и всея Руси, сбросят маску с окровавленного лика Родины.

— Как в древние дни тяжкого настроения, Россия с надеждой поднимает измученный взор на единого законнейшего владыку, во дни безгосударные подъявшего на себя крестный труд соединения рассыпанной храмины...

Гремят зычные голоса. Не склоняя головы, прямой и хилый, патриарх устремляет на говорящих неподвижный взор. Он слушает с бесстрастием и внимательностью обреченного.

За углом, протянув к небу четыре прямые ноги, лежит издохшая лошадь.

Вечер румян.

Улица молчалива.

Между гладких домов текут оранжевые струи тепла.

На паперти — тела спящих калек. Сморщенный чиновник жует овсяную лепешку. В толпе, сбившейся у храма, гну-

савят слепцы. Рыхлая баба лежит во прахе перед малиновым мерцанием иконы. Безрукий солдат, уставив в пространство немигающий глаз, бормочет молитву Богородице. Он неприметно поводит рукой, рассовывая иконки, и быстрыми пальцами комкает полтинники.

Две нищенки прижали старушечьи лица к цветным и каменным стенам храма.

Я слышу их шепот.

— Выхода ждут. Не молебен нынче. Патриарх со всей братией в церкви собравшись. Обсуждение нынче. Народ обсудят.

Распухшие ноги нищенок обернуты красными тряпками. Белая слеза мочит кровавые веки.

Я становлюсь рядом с чиновником. Он жует, не поднимая глаз, слюна закипает в углах лиловых губ.

Тяжко ударили колокола. Люди сбились у стены и молчат.

НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

Длиннорукий итальянец, старый, облезлый и дрожащий от холода, бегал по помосту и, приложив палец к губам, свистал в небо. Над ним изгибались два аэроплана, стуча моторами. Из темнеющей высоты пилоты махали куцей лысине синьора Антонио платками. Толпа кричала: «Ура!» Синьор Антонио прыгал на досках, обтянутых красным, делал ручкой звездам и визжал, окруженный ревущими мальчишками:

— Барынька хочешь, э? Марсельеза, э?..

И он свистал, извиваясь, Марсельезу.

Это происходило на Дворцовой площади, у статуи Победы перед Зимним дворцом. Охваченные оранжевыми, желтыми, алыми полотнами, на эстраде кувыркались фокусники и мелькали дрожащие факелы, пущенные точной рукой жонглера.

Над Невой взлетают ракеты. Черная вода пылает багровым светом, возле нас трясутся пушечные громы, воющие и тревожные, как канонада у неприятеля.

— Herr Biene*, — слышу я за спиной обстоятельный немецкий голос, — когда в 1912 году в Гейдельберге происходили именины герцога Баденского, мы не видели ничего подобного?..

— Oh, — ответил за моей спиной голос Herr'a Biene, презрительный и глухой. — Der Großherzog von Baden ist, mit Respekt zusprechen, ein Schuft**.

У статуи Победы в красных сукнах зажглись фонари. Я пошел к Неве. У Николаевского моста на вышке миноносца, где прожектор, стоял молчаливый матрос с напомаженной блистающей головой.

— Дяденька, на меня, — срывались с набережной мальчишки.

Матрос поворачивал стекло и обливал нестерпимым светом рыжего оборванца с зелеными веснушками.

— Дяденька, — на крепость, на небо...

---

* Господин Бине (*нем.*).

** О, великий герцог Баденский, с позволения сказать, негодяй (*нем.*).

Луч, стремительный, как выстрел, дрожал на небе туманным светящимся пятном.

Тогда подошел пузатый старик в шоколадном пальто с котелком; с ним была костлявая старуха и две плоских дочери в накрахмаленных платьях...

— Товарищ, — сказал старик, — как мы приезжие из Луги, желательно, как говорится, ничего не пропустить...

Прожектор миноносца Балтийского флота номер такой-то перебрался из Петропавловской крепости к приезжему из Луги. Он внедрился в живот, покрытый шоколадным пальто, и одел сиянием, окружил нимбом две головы двух плоских дочерей.

КОНЦЕРТ В КАТЕРИНЕНШТАДТЕ

Виндермайер медленно всходит на возвышение посреди трактира. Он слеп. Дремлющий сын подает ему гармонию, окованную темной бронзой. Мы слушаем песню, принесенную из Тироля.

Я сижу у окна. День угасает на базарной площади. Пастор Кульберг, склонив голову, задумавшись, идет из кирки. Над утоптанной землей качаются легкие волны таинственной толпы.

Безумный Готлиб шевелится у прилавка, где хозяин. Лицо Рихарда Вагнера окружено желтой и торжественной сединой. На испытанное и незначительное тело давнишнего сумасшедшего посажена презрительная и тяжкая голова.

Виндермайер кончил тирольскую песню. В его руках Евангелие для слепых.

— Виндермайер, сыграйте песню гейдельбергских студентов...

Два вздутых и белых зрачка висят в сумраке. Они похожи на остановившиеся глаза ослепшей птицы.

— ...Молодые люди открывают сегодня клуб Марксу, хозяин Дизенгоф прикрывает свой трактир...

— Что же вы будете делать, Виндермайер?

— Я не был на родине пятьдесят два года, вернусь в Тюбинген...

Две недели тому назад я приехал в Катериненштадт с необычайными людьми, я приехал с калеками. Мы образовали в Петербурге продовольственный отряд для инвалидов и отправились за хлебом в поволжские колонии.

Я вижу их теперь из окна. Стуча деревянными ногами, они ковыляют по базарной площади. Они вырядились в глянцевые сапоги и одели свои георгиевские кресты. Совет рабочих депутатов города Катериненштадта открывает сегодня свой первый клуб. Совет дает бал в честь нищих и освобожденных.

Калеки разбредаются по трактирам. Они заказывают себе котлеты, каждая в кулак, они рвут зубами белые калачи с румяной и коричневой коркой, на столах дымятся миски с жареным картофелем, с картофелем рассыпчатым, хрустящим и горячим, с дрожащих подбородков стекают тяжелые капли желтого пылающего масла.

Окрестных крестьян сзывает на торжество колокольный звон. В густеющей тьме, у зажигающихся звезд, на высоких колокольнях еле видны скрючившиеся церковные служки; втянув облысевшие головы в костлявые туловища, они повисли на ходящих канатах. Обтекаемые тьмою, они непрерывно бьют медными языками о бока катериненштадтских колоколов.

Я видел Бауэров и Миллеров, пришедших сегодня утром из колонии в церковь. Теперь они снова сидят на площади — голубоглазые, молчаливые, морщинистые и искривленные работой. В каждой трубке не потухает слабое пламя, старые немки и белоголовые девочки неподвижно торчат на лавках.

Дом, где помещается клуб, — против площади. В окнах — огни. К воротам медленно приближается кавалерия на киргизских конях. Лошади забраны у убитых офицеров под Уральском. У солдат сбоку кривые сабли, они в широкополых серых шляпах с свисающими красными лентами.

Из дома Совета выходят комиссары — немецкие ремесленники из деревень, с красными шарфами на шеях. Обнажив головы, они пересекают площадь и приближаются к клубу. Мы видели сквозь освещенные окна портреты Маркса и Ленина, обвитые зеленью. Genosse* Тиц, председатель, бывший слесарь, в черном сюртуке идет впереди комиссаров.

Звон колоколов обрывается, сердца вздрагивают. Пастор Кульберг и патер Ульм стоят у статуи Богоматери, что около

---

* Товарищ (*нем.*).

костела. Оркестр солдат громко и фальшиво играет прекрасные такты Интернационала. Genosse Тиц всходит на кафедру. Он будет говорить речь.

На лавках застыли сгорбленные немцы. В каждой трубке тлеет слабое пламя. Звезды сияют над нашими головами. Блеск луны достиг Волги.

Сегодня ночью Виндермайер получает расчет. Гармония, окованная темной бронзой, лежит в стороне. Хозяин Дизенгоф отсчитывает деньги.

Безумец с лицом Вагнера, в истрепанном сюртучишке спит у стойки, уронив возвышенный и желтый лоб. Он двадцать два года кормился от гостей Дизенгофа.

Сын слепца проверяет деньги, данные отцу хозяином.

В клубе все ярче разгораются широкие фитили керосиновых ламп, огни мечутся в табачном дыму.

— Говорят, ты прикрываешь трактир, Дизенгоф? — спрашивает старика вошедший с улицы немец.

Дизенгоф отвечает не оборачиваясь, презрительно и неясно шамкая:

— Для кого я его буду держать? Амбары пусты, торговли нет, хороших гостей выгнали. Отсюда недалеко идти, Густав. Там, напротив, говорят, не скучно...

— А Виндермайер?

— Он поедет в Тюбинген отдыхать...

— Blödsinn...[*] Подожди меня, Виндермайер, я поговорю с Тицом, ты будешь играть в клубе...

---

[*] Чепуха (*нем.*).

Густав выходит. Мы видим, как он поднимается по лестнице, его высокая фигура мелькает в зале. Он отводит в сторону Тица, они стоят у стены и разговаривают.

Слепец ждет в опустевшем трактире, положив на гармонию тонкие пальцы. Я все еще сижу у окна. Возле стойки тускло светится гордый и пустой лоб спящего Готлиба. Кто-то из комиссаров, стоя на возвышении и размахивая руками, говорит речь народу.

Закат

Пьеса в 8 сценах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.

Нехама — его жена, 60 лет.

Беня		— щеголеватый молодой человек, 26 лет.
Левка	их дети	— гусар в отпуску, 22 года.
Двойра		— перезрелая девица, 30 лет.

Арье-Лейб — служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет.

Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.

Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.

Бен Зхарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.

Фомин — подрядчик, 40 лет.

Евдокия Потаповна Холоденко — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком. Пьяница, 50 лет.

Маруся — ее дочь, 20 лет.

Рябцов — хозяин трактира.

Митя — официант в трактире.

Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.

Мадам Попятник — его жена. Сплетница с неистовыми глазами.

Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.

Семен — лысый мужик.

Б о б р и н е ц — шумный еврей. Шумит оттого, что богат.
В а й н е р — гундосый богач.
М а д а м В а й н е р — богачиха.
К л а ш а З у б а р е в а — беременная бабенка.
М о с ь е Б о я р с к и й — владелец конфексиона готовых платьев под фирмой «Шедевр».
[С е н ь к а Т о п у н.
К а н т о р Ц в и б а к.]

Действие происходит в Одессе, в 1913 г.

ПЕРВАЯ СЦЕНА

Столовая в доме Криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы.

В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги.

Старуха Крик заваривает чай. Сбоку, на маленьком столике — кипящий самовар.

В комнате старуха Н е х а м а, А р ь е - Л е й б, Л е в к а в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом галстук.

А р ь е - Л е й б. Ну, хорошо, Левка, отлично... Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы... Сначала рубят лозу, потом рубят человека... Матери в нашей жизни роли не играют... Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья?

Л е в к а *(хохочет. В грубом его голосе движутся громы)*. На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту... Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за турецкую войну.

А р ь е - Л е й б. Это со всеми так делают или только с евреями?

Л е в к а. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб!.. При чем тут евреи?

Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Д в о й р ы.

Д в о й р а. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Н е х а м а *(ни на кого не глядя, бурчит себе под нос)*. Посмотри в комоде.

Д в о й р а. Я смотрела в комоде — нету.

Н е х а м а. В шкафу.

Д в о й р а. В шкафе нету.

Л е в к а. Какое платье?

Д в о й р а. Зеленое с гесткой.

Л е в к а. Кажется, папаша подхватил.

Полуодетая, нарумяненная, завитая Д в о й р а входит в комнату. Она высока ростом, дебела.

Д в о й р а *(деревянным голосом)*. Ох, я умру!

Л е в к а *(матери)*. Вы небось признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру?.. Она призналась. Готово дело!.. Я его еще с утра заметил. Он запряг в биндюг Соломона Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора.

Д в о й р а. Ох, я умру! *(Она разражается громким плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.)* Нате вам!..

Н е х а м а. Издохни! Сегодня издохни...

Рыча и рыдая, Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод.

Б е н я *(вывязывает галстук)*. Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

А р ь е - Л е й б. Ты это про отца, Левка?

Л е в к а. Пусть не будет босяком.

А р ь е - Л е й б. Отец старше тебя на субботу.

Л е в к а. Пусть не будет грубияном.

Б е н я *(закалывает в галстук жемчужную булавку)*. В прошлом году Семка Мунш хотел Двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

А р ь е - Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится...»

Л е в к а *(матери)*. Сто раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить...

А р ь е - Л е й б. Сказано про меня у Ибн-Эзра: «Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков, аминь!..»

Б е н я *(вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживавшую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки)*. Здоровье присутствующих!

Л е в к а *(грубым голосом)*. Будем здоровы.

А р ь е - Л е й б. Чтобы было хорошо.

Л е в к а *(грубым голосом)*. Пусть будет хорошо!

В комнату вкатывается м о с ь е Б о я р с к и й, бодрый круглый человек. Он сыплет без умолку.

Б о я р с к и й. Привет! Привет! *(Представляется.)* Боярский... Приятно, чересчур приятно!.. Привет!

А р ь е - Л е й б. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть.

Б о я р с к и й *(усаживается и берет из рук старухи стакан чаю)*. Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли, есть вагон неприятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровье, и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны — и прямо к вам.

А р ь е - Л е й б. Вы принимаете морские ванны, Лазарь?

Б о я р с к и й. Через день, как часы.

А р ь е - Л е й б *(старухе)*. Худо-бедно положите пятьдесят копеек на ванну.

Б о я р с к и й. Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони...

А р ь е - Л е й б. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?

Б о я р с к и й. Я захаживаю к Фанкони.

А р ь е - Л е й б *(победоносно)*. Он захаживает к Фанкони!.. *(Старухе.)* Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкони, я не скажу — сорок.

Б о я р с к и й. Простите меня, Арье-Лейб, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в полтора рубля.

А р ь е - Л е й б *(с упоением)*. Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел!.. На тридцать рублей живет

семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку...

В комнату вплывает Д в о й р а. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стянуты высокими башмаками.

Это наша Вера.

Б о я р с к и й *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Д в о й р а *(хрипло)*. Очень приятно.

Все садятся.

Л е в к а. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Б о я р с к и й. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может.

А р ь е - Л е й б. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост... Лазарь, вы не имели права родиться!

Б о я р с к и й. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом, — капитал — это ничтожество, — Боярский интересуется счастьем... Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто — полтораста костюмов плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

А р ь е - Л е й б *(старухе)*. Положите на костюм пять рублей чистых, я не скажу — десять...

Б о я р с к и й. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

А р ь е - Л е й б. И я вам отвечу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет... Это я говорю вам, как шамес, а не как сват.

Б е н я *(разливает вино)*. Исполнение обоюдных желаний.

Л е в к а *(грубым голосом)*. Будем здоровы!

А р ь е - Л е й б. Пусть будет хорошо.

Б о я р с к и й. Я начал про Фанкони. Выслушайте, мосье Крик, историю про еврея-нахала... Забегаю сегодня к Фанкони, кофейная набита людьми, как синагога в Судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются... Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда... Поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз... Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный... поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы...

Л е в к а. Крыша?

Б о я р с к и й. Сукно, верх для шубы... Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков...

Л е в к а. Я люблю раков.

А р ь е - Л е й б. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Б о я р с к и й. ...и скушать десять раков...

Л е в к а *(грубым голосом)*. Я люблю раков!

А р ь е - Л е й б. Рак — это же жаба.

Б о я р с к и й *(Левке)*. Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и бильярдисты. Это говорю вам замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала...

Б е н я. Боярский!

Б о я р с к и й. Я.

Б е н я. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм прима?

Б о я р с к и й. Двубортный, однобортный?

Б е н я. Однобортный.

Б о я р с к и й. Фалды вы себе мыслите — круглые или отрезанные?

Б е н я. Фалды круглые.

Б о я р с к и й. Сукно ваше или мое?

Б е н я. Сукно твое.

Б о я р с к и й. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский или московский?

Б е н я. Какой лучше?

Б о я р с к и й. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно, лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно — это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Б е н я. Возьмем английское.

Б о я р с к и й. Доклад ваш или мой?

Б е н я. Доклад твой.

Б о я р с к и й. Сколько вам обойдется?

Б е н я. Сколько мне обойдется?

Б о я р с к и й *(осененный внезапной мыслью)*. Мосье Крик, мы сойдемся!

А р ь е - Л е й б. Вы сойдетесь!

Б о я р с к и й. Мы сойдемся… Я начал про Фанкони.

Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит М е н д е л ь К р и к с кнутом и Н и к и ф о р, старший кучер.

А р ь е - Л е й б *(оробел)*. Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским…

Б о я р с к и й *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.

А р ь е - Л е й б *(заикаясь)*. Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтораста костюмов в месяц…

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р *(прислонился к косяку двери и уставился в потолок)*. Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются.

М е н д е л ь. Почему с нас люди смеются?

Н и к и ф о р. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе... Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад: тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить, на квитанцию.

М е н д е л ь. Приказание дал?

Н и к и ф о р. Приказание дал.

Н е х а м а *(стянула сапог, размотала грязную портянку, Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы)*. Чтоб ты света не дождался, мучитель!..

М е н д е л ь. Так что ты говоришь, Никифор?

Н и к и ф о р. Я то говорю, что от Левки сегодня грубость видели.

Б е н я *(отставив мизинец, пьет вино)*. Обоюдное исполнение желаний.

Л е в к а. Будем здоровы.

Н и к и ф о р. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встреваю. Что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари, Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать? Хозяин не приказывал... А Левка стал красный, как буряк, и кричит: кто твой хозяин?..

Нехама стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пироги, варенье — все полетело на пол.

М е н д е л ь. Кто же твой хозяин, Никифор?

Н и к и ф о р *(угрюмо)*. Вы мой хозяин.

М е н д е л ь. А если я твой хозяин *(он подходит к Никифору и берет его за грудь)*, а если я твой хозяин, так бей того, кто вступит ногой в мою конюшню, бей его в душу, в жилы, в глаза... *(Он трясет Никифора и отшвыривает от себя.)*

Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор. Старуха тащится на коленях к двери.

Н е х а м а. Чтоб ты свету не дождался, мучитель…

Молчание.

А р ь е - Л е й б. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил Высших женских курсов...

Б о я р с к и й. ...так я поверю вам без честного слова.

Б е н я *(подает Боярскому руку)*. Зайдешь другим разом, Боярский.

Б о я р с к и й. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет! Привет! Зайду другим разом. *(Исчезает.)*

Беня встает, закуривает папироску, перекидывает через руку щегольской плащ.

А р ь е - Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...»

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала.

Здрасте! Двойра получила истерику *(он разжимает ножом крепко стиснутые зубы сестры. Она верещит все пронзительнее)*.

В комнату входит Н и к и ф о р. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.

Б е н я. Заложи мне гнедого в дрожки!

Н и к и ф о р *(из носу у него вытекает нерешительная струйка крови)*. Расчет мне дайте...

Б е н я *(подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом)*. Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, дружок мой...

ВТОРАЯ СЦЕНА

Ночь. Спальня Криков. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. С т а р и к и Н е х а м а на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклокоченная грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит низким голосом, бубнит нескончаемо.

Н е х а м а. У людей все как у людей… У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются… А у нас?.. Бог, милый бог, как темно в моем доме!

М е н д е л ь. Дай жить, Нехама. Спи!

Н е х а м а. …Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, завтра другой пристав… Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом…

М е н д е л ь. Дай дыхать, Нехама! Спи.

Н е х а м а. …Такой Левка. Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродок, отец не пускает детей в дело…

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама. Спи!

Молчание.

Н е х а м а. Раввин сказал, раввин Бен Зхарья… Настанет новый месяц, сказал Бен Зхарья, и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне…

М е н д е л ь *(сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой)*. Чего не дадут евреи?

Н е х а м а. Придет новолуние, сказал Бен Зхарья…

М е н д е л ь. Что мне не дадут евреи и что мне дали твои евреи?

Н е х а м а. Не пустят, не пустят в синагогу.

М е н д е л ь. Карбованец с откусанным углом мне дали твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами.

Н е х а м а. А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?

М е н д е л ь *(укладывается)*. О, кляча на мою голову!

Н е х а м а. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки... Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий, как печка, он здоровый, как печка.

М е н д е л ь. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...

Н е х а м а. Горячий как печка... Как мне стыдно, бог!.. *(Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотанье.)* В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками...

М е н д е л ь. Делай ночь, Нехама.

Н е х а м а *(плачет)*. Люди цацкаются с внуками...

Входит Б е н я. Он в нижнем белье.

Б е н я. Может быть, хватит на сегодня, молодожены?

Мендель приподымается. Он смотрит на сына во все глаза.

Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

М е н д е л ь *(встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье)*. Ты... ты вошел?

Б е н я. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел?

Б е н я. Она мне мать. Ты слышишь, супник!

Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В лунном луче трясется всклокоченная грязно-серая голова Нехамы.

М е н д е л ь. Ночью, ночью ты вошел...

ТРЕТЬЯ СЦЕНА

Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Р я б ц о в, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Безрадостные пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист М и р о н (в просторечии М а й о р) П о п я т н и к. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые г р е к и играют в кости с С е н ь к о й Т о п у н о м, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два м а т р о с а спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Ф о м и н. Его в чем-то горячо убеждает пьяная П о т а п о в н а. За передним столом стоит М е н д е л ь К р и к, пьяный, воспаленный, громадный, и У р у с о в, ходатай по делам.

М е н д е л ь *(бьет кулаком по столу)*. Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

Официант М и т я, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем.

Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира лампы приказывал!

М и т я. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают. Вот, видишь, какое дело…

М е н д е л ь. Темно!

М и т я *(Рябцову)*. Добавку освещения требует.

Р я б ц о в. Рупь.

М и т я. Получайте рупь.

Р я б ц о в. Получил рупь.

М е н д е л ь. Урусов!

У р у с о в. Есть!

М е н д е л ь. Скрозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

У р у с о в. По науке считается, скрозь человеческое сердце льется в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели…

М е н д е л ь. Стой! Стой!.. А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

У р у с о в. Свободно вполне. Сел и поехал…

Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна.

П о т а п о в н а. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать.

М е н д е л ь. Сел, говоришь, и поехал?

У р у с о в. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический океан и Тихий.

М е н д е л ь. А ты сказывал — человек через моря лететь может?

У р у с о в. Может.

М е н д е л ь. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

У р у с о в *(с твердостью)*. Может.

М е н д е л ь *(сжимает ладонями лохматую голову)*. Конца нет, краю нет... *(Рябцову.)* Поеду. В Бессарабию поеду.

Р я б ц о в. А делать чего будешь в Бессарабии?

М е н д е л ь. Чего захочу, то и буду.

Р я б ц о в . А чего тебе хотеть?

М е н д е л ь. Слухай меня, Рябцов, я еще живой...

Р я б ц о в. Не живой ты, если тебя бог убил.

М е н д е л ь. Когда это меня бог убил?

Р я б ц о в. Годов-то тебе сколько?

Г о л о с и з т р а к т и р а. Годов ему всех шестьдесят два.

Р я б ц о в. Шестьдесят два года бог тебя и убивает.

М е н д е л ь. Рябцов, я бога хитрей.

Р я б ц о в. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей.

М и т я вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых д е в к и с засаленными грудями. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Ослепительный свет разливается по трактиру.

М и т я. Со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем! Девки, обставь его, бешеного, лампами.

Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое его лицо.

Г о л о с и з т р а к т и р а. Из ночи день делаем, Мендель?

М е н д е л ь. Конца нет.

П о т а п о в н а *(дергает Урусова за рукав)*. Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин... Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошних кур всучивают, да рази я к курям к этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник. Я, какая где яблонка задичится, я ее раздичу...

Г о л о с и з т р а к т и р а. Из понедельника воскресенье делаем, Мендель?

П о т а п о в н а *(кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее)*. Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги, мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послухайте, господин, на нас с липы цвет лететь будет... Мендель, золотко, я же садовница, я папочкина дочка!..

М е н д е л ь *(идет к стойке)*. Рябцов, у меня глаза были... слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильней телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрей паровозов были, мои ноги по морю ходят, а чего я сделал с мои-

ми ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке... Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю.

Р я б ц о в. Ставь. Кто тебя не пущает?

Г о л о с и з т р а к т и р а. Найдутся — не пустят. Наступят на хвост — не выдерет...

М е н д е л ь. Я песни приказывал! Дай военную, музыкант... Не мотай жилы... Жизнь дай! Еще дай!..

Колеблясь, срываясь, флейта выводит пронзительную мелодию. Мендель пляшет, топает чугунными ногами.

М и т я *(Урусову шепотом)*. Фомину приходить или рано?

У р у с о в. Рано. *(Музыканту.)* Прибавь, Майор!

Г о л о с и з т р а к т и р а. И прибавлять нечего, хор пришел. Пятирубель хор приволок.

Входит хор — с л е п ц ы в красных рубахах. Они натыкаются на стулья, машут перед собой камышовыми тросточками. Их ведет кузнец П я т и р у б е л ь, азартный человек, друг Менделя.

П я т и р у б е л ь. Со сна чертей похватал. Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете, наигрались... Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

М е н д е л ь *(бросается к запевале, рябому рослому слепцу)*. Федя, я в Бессарабию еду.

С л е п о й *(густым, глубоким басом)*. Счастливо вам, хозяин!

М е н д е л ь. Песню, Федя, последнюю мою!..

С л е п о й. «Славное море» — споем?

М е н д е л ь. Последнюю мою...

С л е п ы е *(настраивают гитары. Тягучие их басы запевают)*.

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Плыть молодцу недалечко.

М е н д е л ь *(швыряет в окно пустую бутылку. Стекло разлетается с треском)*. Бей!

П я т и р у б е л ь. Ох, и герой же, сукин сын!

М и т я *(Рябцову)*. За стекло сколько посчитаем?

Р я б ц о в. Рупь.

М и т я. Получайте рупь.

Р я б ц о в. Получил рупь.

С л е п ы е *(поют)*.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя...

М е н д е л ь *(ударом кулака вышибает оконную раму)*. Бей.

П я т и р у б е л ь. Сатана, а не старик!

Г о л о с а и з т р а к т и р а:

— Форсовито гуляет!..

— Ничего не форсовито... Обыкновенно гуляет.

— Обыкновенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь?

— Никто у него не помер... Обыкновенно гуляет.

— А причина какая, по какой причине гуляет?

Р я б ц о в. Поди разбери причину. У одного деньги есть — он от денег гуляет, у другого денег нет — он от бедности гуляет. Человек ото всего гуляет...

Песня гремит все могущественнее. Звон гитар бьется о стены и зажигает сердца. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь.
Горная стража меня не поймала.
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

П о т а п о в н а *(пьяна и счастлива)*. Мендель, мама моя, выпейте со мной! Выпьем за нашу ясочку!

П я т и р у б е л ь. Швейцару на почте морду бил. Вот какой старик! Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил...

Шел я и ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

М е н д е л ь. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы!.. *(Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.)*

Г о л о с а и з т р а к т и р а:

— Чисто слон!

— У нас и слоны слезами плакали...

— Это врешь, слоны не плачут...

— Говорю тебе, слезами плакал...

— В зверинце я слона одного задражнил...

М и т я *(Урусову)*. Фомину приходить или рано?

У р у с о в. Рано.

Певцы поют во всю мочь. Песня грохочет.
Гитары захлебываются, дрожмя дрожат.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыроватый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Слышатся грома раскаты...

Страшными, радостными, рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.

М и т я. И всё?

З а п е в а л а. Хватит.

М е н д е л ь *(вскочил с пола и затопал)*. Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!

М и т я *(Урусову)*. Фомину взойти или рано?

У р у с о в. Самое время.

Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя.

Ф о м и н. С приятным заседанием!

У р у с о в *(Менделю)*. Теперь, дорогой, оно у нас так будет — потехе время, делу час. *(Вытаскивает исписанный лист бумаги.)* Читать, что ли?

Ф о м и н. Если вам нежелательно, скажем, плясать, то можно читать.

У р у с о в. Сумму, что ли, читать?

Ф о м и н. Согласен на такое ваше предложение.

М е н д е л ь *(во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается)*. Я песни приказывал...

Ф о м и н. И петь будем и гулять будем, а придется помирать — помирать будем.

У р у с о в *(читает очень картаво)*. «...Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано...»

П я т и р у б е л ь. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь! Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира

угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь...

У р у с о в. «...А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...»

М е н д е л ь *(указывает пальцем на турка, безмятежно курившего кальян в углу)*. Вон человек сидит, обсуждает меня.

П я т и р у б е л ь. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь! *(Фомину.)* Ей-богу, сейчас человека убьет.

Ф о м и н. Авось не убьет.

Р я б ц о в. Дуришь, дурак! Гость этот — турок, святой человек.

П о т а п о в н а *(потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется)*. Папочкина дочка!

Ф о м и н. Вот, дорогой, тут и распишись.

П о т а п о в н а *(хлопает Фомина по груди)*. Здеся у него, у Васьки, деньги, здеся они!

М е н д е л ь. Расписаться, говоришь?.. *(Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним.)* И што я, дорогой человек, девок поимел на моем веку, и што я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, — цена этому, дорогой человек, двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай!

Т у р о к кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу.
Мендель бережно целует его в губы.

Ф о м и н *(Потаповне)*. Значит, Янкеля со мной вертеть?

П о т а п о в н а. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст!

М е н д е л ь *(возвращается, мотает головой)*. Скука какая!

М и т я. Вот те и скука — платить надо.

М е н д е л ь. Уйди!

М и т я. Врешь, уплатишь!

М е н д е л ь. Убью!

М и т я. Ответишь.

М е н д е л ь *(кладет голову на стол и плюет. Длинная его слюна тянется, как резина)*. Уйди, я спать буду…

М и т я. Не платишь? Ох, старички, убивать буду!

П я т и р у б е л ь. Погоди убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?

М и т я *(распалился)*. Я мальчик злой, я покусаю!

Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив голову на стол.

Ф о м и н *(Потаповне)*. Суешься поперedь батьки… Стучишь языком, как собака бегает… Всю музыку испортила!

П о т а п о в н а *(выжимает слезы из грязных мятых морщин)*. Василий Елисеевич, я дочку жалею.

Ф о м и н. Жалеть умеючи надо.

П о т а п о в н а. Жиды, как воши, обсели.

Ф о м и н. Жид умному не помеха.

П о т а п о в н а. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст.

Ф о м и н *(грозно, медленно)*. А не продаст, так богом Иисусом Христом, богом нашим вседержителем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду!

ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА

Мансарда Потаповны. С т а р у х а, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик.

Г о л о с с о с е д к и. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами.

П о т а п о в н а. Да приду к вам, проведаю...

Г о л о с с о с е д к и. А то в одном ряду на птичьей двенадцать лет торговали, и хвать — нет ее, Потаповны.

П о т а п о в н а. Да авось я не присужденная к курям к этим. Видно, не век мне маяться...

Г о л о с с о с е д к и. Видно, что не век.

П о т а п о в н а. У людей-то небось на Потаповну глаза разбегаются?

Г о л о с с о с е д к и. Каково разбегаются-то! Счастья-то каждому подай. Испеки да подай...

П о т а п о в н а *(смеется, тучное ее тело сотрясается)*. Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Г о л о с с о с е д к и. Девка-то, говорят, худая.

П о т а п о в н а. У кости, милая, мясо слаще.

Г о л о с с о с е д к и. Сыны, слышь, против вас копают…

П о т а п о в н а. Девка сынов перетянет.

Г о л о с с о с е д к и. И я говорю — перетянет.

П о т а п о в н а. Старик, небось, девку не бросает.

Г о л о с с о с е д к и. Сады, слышь, он вам покупает…

П о т а п о в н а. А еще чего люди говорят?

Г о л о с с о с е д к и. Да ничего не говорят, только гавкают. Кто их разберет?

П о т а п о в н а. Разберем. Я разберу… Про полотно-то чего толкуют?

Г о л о с с о с е д к и. Толкуют, старик вам двадцать аршин справил.

П о т а п о в н а. Пятьдесят!

Г о л о с с о с е д к и. Башмаков пару…

П о т а п о в н а. Три!

Г о л о с с о с е д к и. Очень смертно любят старики.

П о т а п о в н а. Видно, к курям-то мы не присужденные…

Г о л о с с о с е д к и. Видно, не присужденные. Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами.

П о т а п о в н а. Приду. Проведаю вас… Прощай, милая!

Г о л о с с о с е д к и. Прощай, милая!

Потаповна слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате, открывает шкаф. Взбирается на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комнату входит М е н д е л ь, одетый по-праздничному, и М а р у с я.

М а р у с я *(очень звонко)*. Птичка-то наша куда взгромоздилась! Сбегайте к Мойсейке, мама.

П о т а п о в н а *(слезая со стула)*. А чего купить?

М а р у с я. Кавуны купите, бутылку вина, копченой скумбрии полдесятка... *(Менделю.)* Дай ей рубль.

П о т а п о в н а. Не хватит рубля.

М а р у с я. Арапа не заправляйте! Хватит, еще сдачи будет.

П о т а п о в н а. Не хватит мне рубля.

М а р у с я. Хватит! Придете через час. *(Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ.)*

Г о л о с П о т а п о в н ы. Я за воротами посижу, надо будет — покличешь.

М а р у с я. Ладно. *(Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ.)* ...Пришли на кладбище, глядим — первый час. Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могилка хорошенькая — чудо!.. Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылки, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазами, ты его знать должен...

Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ, непонятно, что мычит.

Батюшка панихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему вторую... *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней моде, башмаки.)* Ксенька, та, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иваныч, тот мне все бутерброды мажет... Я Ксеньке в пику и говорю... Что вы, говорю, Сергей Иваныч, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимание не уделяете?.. Сказала, и проехало. Мадеру мы твою дочиста выпили... *(Маруся снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.)* Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая — чудо! Я тоже выпила — и Сергею Иванычу *(Маруся раскрывает постель)*: айда, Сергей Иваныч, на Ланжерон купаться! Он: айда! *(Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно поддается туго.)* А у Ксеньки-то спина, небось, полна прыщей, и ноги три года не мыла... Она на меня тут язык свой спустила *(Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем)*: ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты сё, на стариковы деньги позарилась, ну тебя отошьют от этих денег... *(Маруся сняла платье и прыгнула в постель.)* А я ей: знаешь что, Ксенька, — это я ей, — не дразни ты, Ксенька, моих собак... Сергей Иваныч слушает нас, помирает со смеху!.. *(Голой девической прекрасной рукой Маруся*

тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол.) Ну, иди сюда, скажи — Марусичка...

М е н д е л ь. Марусичка!

М а р у с я. Скажи — Марусичка, солнышко мое...

Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется.

(Ласково.) Ах ты, рыло!

ПЯТАЯ СЦЕНА

Синагога общества извозопромышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона к а н т о р Ц в и б а к в талесе и сапогах. П р и х о ж а н е, красномордые извозчики, оглушительно беседуют с богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми, привычными голосами, стихают, долго бормочут себе под нос и потом снова ревут, как разбуженные волы. В глубине синагоги, над фолиантом Талмуда склонились два древних е в р е я, два костистых горбатых гиганта с желтыми бородами, свороченными набок. А р ь е - Л е й б, шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье т о л с т я к с оттопыренными пушистыми щеками зажал между коленями м а л ь ч и к а лет десяти. Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Б е н я К р и к. Позади него сидит С е н ь к а Т о п у н. Они не подают вида, что знакомы друг с другом.

К а н т о р *(возглашает)*. Лху нранно ладонай норийо ицур ишейну!

Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы.

Арбоим шоно окут бдойр вооймар... *(Сдавленным голосом .)* Арье-Лейб, крысы!

А р ь е - Л е й б. Ширу ладонай шир ходош. Ой, пойте господу новую песню... *(Подходит к молящемуся еврею.)* Как стоит сено?

Е в р е й *(раскачивается)*. Поднялось.

А р ь е - Л е й б. На много?

Е в р е й. Пятьдесят две копейки.

А р ь е - Л е й б. Доживем, будет шестьдесят.

К а н т о р. Лифней адонай ки во мишпойт гоорец...* Арье-Лейб, крысы!

А р ь е - Л е й б. Довольно кричать, буян.

К а н т о р *(сдавленным голосом)*. Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

А р ь е - Л е й б *(безмятежно)*. Лифней адонай ки во, ки во... Ой, стою, ой, стою перед господом... Как стоит овес?

В т о р о й   е в р е й *(не прерывая молитвы)*. Рупь четыре, рупь четыре...

А р ь е - Л е й б. С ума сойти!

В т о р о й   е в р е й *(раскачивается с ожесточением)*. Будет рупь десять, будет рупь десять...

---

* Перед лицом господа бога — силы моей... (*евр*.)

Арье-Лейб. С ума сойти! Лифней адонай ки во, ки во...

Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Беня Крик и Сенька Топун.

Беня *(склонился над молитвенником)*. Ну?
Сенька *(за спиной Бени)*. Есть дело.
Беня. Какое дело?
Сенька. Оптовое дело.
Беня. Что можно взять?
Сенька. Сукно.
Беня. Много сукна?
Сенька. Много.
Беня. Какой городовой?
Сенька. Городового не будет.
Беня. Ночной сторож?
Сенька. Ночной сторож в доле.
Беня. Соседи?
Сенька. Соседи согласны спать.
Беня. Что ты хочешь с этого дела?
Сенька. Половину.
Беня. Мы не сделали дела.
Сенька. Докладываешь батькино наследство?
Беня. Докладываю батькино наследство.
Сенька. Что ты даешь?
Беня. Мы не сделали дела.

Грянул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные большие лица.

Толстяк с пушистыми щеками. Цвибак, это босяцкая выходка!

Кантор. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами. *(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

Арье-Лейб. Ай, босяк, ай, хам!

Кантор *(указывает револьвером на убитую крысу)*. Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей. Пусть люди скажут, что это не корова...

Арье-Лейб. Босяк, босяк, босяк!..

Кантор *(хладнокровно)*. Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

Мальчик разжал наконец плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал.

1-й еврей. Гоняешься целый день за копейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — на тебе!

Арье-Лейб *(визжит)*. Евреи, это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на десять рублей больше... Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!

С е н ь к а *(хлопает кулаком по молитвеннику)*. Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!

К а н т о р *(торжественно)*. Мизмойр лдовид![*]

Все молятся.

Б е н я. Ну?

С е н ь к а. Есть люди.

Б е н я. Какие люди?

С е н ь к а. Грузины.

Б е н я. Имеют оружие?

С е н ь к а. Имеют оружие.

Б е н я. Откуда они взялись?

С е н ь к а. Живут рядом с вашим покупателем.

Б е н я. С каким покупателем?

С е н ь к а. Который ваше дело покупает.

Б е н я. Какое дело?

С е н ь к а. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз.

Б е н я *(оборачивается)*. Сказился?

С е н ь к а. Сам говорил.

Б е н я. Кто говорил?

С е н ь к а. Мендель говорил, отец... Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать.

Гул молитвы. Евреи завывают очень замысловато.

---

[*] Песнь Давида! (*евр.*)

Б е н я. Сказился.

С е н ь к а. Все люди знают.

Б е н я. Божись!

С е н ь к а. Пусть мне счастья не видеть!

Б е н я. Матерью божись!

С е н ь к а. Пусть я мать живую не застану!

Б е н я. Еще божись, стерва!

С е н ь к а *(пренебрежительно)*. Дурак ты!

К а н т о р. Борух ато адонай...*

ШЕСТАЯ СЦЕНА

Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом, сидит Б е н я и чистит револьвер. Л е в к а прислонился к двери конюшни. А р ь е - Л е й б объясняет сокровенный смысл «Песни Песней» тому самому м а л ь ч и к у, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Н и к и ф о р без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.

Б е н я. Время идет. Дай времени дорогу!

Л е в к а. Зарезать ко всем свиньям!

Б е н я. Время идет. Посторонись, Левка! Дай времени дорогу!

---

* Благословен ты, господь бог... (*евр.*)

А р ь е - Л е й б. «Песня Песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ?

Н и к и ф о р *(указывает Арье-Лейбу на братьев)*. Вон выставились коло конюшни, как дубы.

А р ь е - Л е й б. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем... Кто искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю... Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору, Тору любит Израиль.

Н и к и ф о р. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Б е н я. Кричи больше.

Н и к и ф о р *(мечется по двору)*. Я свое знаю... У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду.

А р ь е - Л е й б. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор...

Н и к и ф о р. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

Б е н я *(разбирает револьвер, чистит)*. Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился.

Н и к и ф о р *(кричит, но в голосе его нет силы)*. Я хомутам вашим не присягал! У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах! Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет...

Б е н я. Кричи, кричи перед смертью.

Н и к и ф о р *(Арье-Лейбу)*. Старик, скажи, зачем они так делают?

Арье-Лейб *(поднимает на кучера выцветшие глаза)*. Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?

Никифор. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? *(Уходит.)*

Беня. Растревожился наш Никифор.

Арье-Лейб. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала? — учит нас Рашэ.

Мальчик. Рашэ учит нас — искала Тору.

Слышны громкие голоса.

Беня. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу!

Входят Мендель, Бобринец, Никифор, Пятирубель под хмельком.

Бобринец *(оглушительным голосом)*. Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так к кому же мне идти?

Мендель. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза.

Бобринец. Нет в Одессе извоза, кроме твоего... Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?..

М е н д е л ь *(не глядя на сыновей)*. Люди крутятся около моей конюшни.

Н и к и ф о р. Выставились, как дубы паршивые.

Б о б р и н е ц. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню… Ай, Мендель!

П я т и р у б е л ь. Ай, Мендель!

М е н д е л ь. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Н и к и ф о р. Хозяин, за ради бога!..

М е н д е л ь. Ну?

Н и к и ф о р. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои…

М е н д е л ь. Что сыны мои?

Н и к и ф о р. Сыны твои хочут лупцовать тебя.

Б е н я *(прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно)*. Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота…

Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.

М е н д е л ь (смотрит в землю). Люди, хозяева…

Б е н я. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

М е н д е л ь. Люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь *(он поднимает голову, и голос его крепнет)*, на мою кровь, которая заносит на меня руку…

Б е н я. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

М е н д е л ь. Ой, не возьмете!.. *(Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу.)*

Л е в к а. Ой, возьмем!..

Небо залито кровью заката. Старик и Левка катаются по земле, раздирают друг другу лица, откатываются за сарай.

Н и к и ф о р *(прислонился к стене)*. Ох, грех...

Б о б р и н е ц. Левка, отца?!

Б е н я *(отчаянным голосом)*. Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил!

Н и к и ф о р. Ох, грех...

П я т и р у б е л ь. Убью, кто разнимет! Чур, не разнимать!

Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.

Не уродился еще человек на земле против Менделя.

А р ь е - Л е й б. Иди со двора, Иван.

П я т и р у б е л ь. Я ста рублями отвечу...

А р ь е - Л е й б. Иди со двора, Иван.

Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.

Б о б р и н е ц. Левка, отца?!

М е н д е л ь. Не возьмешь! *(Он топчет сына.)*

П я т и р у б е л ь. Ста рублями любому отвечу...

Мендель побеждает. У Левки выбиты зубы, вырваны клочья волос.

М е н д е л ь. Не возьмешь!

Б е н я. Ой, возьмем! *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца.)*

Старик рухнул. Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката.

Н и к и ф о р. Теперь убили.

П я т и р у б е л ь *(склонился над неподвижным Менделем)*. Миш?..

Л е в к а *(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой)*. Он под низ живота меня бил, сука!

П я т и р у б е л ь. Миш?..

Б е н я *(оборачивается к толпе зевак)*. Что вы здесь забыли?

П я т и р у б е л ь. А я говорю — еще не вечер. Еще тыща верст до вечера.

А р ь е - Л е й б *(на коленях перед поверженным стариком)*. Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Л е в к а *(кривые ручьи слез и крови текут по его лицу)*. Он под низ живота меня бил, сука!

П я т и р у б е л ь *(отходит, пошатываясь)*. Двое — на одного.

А р ь е - Л е й б. Иди со двора, Иван.

П я т и р у б е л ь. Двое — на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву! *(Уходит, спотыкаясь.)*

Арье-Лейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Н е х а м а — одичавшая, грязно-серая. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.

Н е х а м а. Не молчи, Мендель.

Б о б р и н е ц *(густым голосом)*. Довольно строить штуки, старый шутник!

Н е х а м а. Кричи что-нибудь, Мендель!

Б о б р и н е ц. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он не торопясь выплевывает изо рта длинные ленты крови.

Б е н я *(загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня лет двадцати и взял его за грудь)*. Ну-ка, назад!

Молчание. Вечер. Синяя тьма, но над тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами.

СЕДЬМАЯ СЦЕНА

Каретник Криков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора.

В дверях за небольшим столом пишет Б е н я. На него наскакивает лысый нескладный мужик С е м е н, тут же шныряет м а д а м П о п я т н и к. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, М а й о р. К стенке приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков и скрещенными кнутами.

С е м е н. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Б е н я *(продолжает писать)*. Грубо говоришь, Семен.

С е м е н. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву!

Б е н я. Добрый человек, я на тебя плевать хочу!

С е м е н. Ты куда старика дел?

Б е н я. Старик больной.

С е м е н. Вон тута на стенке он писал, сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто. И платил. Двадцать годов ему возил, худого не видел.

Б е н я *(встает)*. Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что...

М а д а м П о п я т н и к *(с величайшим неодобрением разглядывает мужика)*. Человек, когда он дурак, — это очень паскудно.

Б е н я. ...потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек.

С е м е н *(струсил, но еще петушится)*. Мне штоб деньги были!

М а д а м П о п я т н и к. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете.

Б е н я. Никифор!

Входит Н и к и ф о р, он смотрит исподлобья, говорит нехотя.

Н и к и ф о р. Я Никифор.

Б е н я. Рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева.

Н и к и ф о р. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет.

Б е н я. Я буду уговариваться.

Н и к и ф о р. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Б е н я. У меня выкупать... Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сена пятьсот пудов...

С е м е н *(остолбенел)*. Пятьсот?! Двадцать годов возил...

М а д а м П о п я т н и к. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сена.

Б е н я. Овса — двести.

С е м е н. Я возить не отказываюсь.

Б е н я. Потеряй мой адрес, Семен.

Семен мнет шапку, вертит шеей, уходит, оборачивается, опять уходит.

Мадам Попятник. Один паскудный мужик и так разволновал вас... Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен! Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Мендель Крик заслужил у нас эти несчастные два рубля...

Майор *(мелодическим глухим голосом)*. Рубль девяносто пять.

Беня. Какие два рубля?

Мадам Попятник. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить!.. В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроение, он заказал военное... Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

Мадам Попятник. И потом танцы...

Майор. Двадцать один танец.

Мадам Попятник. Вышло рубль девяносто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане...

Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону.

Никифор. Потаповна пришла.

Беня. Зачем мне знать, что кто-то пришел?

Никифор. Грозится.

Беня. Зачем мне знать...

Припадая на ногу, ворочая чудовищным бедром, вламывается П о т а п о в н а. Старуха пьяна. Она валится на землю и устремляет на Беню мутные немигающие глаза.

П о т а п о в н а. Цари наши...

Б е н я. Что скажете, мадам Холоденко?

П о т а п о в н а. Цари наши...

Н и к и ф о р. Пошла дурить!

П о т а п о в н а *(подмигивает)*. Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат... Прыгают в голове шарики — д-ж-ж-ж.

Б е н я. В чем суть, мадам Холоденко?

П о т а п о в н а *(бьет по земле кулаком)*. Правильно, правильно! Нехай умный панует, а свинья в монопольку...

М а д а м П о п я т н и к. Интеллигентная дама!

П о т а п о в н а *(разбрасывает по земле медяки)*. Вот сорок копеек заработала... Встала, света не было, мужиков на Балтской дороге поджидала... *(Задирает голову к небу.)* Теперь сколько часов будет? Три будет?

Б е н я. В чем суть, мадам Холоденко?

П о т а п о в н а. Д-ж-ж-ж, пустил шарики...

Б е н я. Никифор!

Н и к и ф о р. Ну?

П о т а п о в н а *(подманивает Никифора толстым слабым пьяным пальцем)*. А девочка-то наша занеслась, Никиша!

М а д а м П о п я т н и к *(присела и зажглась)*. Интрига, ай, какая интрига!

Б е н я. Что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?

М а д а м П о п я т н и к *(приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры)*. Я иду... я иду... Дай бог свидеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую минуту!.. *(Она дергает мужа за руки, пятится, вертится, глаза стали у нее косые и светят вбок черным огнем.)*

Майор тащится за женой и шевелит пальцами. Наконец они исчезают.

П о т а п о в н а *(размазывает слезы по мятому дряблому лицу)*. Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, я ей каждую ночь грудь трогаю, а у ней уже налилось, в руке не помещается.

Б е н я *(лоск с него слетел. Он говорит быстро, оглядывается)*. Какой месяц?

П о т а п о в н а *(не мигая смотрит она на Беню с земли)*. Четвертый.

Б е н я. Врешь!

П о т а п о в н а. Ну, третий.

Б е н я. Чего тебе от нас надо?

П о т а п о в н а. Д-ж-ж, пустил шарики...

Б е н я. Чего тебе надо?

П о т а п о в н а *(подвязывает платок)*. Вычистка сто рублей стоит.

Б е н я. Двадцать пять!

П о т а п о в н а. Портовых наведу.

Б е н я. Портовых наведешь?.. Никифор!

Н и к и ф о р. Я Никифор.

Б е н я. Взойди к папаше и спроси его, приказывает он давать двадцать пять…

П о т а п о в н а. Сто!

Б е н я. …двадцать пять рублей на вычистку или не приказывает?

Н и к и ф о р. Не взойду я.

Б е н я. Не взойдешь?! *(Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.)*

Н и к и ф о р *(хватает Беню за руки)*. Парень, я бога не боюсь… Я бога видел и не испугался… Я убью и не испугаюсь…

Занавеска трепещет и раздвигается. Выходит М е н д е л ь. За спину у него закинуты сапоги. Лицо его сине и одутловато, как лицо мертвеца.

М е н д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в н а. Ай, страшно!

Н и к и ф о р. Хозяин!

К каретнику приближаются А р ь е - Л е й б и Л е в к а.

М е н д е л ь. Отоприте.

П о т а п о в н а *(лезет по полу)*. Ай, страшно!

Б е н я. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша.

М е н д е л ь. Ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое…

Н и к и ф о р *(падает на колени)*. Великодушно прошу вас, хозяин, не страмитесь передо мной, простым человеком!

М е н д е л ь. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? *(Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.)* Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою, и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои... А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много...

Б е н я. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша! *(Он приближается к отцу.)*

М е н д е л ь. Не бей меня, Бенчик.

Л е в к а. Не бей его.

Б е н я. Низкие люди!.. *(Пауза.)* Как могли вы... *(Пауза.)* Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

А р ь е - Л е й б. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Б е н я. Звери, о, звери!.. *(Он быстро уходит. Левка за ним.)*

А р ь е - Л е й б *(ведет Менделя к лежанке)*. Мы отдохнем, Мендель, мы заснем...

П о т а п о в н а *(поднялась с земли и заплакала)*. Убили сокола!..

А р ь е - Л е й б *(укладывает Менделя на лежанке за занавеской)*. Мы заснем, Мендель...

П о т а п о в н а *(валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика)*. Сыночек мой, любочка моя!

А р ь е - Л е й б *(перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издалека)*. В старые старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь, царь над Израилем, над войском Израиля и над мудрецами его...

П о т а п о в н а *(всхлипывает)*. Сыночек мой!

А р ь е - Л е й б. Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел Давид-царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву, и царь соединился с Вирсавией, женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико...

ВОСЬМАЯ СЦЕНА

Столовая в доме Криков. Вечер. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится м а д а м П о п я т н и к, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит М а й о р. На нем вздулась бумажная

манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много гостей. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму.

Левка *(орет кавалерийские сигналы)*.

Всадники, други, вперед!
Рысью вперед!
По временам коням
Освежайте рот.

Клаша *(хохочет)*. Ой, живот! Ой, выкину!..
Левка. Левый шенкель приложи и направо поверни!
Клаша. Ой, уморил!..

Проходят. Навстречу им Боярский в сюртуке и Двойра.

Боярский. Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное. С тремя тысячами мы ставим конфексион на Дерибасовской и венчаемся в добрый час.
Двойра. Но почему сразу все три тысячи?
Боярский. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это же не сентябрь. Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки... Что вы

имеете после сентября? Ничего. Сентяб, октяб, нояб, декаб... На ночь я не скажу, что это день, и на день не позволю себе сказать, что это ночь...

Проходят. Появляются Б е н я и Б о б р и н е ц.

Б е н я. У вас готово, мадам Попятник?

М а д а м П о п я т н и к. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол!

Б о б р и н е ц. Вырази мне твою мысль, Беня.

Б е н я. Моя мысль такая: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь голый и босой и замазанный, как ссыльнопоселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

Проходят Б о я р с к и й и Д в о й р а.

Б о я р с к и й. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Д в о й р а. И потом, я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский.

Б о я р с к и й. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу!..

Проходят. У стены, под голубой лампой, сидит степенный п р а с о л и п а р е н ь в тройке, с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек слетел.

П р а с о л. Татары — и те стариков почитают. Жизнь пройти — не поле перейти.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Кабы человек ловчился жить, а то... *(сплевывает шелуху)*, а то живет, как поживется. За что почитать-то?

П р а с о л. Что с дураком толковать...

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Бенчик сена одного тыщу пудов купил.

П р а с о л. Старик по сто покупал — хватало.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Старика они все равно зарежут.

П р а с о л. Это жиды-то? Это отца-то?

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. Зарежут до смерти.

П р а с о л. Толкуй с дураком...

Проходят Б е н я и Б о б р и н е ц.

Б о б р и н е ц. Что же ты хочешь, Беня?

Б е н я. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой... Ты понял меня, Бобринец?

Б о б р и н е ц. Я понял тебя, Бенчик.

У стены рядом с П я т и р у б е л е м сидят надувшиеся от величия богачи м у ж и ж е н а В а й н е р.

П я т и р у б е л ь *(тщетно ищет у них сочувствия)*. Городовикам ремни обрывал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу в руках держал... Вот какой старик был!

Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.

(Робко.) Они гундосые?

М а д а м В а й н е р *(злобно)*. Ну да!

Проходят Д в о й р а и Б о я р с к и й.

Б о я р с к и й. Сентяб, октяб, нояб, декаб.

Д в о й р а. И потом, я хочу ребенка, Боярский.

Б о я р с к и й. Вот видите, ребенок при конфексионе — это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

В величайшем возбуждении влетает м а д а м П о п я т н и к.

М а д а м П о п я т н и к. Бен Захарья приехал! Раввин... Бен Захарья...

Комната наполняется гостями. Среди них Д в о й р а, Л е в к а, Б е н я, К л а ш а З у б а р е в а, С е н ь к а Т о п у н; напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.

П а р е н ь с т о л с т ы м и н о г а м и. На деньги и раввин прибежал. Тут как тут.

А р ь е - Л е й б и Б о б р и н е ц вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Зхарьи.

Б е н З х а р ь я *(визгливо)*. Еще только рассвет чихает, еще бог на небе красной водой умывается...

Б о б р и н е ц *(хохочет, предвкушая замысловатый ответ)*. Почему красной, рабби?

Б е н З х а р ь я. ...еще я на спине лежу, как таракан...

Б о б р и н е ц. Почему на спине, рабби?

Б е н З х а р ь я. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы...

Бобринец шумно хохочет.

Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть...

Б е н я. Они дадут вам пить, они дадут вам есть, все, что вы захотите, рабби.

Б е н З х а р ь я. Все, что я захочу?.. И лошадей своих отдашь?

Б е н я. И лошадей моих отдам.

Б е н З х а р ь я. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в их колесницу и отвезите меня... куда?

Бобринец. Куда, рабби?

Бен Захарья. На второе еврейское кладбище, дуралей!

Бобринец *(шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезлую, розовую макушку)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Арье-Лейб *(представляет Беню)*. Это он и есть, рабби, сын Менделя — Бенцион.

Бен Захарья *(жует губами)*. Бенцион... сын Сиона... *(Молчит.)* Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью...

Левка *(оглушительным голосом)*. Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки!

Клаша *(качает головой, улыбается)*. Ох, здоровый!

Беня *(мечет на брата негодующий взгляд)*. Дорогие, присаживайтесь! Мосье Бобринец сядет рядом с рабби.

Бен Захарья *(ерзает в кресле)*. Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнанье? Пусть государственный банк *(тычет пальцем в Клашу)* сядет рядом со мной...

Бобринец *(предвкушая новую остроту)*. Почему государственный банк?

Бен Захарья. Она лучше банка. В нее хорошо положишь — она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое в нее положишь — она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой... Она лучше банка, она лучше банка...

Бобринец *(поднял кверху палец)*. Надо понимать, что он говорит.

Бен Захарья. А где же звезда наша во Израиле, где хозяин дома сего, где рабби Мендель Крик?

Л е в к а. Он сегодня больной.

Б е н я. Рабби, он здоров... Никифор!

В дверях показывается Н и к и ф о р в затрапезном своем армяке.

Пусть взойдет папаша со своей супругой.

Молчание.

Н и к и ф о р *(отчаянным голосом)*. Уважающие гости!..

Б е н я *(очень медленно)*. Пусть взойдет папаша.

А р ь е - Л е й б. Бенчик, у нас, евреев, отца не срамят перед людьми.

Л е в к а. Рабби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу.

Вайнер возмущенно лопочет, брызгается слюной.

Б е н я *(склоняется к мадам Вайнер)*. Что он говорит?

М а д а м В а й н е р. Он говорит — стыд и срам!

А р ь е - Л е й б. Евреи так не делают, Беня!

К л а ш а. Расти сынов...

Б е н я. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в синагоге биндюжников и кладбищенский кантор, не расскажешь ли ты мне, как делаются дела у людей?.. *(Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой, сопровождая каждое слово ударом кулака.)* Пусть взойдут папаша!

Никифор исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Беня посреди комнаты. Медленная кровь заливает его шею. Молчание. И только бессмысленное бормотанье Бен Зхарьи нарушает томительную тишину.

Бен Зхарья. Бог умывается на небе красной водой. *(Молчит, ерзает в кресле.)* Почему красной, почему не белой? Потому что красная веселее белой...

Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица обращаются в эту сторону. Показывается Мендель с иссеченным запудренным лицом. Он в новом костюме. С ним Нехама в наколке, в тяжелом бархатном платье.

Беня. Друзья, сидящие в моем доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах.

Вайнер восторженно лопочет.

Что он говорит?

М а д а м В а й н е р. Он говорит — ура!

Б е н я *(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!.. *(Подносит отцу и матери вино.)* Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово.

М е н д е л ь *(озирается и говорит очень тихо)*. Желаю доброго здоровья...

Б е н я. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

П р а с о л. Толкуют мне про жидов...

Б е н я. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Б е н З х а р ь я. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи... В пользу невест-бесприданниц надо пожертвовать!

Б о б р и н е ц *(заливается хохотом)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

М а д а м П о п я т н и к. Я даю туш.

Б е н я. Давайте!

Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к М е н д е л ю и Н е х а м е.

К л а ш а З у б а р е в а. Ваше здоровье, дедушка!

С е н ь к а Т о п у н. Вагон удовольствия, папаша, сто тысяч на мелкие расходы!

Б е н я *(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!

Б о б р и н е ц. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын!

Л е в к а *(через весь стол)*. Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли...

П р а с о л. Толкуют мне про жидов! Я жидов получше вашего знаю...

П я т и р у б е л ь *(лезет к Бене и порывается целовать его)*. Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!

Громкое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье-Лейба и опутывают его бороду. Он трясется и целует плечо Бени.

А р ь е - Л е й б. Пятьдесят лет, Бенчик! Пятьдесят лет вместе с твоим отцом... *(Кричит истерически.)* У тебя был хороший отец, Беня!

В а й н е р *(обрел дар речи)*. Выведите его!

М а д а м В а й н е р. Боже, какие штуки!

Б о я р с к и й. Арье-Лейб, вы ошиблись. Теперь надо смеяться.

В а й н е р. Выведите его!

А р ь е - Л е й б *(всхлипывает)*. У тебя был хороший отец, Беня...

Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье-Лейбу новый платок. Тот вытирает слезы. Плачет и смеется.

Б о б р и н е ц. Болван, вы не у себя на кладбище!

П я т и р у б е л ь. Свет наскрозь пройдете, такого Бенчика не сыщете. Я об заклад буду биться...

Б е н я. Дорогие, присаживайтесь!

Л е в к а. Жмите скамейки…

Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.

Б е н З х а р ь я. Евреи!

Б о б р и н е ц. Тихо чтоб было!

Б е н З х а р ь я. Старый дуралей Бен Зхарья хочет сказать слово...

Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его, и он замолкает.

День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Л е в к а. Выпьем рюмку водки!..

Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.

Беня Крик

Киноповесть

Часть первая

КОРОЛЬ

Досуги пристава Соковича

Комната Соковича. Под потолком у окна с геранью покачивается в клетке канарейка.

У рояля вяжет старушка в чепце. Спицы быстро ходят в ее руках. Видна часть рояля. Отлакированная крышка инструмента блестит.

Пристав играет на рояле с необыкновенным чувством — он шевелит губами, поднимает плечи, открывает рот.

Клавиатура. По клавишам бегают пальцы пристава, украшенные перстнями в форме черепов, копыт, ассирийских печатей.

В клетке заливается канарейка.

Сокович играет, раскачиваясь, и с ним вместе раскачиваются — комната, канарейка, спицы, старушка.

В глубине комнаты показывается еврей Маранц в затрапезном сюртуке. Маранц покашливает, скользит, шаркает ногами, упоенный пристав не слышит.

Пальцы пристава бурно рвут клавиши. Над ними склонилось унылое, скептическое лицо Маранца.

Пристав переходит к нежному piano, Маранц не выдерживает. В отчаянии обнимает он голову пристава и прижимает ее к груди.

Сокович вскакивает. Маранц шепчет ему на ухо или, вернее, куда-то пониже уха:

> *— Пусть мне не дожить повести дочку под венец — если... если не сегодня...*

Маранц отступает, вьется, сучит ободранными ногами, потирает руки, мотает головой. Пристав разглядывает его с величайшей серьезностью. Маранц:

> *— Король выдает сегодня замуж сестру... «Они» перепьются, и вы можете сделать на «них» дивную облаву...*

Сокович захлопывает крышку рояля. Он испытующе всматривается в гримасничающее, дергающееся лицо еврея.

На обочине тротуара, перед домом пристава, сидит молодая цыганка во многих трепаных юбках. Цыганка обвешана лентами, монетами, монисто. Она ест баранки и тянет вино из горлышка бутылки, рядом с ней прыгает на цепи мартышка. Вокруг обезьяны в полном неистовстве скачет детвора.

Дверь приставской квартиры открывается, на улицу проскользнул Маранц. Воровато оглядываясь, он быстро идет вдоль стены.

Цыганка схватила обезьяну, побежала за Маранцем, догнала его. Она умильно просит у него милостыню:

— *Подай, царевич... Подай, красавец...*

Маранц отплевывается, идет дальше. Цыганка проводила его долгим взглядом. Обезьянка, вскочившая на плечо женщины, тоже смотрит вслед Маранцу.

Улица на Молдаванке. Из-за угла показывается биндюг Менделя Крика. Старик пьян, он хлещет лошадей, клячи несутся бурным галопом, прохожие шарахаются в сторону.

Мендель Крик,
слывущий среди биндюжников грубияном

Мендель Крик размахивает кнутом. Раскорячив ноги, старик стоймя стоит в телеге, малиновый пот кипит на его лице. Он велик ростом, тучен, пьян, весел.

Биндюг несется во всю прыть. Пьяный старик орет прохожим — поберегись!.. Навстречу ему, виляя бедрами, идет поющая цыганка. Обезьяна деловито лущит орешки у нее на плече. Цыганка подает старику знак, едва заметный.

Вожжи в руках Менделя. Схваченные железной рукой, они с карьера останавливают лошадей.

Лицо Менделя, внезапно протрезвевшего, обращено к цыганке.

Цыганка проходит мимо Менделя. Она скосила глаз и поет:

— *Маранц, матери его сто чертей...*

Цыганка вильнула бедрами, она играет с обезьянкой и поет про себя:

— Маранц был у пристава...

Мендель пошевелил вожжами и поехал. Не в пример прежней езде лошади его идут шагом.

Изображение облупившейся вывески: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и Сыновья». На вывеске намалевано ожерелье из подков и английская леди в амазонке с хлыстом. Леди гарцует на битюге, битюг мечет в воздух передние ноги.

Под вывеской у невзрачного одноэтажного дома сидят на лавочке два парня и щелкают семечки. Они хранят важное молчание и смотрят вперед безо всякого выражения. Один из них — молодой перс с оливковым лицом и черными разросшимися бровями, другой — Савка Буцис. Одна рука у Буциса отрезана, обрубок ее зашит в болтающийся рукав, другой, целой рукой он с необыкновенной ловкостью и ухарством выгребает из кармана подсолнухи и издалека, не целясь, бросает их в рот. Промаха у него не бывает.

К дому подъезжает Мендель Крик. Парни — перс и Савка — в полном безмолвии, не поворачивая голов, отдают старику честь. Ворота перед Менделем раскрываются; человек, раскрывающий их, не виден.

Двор, где живут Крики, обширен, окаймлен приземистыми старинными строениями, загроможден голубятнями, телегами, распряженными лошадьми. В углу двора девки доят коров.

Три розовых, зернистых коровьих вымени, женские руки, перебирающие соски, и струи молока, брызгающие в подойник.

Одна из девок кончила доить. Она разгибает спину, потягивается, луч солнца зажигает рябое мясо развеселого ее лица. Девка зажмуривается. Во двор на разгоряченных жеребцах влетает Мендель. Старик прыгает с биндюга, бросает девке вожжи и, переваливаясь на толстых ногах, бежит к дому.

Девка ловко распрягает лошадей, она бьет по мордам играющих жеребцов.

«Его величество король...»

Двухспальная, вернее сказать — четырехспальная, кровать загромождает комнату невесты Двойры Крик. Гигантское это сооружение забросано несметным количеством расшитых подушечек. К кровати прислонился спиной Беня Крик. Виден подбритый его затылок.

Беня Крик играет на мандолине. Ноги его, обутые в лаковые щегольские штиблеты, положены на табуретку. Костюм Бени носит печать изысканного уголовного шика.

Широчайшая кровать — колыбель рода, побоища и любви. В комнату вваливается папаша Крик. Он стаскивает с себя сапоги; разматывая невообразимо грязные портянки, старик недоверчиво их оглядывает. Как грязно живут люди — приходит ему в голову. Мендель разминает взопревшие пальцы ног и, слегка робея в присутствии сына-«короля», бормочет:

— Маранц был у пристава сегодня...

Пальцы Бени, перебиравшего струны, цепенеют. Струна лопается и завивается вокруг ручки мандолины. Мандолина летит на кровать и врывается в подушки.

Затемнение

С плеча Савки Буциса свисает пустой рукав, заколотый внизу булавкой — рубиновой змейкой.

Улица на Молдаванке. Перс и Савка сидят на лавочке у входной двери в квартиру Маранца. Они поглощены излюбленным занятием — щелкают подсолнухи. К дому Маранца подъезжает экипаж. На козлах осанистый кучер с патриархальным задом и раскидистой бородой. Кучер отмечен необыкновенным сходством с цыганкой, появлявшейся в первых сценах.

Из экипажа выходит Беня, он звонит у парадной двери. Вырезанное в двери окошечко отодвигается, сквозь него просовывается голова Маранца — хранилище немногих волос, чернильных пятен и перьев из подушки. Ужасный испуг отражается на его лице. Беня с удручающей вежливостью снимает перед маклером шляпу.

Равнодушная морда кучера. Он перебирает от скуки монисто, которое раньше было на цыганке.

Маранц спотыкаясь выходит на улицу. Беня здоровается с ним, обнимает его плечи и дружески сообщает:

— Есть кое-чего заработать, Маранц...

Указательный и большой палец Бени трутся друг о дружку. Жест этот обозначает, что предстоит выгодное дело.

Маранц колеблется. Силясь разгадать причину внезапного посещения, он всматривается в непроницаемое Бенино лицо.

Указательный и большой пальцы Бени движутся все медленнее, все загадочней: — *Есть кое-чего заработать, Маранц...*

Маклер решился. Жена выносит ему из дома сюртук, шоколадный котелок, парусиновый зонтик. Из передней выглядывает куча детей. На измазанных их мордочках чистым, бойким блеском горят семитические глаза. Маранц и Беня садятся в экипаж. Жена Маранца кланяется «королю». Длинные груди ее раскачиваются, как белье, развешанное во дворе и колеблемое ветром. Кучер погнал лошадей.

Удаляющийся экипаж. Видна дородная успокоительная спина кучера, котелок Маранца, панама Бени. Экипаж проезжает мимо постового городового. Городовой отдает Бене честь.

Однорукий Савка подманивает к себе мальчика, сына Маранца. Карапуз, охваченный ужасом и восторгом неизвестности, движется по кривой, путаной линии.

Берег моря. Набегающая волна. Вверху — белые дачи с колоннадами. Экипаж едет по шоссе над самым берегом моря. Беня и Маранц беседуют по-приятельски. Котелок и панама дружелюбно покачиваются. Лошади идут крупной рысью. Местность становится все глуше.

Опасения Маранца сменились чувством умиления перед красотами моря и скал. Он развалился на кожаных подушках, он расстегнул ворот рубахи для того, чтобы загореть

немножко. Беня вынимает портсигар, предлагает Маранцу папиросу и говорит небрежно:

— Люди говорят, что ты капаешь на меня приставу, Маранц...

Дрожащие пальцы Маранца пристукивают папиросой по серебряной поверхности Бениного портсигара.

Экипаж въезжает в глухое укрытое место на берегу моря. Скалы, кустарник. Кучер останавливает лошадей, поворачивает к седокам бородатое лицо, перекидывает ноги внутрь экипажа.

Беня подносит Маранцу спичку. Еврей в ужасе закуривает. Он переводит глаза с Бени на кучера, перекинувшего ноги внутрь экипажа. Кучер медленно кладет ноги на плечо Маранцу и снимает с него котелок.

Перс играет с маленьким сыном Маранца в излюбленную детскую игру. Малыш кладет свои ладони на ладони перса и тотчас же их отдергивает. Перс якобы не успевает ударить, зато маленький Маранц колотит изо всех сил. Мальчик совершенно счастлив.

Берег моря. Волна взрывается под скалой. В воду падает котелок Маранца.

Экипаж едет вдоль берега. На Бене по-прежнему панама, но на Маранце не видно больше котелка. Голова его взъерошена и дергается. Кучер поднимает верх экипажа.

По широким, голубым, тающим волнам плывет котелок.

Вспененные, запрокинутые морды лошадей.

Игра между мальчиком и персом продолжается. Савка неутомимо грызет подсолнухи.

Экипаж с поднятым верхом проезжает мимо постового городового. Тот снова отдает честь.

Савка увидел вдали экипаж. Он потрепал мальчика по щеке, дал ему пятак и ласковым ударом колена по некоей части прогоняет его.

Из экипажа, остановившегося у дома Маранца, выходит Беня, он направляется к парадной двери.

Перс и Савка снимаются с лавочки и, обнявшись, уходят.

«Мадам» Маранц открывает Бене дверь.

— Люди говорят, мадам Маранц, что покойный ваш муж капал на меня...

В переплете двери искаженное лицо женщины.

Из экипажа медленно выползает труп Маранца.

Спины Савки и перса, лениво, вразвалку идущих по улице.

Труп Маранца, распростертый на земле.

На земле, у лавочки, горка шелухи от подсолнухов, нащелканных Савкой.

Часть вторая

Друзья «короля» едут на свадьбу Двойры Крик

Здание полицейского участка. Кирпичная трехэтажная стена. В третьем этаже тюремные окна, переделенные решетками. В окнах лица заключенных. Арестанты, охваченные необъяснимым восторгом, машут кому-то платками.

Улица на Молдаванке. Сбоку здание участка. Старая еврейка сидит на углу и ищет в волосах у внучки. Слышен шум.

Старуха поднимает голову и смотрит на приближающуюся процессию.

Налетчики в свадебных архаических каретах направляются к дому старого Крика. В первой карете Савка и перс. В стальных вытянутых их руках по гигантскому букету. Налетчики одеты под масть Бене Крику, но вместо панам на них крохотные котелки, сдвинутые набок. Кучер украшен бантом и больше похож на шафера, чем на кучера.

Вторая карета — черный, колыхающийся, громадный ящик. В карете развалился Левка Бык — один из ближайших сподвижников «короля». В руке у него букет, на кучере его бант.

У ворот участка кучка благожелательных городовых. С почтением и завистью следят они за течением пышной процессии.

Третья карета. В ней сидит одноглазый Фроим Грач (левый глаз его вытек, съежился, прикрыт), представляющий разительную противоположность остальным налетчикам. Он в парусиновой бурке, смазных сапогах. Рядом с Грачом, угрюмым и сонливым, — кокетничающее сморщенное личико шестидесятилетней Маньки, родоначальницы слободских бандитов. Она в кружевном платочке. За их экипажем бегут мальчишки и зеваки.

Фроим Грач и Манька, родоначальница слободских бандитов

Мимо участка медленно проезжает архиерейская карета Фроима и бабушки Маньки.

Арестанты неистово машут платками.

Старуха раскланивается с важностью императрицы, объезжающей войска.

В окне второго этажа сумрачный пристав Сокович.

Кабинет пристава. На стене портрет Николая II. У окна торчит спина Соковича. В широком кресле у стола сидит жирный, с мягким ворочающимся животом, помощник пристава Глечик. Помаргивая близорукими глазами, он сосет леденцы, которых у него целая коробка. Спина пристава являет признаки величайшего возбуждения. Она вздрагивает и ежится, как от укуса блохи.

Глечик вкладывает в рот груду леденцов. Они не сразу входят в отверстие его рта, заросшего опущенными усами. Пристав круто поворачивается, подходит к Глечику, тормошит его:

> *— Каюк Бенчику... Сегодня на свадьбе мы «их» возьмем...*

Безнадежное лицо Глечика. Моргая, он спрашивает:

> *— А зачем их брать?..*

Пристав машет рукой и выбегает из кабинета. Толстый Глечик поднимает раскачивающийся свой живот, он понуро плетется за Соковичем. В оттопыривающемся его кармане лежит кусок курицы, завернутый в промасленную бумагу. Грязная бечевка вываливается из кармана Глечика и волочится по полу.

Пристав бежит вниз по лестнице, за ним бредет Глечик.

Мирное житие во дворе участка. У стены — мордатый городовой стирает в лохани панталоны. В другом углу одесские обыватели — среди них мудрые, старые евреи и тучные

торговки — с большой готовностью прощаются за руку с канцеляристом. Рукопожатие длится долго, руки прощающихся ворочаются самым странным образом, и после каждого судорожного этого рукопожатия канцелярист прячет в карман полтинник. Мимо мудрых стариков и тучных торговок пробегает на рысях Сокович.

У внутренней стены участка выстроились шеренгой городовые. К ним подходит пристав. Городовые едят начальство глазами. Пристав обращается к городовым с речью:

— Братцы, там, где есть государь император, — там не может быть короля...

Ряд усатых раскормленных физиономий. По мере того, как... пристав продолжает энергическую свою речь... лица городовых увядают.

Группа голубей на голубятне. Кто-то спугнул их хворостиной.

Глечик сует в голубятню длинную хворостину, потом он отбрасывает ее. Ничто не может развлечь его. На оплывшем его лице борются страсти и сомнения.

Томление духа помощника пристава Глечика

Глечик вынимает из кармана записку и читает ее с грустью и тайным каким-то сладострастием.

Изображение пригласительного свадебного билета, увенчанного дворянской короной. В углу надпись чернилами: «Его Превосходительству мосье Глечику». — Печатный текст:

«Мендель Ушерович Крик с супругою и Тевья Хананьевич Шпильгаген с супругою просят Вас пожаловать на бракосо-

четание детей их Веры Михайловны Крик и Лазаря Тимофеевича Шпильгагена, имеющее быть во вторник 5 июня 1913 г. С почтением — родители».

Глечик с грустью читает билет. Тяжелый вздох колеблет унылую чащу его усов. Сомнения терзают его. Он отворачивается, закрывает глаза и начинает вертеть пальцами.

— *Идти или не идти?*

Вертящиеся пальцы Глечика. Один палец пришелся против другого. Значит — идти.

От полноты чувств Глечик бросает собаке свою курицу и убегает.

Глечик бежит по двору. Его чуть не сбивают с ног городовые, волокущие за шиворот арестованного. Арестованный этот Колька Паковский — тот самый юноша, который являлся уже перед нами в образе цыганки и кучера. Колька растерзан, пьян, ноги его подламываются, он волочится за городовыми и сосредоточенно, с пьяной нежностью лижет руку конвоира.

Пристав Сокович, подергивая бодрой ногой, продолжает свою речь:

— *Сегодняшняя облава должна дать нам в руки всю шайку Бени Крика…*

Потухшие лица городовых.

К приставу подтаскивают упирающегося Кольку.

— *Среди бела дня затеял поножовщину, ваше высокоблагородие…* —

докладывают конвоиры. Сокович бросает на Кольку рассеянный взгляд.

— *Посадить до утра. Завтра разберемся…*

Обмен рукопожатиями между обывателями и канцеляристом продолжается.

Конвоиры тащат Кольку по коридору участка. Он неутомимо целует сапоги своего стража.

Городовые открывают дверь камеры, вталкивают Кольку. Он летит кубарем.

Камера. Влетает Колька. Заключенные вскакивают как по команде, принимают гостя в объятия.

Колька покоится в объятиях окружающих арестантов. Он куражится, сползает на пол. Тюремные жители смотрят на него с жадностью, как на пришельца, принесшего благую весть. Над падающим Колькой смыкается их круг.

Снятые сверху лохматые головы, склонившиеся над Колькой. Круг их медленно расходится, Колька встал, и все же на полу распростерто человеческое тело.

На полу камеры лежит раздутый резиновый костюм, наполненный какой-то жидкостью и напоминающий по форме водолаза.

Затемнение

Клубы пара и дыма заволакивают экран. Из тумана возникают два беременных живота, обтянутые полосатыми юбками. Животы лежат рядышком на перекладине плиты.

На плите жарятся индюки, гуси, дымится всякая снедь. Беременные кухарки накладывают пищу на блюда. Над ними царит крошечная восьмидесятилетняя Рейзл. Иссохшее ее личико, обвиваемое клубами пара, полно величия и священного

бесстрастия. В руках у Рейзл большой нож: она распарывает им животы у больших морских рыб, мечущихся по столу.

Беременные кухарки с полосатыми животами передают блюда затрапезным еврейским официантам в нитяных перчатках и улетающих бумажных манишках. На лицах лакеев пылают бородавки и в ненадлежащих местах торчат пучки волос. Они схватывают блюда и убегают.

Издыхающие рыбы мечутся по столу и бьют сияющими хвостами.

Свадьба во дворе Крика. Через весь двор протянуты китайские фонарики. Лакеи пробегают мимо стола, за которым сидят нищие и калеки; нищие пьяны, они корчат рожи, стучат костылями, тащат официантов к себе, лакеи вырываются и бегут к главному столу, за которым неистовствует свита «короля». На первом месте новобрачные: сорокалетняя Двойра Крик, грудастая женщина с зобом и выкатившимися глазами, рядом с ней Лазарь Шпильгаген, тщедушное существо с истрепанным лицом и жидкой шевелюрой; тут же Беня, папаша Крик, Левка Бык, Савка, перс и их дамы — хохочущие молдаванские девки в пламенных шалях. Папаша Крик вопит:

— *Горько!..*

Пьяная невеста кладет обширную свою грудь на стол, она тянет вино из горлышка бутылки, чешет себе ноги под столом и лезет за пазуху к мужу, к кроткому Шпильгагену. Гости поддерживают клич папаши Крика:

— *Горько!..*

Налетчики, вскочив на стулья, льют в себя водку прямо из бутылок. Двойра наваливается на упирающегося

Шпильгагена, она подтаскивает его к себе, как грузчик подтаскивает по сходням куль муки, и терзает его длинным, мокрым, хищным поцелуем. Налетчики бьют посуду.

Поцелуй Двойры и Шпильгагена. Хромой нищий подползает к новобрачным и с тупым вниманием следит за поцелуем.

Городовой тащит по коридору участка ведро с кипятком.

Камера. Городовой вносит кипяток. Колька выхватывает у него из рук ведро и опрокидывает кипяток на голову городового. Обваренный городовой падает.

Колька выскакивает в коридор. Он бросает резиновый костюм на кучу параш, сваленных в углу, делает в нем надрез и зажигает керосин, льющийся из резинового костюма.

Помощник пристава Глечик застыл в нерешительности у ворот дома Криков. Живот его стянут новым мундиром, за ним волочится сабля, на голове большой старинный картуз с лаковым козырьком. Грудь Глечика украшена медалями о-ва спасания на водах, ведомства императрицы Марии, в память 300-летия дома Романовых и проч. Глечик, робея, приоткрывает ворота.

В нескольких шагах от главного свадебного стола — диковинный музыкант. Перед ним турецкий барабан, к ноге музыканта привязана веревка, он приводит ею в движение медные тарелки на барабане, к колену его прикреплена палка, которой он колотит по барабану, верхняя же часть его тела посвящена громадной трубе, похожей больше на свернувшегося удава, чем на трубу. Голубая палка солнца уткнулась в трубу. Музыкант отдыхает.

В глубине двора показался Глечик. К нему бежит Беня, они целуются три раза в обе щеки. Беня подает знак музыканту.

Музыкант вздрогнул и пришел в движение: он дует в трубу, дергает за веревку и палкой, прикрепленной к колену, бьет в барабан.

Беня ведет Глечика к гостям. Восторг присутствующих по поводу прибытия помощника пристава. Невеста в залитом вином подвенечном платье падает Глечику на грудь, папаша Крик колотит его изо всех сил по спине, шестидесятилетняя Манька целует его в лоб материнским поцелуем. Савка летит к Глечику с двумя бутылками водки в руках. Савкина баба пытается отобрать у него бутылку, он разбивает эту бутылку у нее на голове; налетая на Глечика, Савка всовывает бутылку ему в рот, как ребенку соску, тут же рядом хлопочет папаша Крик с огурцом в руке.

Музыкант неистовствует: каждая его конечность движется в направлении, противоположном направлению параллельной конечности.

Развеселые молдаванские бабы водят хоровод вокруг Глечика, которого накачивают водкой, огурцами, фаршированной рыбой, апельсинами. Бока баб цветут, в середине круга прыгают друг против друга старый Крик и бабушка Манька. Левка Бык, обезумев от восторга, стреляет в воздух. Он расталкивает круг, хватает старуху, вкладывает в ее руку револьвер. Манька сладко зажмуривается, нажимает курок...

Старушечья сморщенная рука, нажимающая курок.

Выстрел. Танец возобновляется с бешеной силой. Папаша Крик останавливается вдруг, он обнюхивает воздух и отводит Беню в сторону:

— Мне сдается, Беня, что здесь пахнет гарью...

Дирижируя танцами, Беня успокаивает отца:

> *— Папаша, не обращайте внимания на этих глупостей. Прошу вас, выпивайте и закусывайте...*

Музыкант в движении, нога его трясется, труба его колышет солнце.

Ухарский молдаванский танец со стрельбой, с битьем посуды, разбрасыванием денег под ноги танцующим.

Край неба, окрашенный пожаром.

Пожарная команда мчится по улицам Молдаванки.

Толпа перед зданием горящего участка. Городовые выбрасывают сундучки из окна, дождь бумаг летит по воздуху. На коне скачет обезумевший Сокович.

Внутри здания в дыму по наклонной доске со страшной быстротой скользят три широких зада.

Стена участка. Из разбитых окон прыгают арестованные. Внизу на земле их принимают в объятия жены.

Музыкант в движении.

Похищение мужей молдаванскими амазонками. Бабы растаскивают арестованных по домам.

Танец во дворе Крика.

Пожарные привинчивают громадный резиновый шланг к водопроводному крану на улице. Они угрожающе направляют шланг в сторону пожарища, открывают кран и... несколько капель воды с великой натугой изливаются на землю. Кран испорчен.

На фоне неба, охваченного заревом, скручиваются две черные балки и рушатся вниз.

У пристава Соковича обгорел ус. Он смотрит на пожарище. Мимо него проходит Беня Крик и растерзанный, залитый керосином и водой, Колька Паковский. Беня приподнимает шляпу.

— *Ай, ай, ай, какое несчастье... это же кошмар!..*

Беня скорбно покачивает головой. Сокович переводит на него мутные, непонимающие глаза.

З а т е м н е н и е

На дворе у Криков. Рассвет. Потухают фонарики. Упившиеся гости валяются на земле, как рассыпанный штабель дров.

Двухспальная кровать Двойры Крик. Новобрачная тащит к постели Шпильгагена, тот бледнеет, упирается, но сопротивление его слабеет, и он падает на кровать.

Музыкант, обвязанный веревками, палками, медными тарелками, спит, склонившись на барабан.

Часть третья

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Много воды и много крови утекло со дня свадьбы Двойры Крик

Лес знамен. На знаменах надписи: «Да здравствует Временное правительство!»

Грудастая дама в военной форме несет знамя с надписью: «Война до победного конца!»

По улицам марширует женский батальон времен Керенского. Он состоит из дам и девок. На лицах у дам печать решимости и вдохновения, у девок — заспанные лица.

Во весь экран — касса. Отделения ее набиты акциями, иностранной валютой, бриллиантами. Чьи-то руки вкладывают в кассу стопки золотых монет.

Рувим Тартаковский, владелец девятнадцати пекарен, определяет свое отношение к революции

Кабинет Тартаковского. Несгораемая касса во всю стену. Тартаковский — старик с серебряной бородой и могучими плечами — передает приказчику Мугинштейну деньги. Тот распределяет их по разным отделениям кассы.

Вздымающиеся революционные груди женского батальона текут по улице, набитой зеваками и визжащей детворой.

Тяжелая металлическая дверь кассы медленно захлопывается.

— А теперь, Мугинштейн, пойдем поздравить рабочих... —

говорит старик приказчику, и они выходят из кабинета.

Контора Тартаковского. Дореформенное учреждение, похожее на конторки в Лондонском Сити времен Диккенса. Все служащие без пиджаков, за ушами у них вставочки, а в ушах вата. Они очень толстые или очень худые. На толстых — фуфайки и замусоленные жилеты, на худых — манишки с бантами. Одни покрыты буйной растительностью, другие — безволосы; одни сидят на оборванных креслах, перекрытых подушками, другие взгромоздились на трехногие высокие

стулья, но у всех такое выражение лица, как будто они только что проглотили что-то очень горькое. Один только бухгалтер-англичанин соблюдает нерушимое спокойствие. Он грызет трубку, окутывающую его клубами жесточайшего дыма. В углу мальчик вертит пресс, копирует письма. У окошечка с надписью «Касса» восседает пышная дама, нос с многими горбинками делает ее похожей на гречанку. По комнате проходят Мугинштейн и Тартаковский. Служащие замирают. Мальчик, завидев хозяина, с ожесточением начинает вертеть пресс. Он надувается, багровеет.

Множество сопливых, рахитичных детей, сваленных в кучи. Полуголые, с кривыми ногами, они кишат, как черви, на земле.

Громадный четырехэтажный дом на Прохоровской улице, на Молдаванке, где скучилась невообразимая еврейская беднота. Зеленые зябкие старики в лохмотьях греются на солнце, часовой мастер в опорках раскинул во дворе свой столик, лысые еврейки в отрепьях стряпают пищу в разбитых ведрах: у ведер этих высажено дно, они заменяют плиты. Тартаковский и Мугинштейн проходят по двору. Оборванные старики поднимаются со своих мест, они устремили на хозяина гноящиеся глаза, залитые кровавой обильной влагой, и кланяются ему. К Тартаковскому подбегает растрепанная еврейка в мужских штиблетах.

— Что будет с клозетом, мосье Тартаковский? —
спрашивает она старика. Тартаковский пожимает плечами.

— А что должно быть с клозетом? —
отвечает он. Еврейка, ухватив хозяина за руку, тащит его к себе в квартиру.

Женщина ведет Тартаковского вверх по лестнице, заваленной отбросами нечистой нищеты, нищеты, которая ни на что больше не надеется. Взъерошенные, одичалые коты носятся по лестнице.

Женщина притащила Тартаковского в свою уборную. Сиденья в этой уборной нет, оно разбито, в цементном полу дыра, с потолка льется вонючая жидкость. Рядом с уборной, почти в самой уборной, кровать, набитая ватными лоскутьями. На кровати лежит горбатая девушка с аккуратно заплетенными косами. Тартаковский молодцевато хлопает женщину по плечу.

> *— Николку холера взяла, мадам Гриншпун, теперь всем будет хорошо, и вам будет хорошо...*

Горбатая девушка смотрит на Тартаковского. По стене возле ее кровати течет вода.

По земле ползают дети — голые, рахитичные, сопливые дети гетто.

Тартаковский и Мугинштейн идут по двору мимо шевелящейся кучи детей. Старик ищет места, куда бы ему поставить ногу. В глубине двора вход в подвал, в пекарню.

Вывеска над подвалом: «Пекарня и булочная № 16 Акционерного общества Рувим Тартаковский». Сбоку другая вывеска, поменьше: «Принимаются заказы на торты фантази».

Осклизлая лестница, ведущая в подвал, ступени ее разбиты. Мальчик-подручный стаскивает вниз пятипудовый мешок. Он ложится на ступени и поддерживает головой катящийся вниз мешок.

Голые спины двух месильщиков: отлакированная потом спина молодого парня Собкова и кривая, с разбитыми ло-

патками, спина старика. Лопатки эти движутся не в ту сторону, куда им надо. Нескончаемая равномерная игра мускулов на мокрых спинах месильщиков.

Мугинштейн и Тартаковский спускаются по лестнице в пекарню. Они скользят, оступаются, приказчик бережно поддерживает хозяина.

Спины месильщиков. Собков работает и читает газету «Известия Одесского Совета рабочих депутатов», прибитую к стене над месильным чаном. Газета освещена мятущимся пламенем керосиновой лампочки.

Пекарня — смрадный подвал. Скудный свет проникает сквозь запыленные оконца, пробитые у потолка. В углах чадят керосиновые лампы без стекол. Пекаря обнажены до пояса. У пылающей печи возится с дровами истопник — веселый кривоногий мужичонка Кочетков, из другой печи мастер вынимает испекшиеся хлебы, посаженные на лопаты с длинными ручками.

Мастер выдергивает из печи лопаты с готовыми хлебами.

Тартаковский и Мугинштейн входят в пекарню. К ним стягиваются рабочие, похожие больше на духов из подземного царства, чем на людей. Тартаковский разглагольствует:

— Поздравляю вас, господа, с любимой свободой...
Теперь и мы вздохнем грудью...

Тартаковский с жаром пожимает руки рабочих. Дожидаясь очереди, они вытянулись как хвост у лавки. Пекаря, непривычные к такому обращению, суетливо обтирают руки о передник, они протягивают ладони с жалкой неловкостью и сейчас же после рукопожатия счищают с хозяина налетевшую пыль.

Спина Собкова. Парень продолжает месить тесто и читает свою газету. Тартаковский хлопает его по бронзовому играющему плечу и протягивает руку. Собков долго вытаскивает руки из тугого теста, он поворачивает к хозяину лукавое лицо с вихрами и медленно, как деньги на блюде, подносит ему пятерню, убранную тестом. Кочетков — веселый мужичонка — кинулся к Собкову, он принимается счищать тесто с пальцев. Смеющийся Собков смотрит на хозяина в упор. Тартаковский понял, он круто повернулся и отошел. Кочетков подмигивает месильщику.

Змейки из теста колышутся на пятерне Собкова — бесформенной, чудовищно увеличенной.

З а т е м н е н и е

Кафе Фанкони. Толчея. Деловые дамы с большими ридикюлями, биржевые зайцы с тростями, одесская толпа. На помосте, где обыкновенно помещается оркестр, разбитной молодой человек потрясает кандалами. За его спиной сидит унылая личность с несимметричным лицом, с большими ножницами в руках. Ножницы приспособлены для раскусывания железа.

— Граждане свободной России! Покупайте на счастье наследие проклятого режима в пользу геройских инвалидов. Пятьдесят рублей, — кто больше?

У противоположной стены на бархатном диванчике сидят рядом три инвалида, три обстриженных дремлющих болванчика. Они обвешаны медалями и георгиевскими крестами.

Декольтированная девица в большой шляпе с свисающими полями ходит с вазочкой между столиками и собирает деньги «на революцию». «Декольте» девицы съехало набок, башмаки ее истоптаны; от восторга, от весны, от деятельности длинный нос ее покрылся мелкими жемчугами пота. За одним из столиков сидит Тартаковский, окруженный стаей подобострастных маклеров. Стол его завален образцами товаров — зернами пшеницы, обрывками кожи, каракулевыми шкурками. Он кладет барышне в вазу двугривенный.

Аукционист на трибуне потрясает кандалами.

Декольтированная девица вьется между столиками. У окна развалился Беня Крик, он старательно пишет что-то на бумажной салфетке. Рядом с ним пьяный Савка, поедающий одну за другой трубочки с кремом. Барышня приблизилась к Бене. Король с шиком бросает в вазочку золотую монету. Аукционист поспешно снимается со своего места, он преподносит Бене одно звено из кандалов. Следом за аукционистом ковыляют инвалиды, они с полной безжизненностью благодарят Беню. Пьяный Савка уставился на это зрелище. Он поднимается на подламывающихся ногах и заглядывает барышне за кофточку в декольте.

Декольте и сумрачное, внимательное лицо Савки над ним.

Мимо столика Бени проходит Собков, принарядившийся ради воскресенья. Беня приглашает пекаря садиться.

— Вот ты и дождался революции, Собков...

Собков усмехается и показывает глазами на посетителей кафе.

— Революция будет, когда монету у них заберем...

Беня чистит перо полой Савкинового пиджака, мимика его лица чрезвычайно выразительна.

— Насчет монеты ты прав, Собков... —

говорит он и снова принимается за писание. Савка заснул. Собков разглядывает посетителей кафе.

У столика Тартаковского. Маклер вываливает из кармана груду золотых крестиков и ладанок.

— Мосье Тартаковский, партию икон за половину даром...

Тартаковский нехотя рассматривает товар, взвешивает крестики на ладони.

Беня сворачивает записку, подзывает официанта, просит передать записку Тартаковскому.

Товар Тартаковскому не подходит. Он отодвигает от себя «партию икон». Лакей подает ему записку.

Письмо Бени, написанное каракулями на салфетке с цветами:

— Мосье Тартаковский, я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской, 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это неслыханно и вся Одесса будет от вас говорить.

С почтением Беня Король.

Тартаковский с возмущением комкает письмо, он делает Бене негодующие знаки, яростно дергает себя за ворот — вот, мол, сдирай последнюю рубаху — и немедленно принимается за писание ответа.

Официант подает инвалидам три бокала с гренадином. В бокалы воткнуты соломки. Безрукие болванчики потягивают гренадин через соломки.

Официант передает Бене ответ Тартаковского. Послание Тартаковского, написанное тоже на салфетке:

> *— Беня, если бы ты был идиот, то я написал бы тебе как идиоту, но я тебя за такого не знаю и, упаси боже, тебя за такого знать, денег у меня нет, а есть язвы, болячки, хлопоты, бессонница. Брось этих глупостей, Беня.*
>
> *Твой друг Рувим Тартаковский.*

Беня прячет письмо Тартаковского в карман, расплачивается, будит Савку. Тот просыпается и, страшно выпучив глаза, хватает Беню за горло. Савке почудилось со сна, что к нему ночью нагрянула полиция. Очухавшись, он мгновенно стихает. Беня, Савка и Собков направляются к выходу. Тартаковский все еще дергает себя за ворот — сдирай, мол, последнюю рубаху... Король разводит руками — дескать, что я могу здесь поделать?..

Екатерининская, угол Дерибасовской. Прелестный весенний день. Одесская фланирующая толпа. Беня подзывает лихача — по-одесски штейгера — и, указывая на пьяного Савку, говорит извозчику:

> *— Покатай его по воздуху, Ваня...*

Савка развалился в экипаже со всей пренебрежительностью, со всем шиком, на какой он способен. Лошадь пошла рысью.

Группа цветочниц на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц. Игривые бабы с цветами на фоне витрин лучшего

магазина в Одессе — магазина Вагнера. В окнах магазина выставлены заграничные товары — щегольские чемоданы, фарфор, безделушки, духи в коробочках, обитых голубым атласом. Среди цветочниц оборванная девочка лет пятнадцати. Король подходит к девочке, покупает у нее фиалки и незаметно для Собкова сует в ее букеты записочки. Девочка с необыкновенным напряжением смотрит на Беню.

Беня и Собков сворачивают к Николаевскому бульвару.

Вокруг них кипит одесская толпа. В отдалении на черных, худых голых ногах плетется девочка-цветочница. Завороженная, она не сводит с Бени глаз.

Николаевский бульвар. Беня и Собков подходят к решетке у Воронцовского дворца. За решеткой кусты нераспустившейся сирени.

— Скажи, Собков, кроме монеты, чего еще надо большевикам? —

спрашивает Беня пекаря. Тот вынимает из кармана книжку Ленина, но Беня отводит рукой книгу. Беня медленно разжимает губы:

— Не надо книги, объясни душой, своди меня к твоим ребятам, Собков, где они у вас?

Собков простирает руку и указывает на доки, на Пересыпь, на фабрики.

— Вот они! —

говорит пекарь.

Панорама Пересыпи, судостроительных заводов, дымящихся пароходов. Рабочие производят погрузку. Они обволакиваются дымом, идущим из пароходной трубы.

З а т е м н е н и е

Порт. У эстакады группа биндюгов. К мордам лошадей подвешены торбы с овсом. Полуденное солнце. Под одним из биндюгов спит на земле, на нагретых камнях, Фроим Грач. Из-за угла показывается девочка с цветами.

Девочка пробирается к биндюгу Грача. Она щекочет его букетом. Грач просыпается с таким видом, как будто он и не спал. Девочка сует Фроиму записку и убегает.

Записка:

— Грач, есть кое-чего говорить с тобой.

Беня.

Грач вскочил на биндюг, он пускает лошадей вскачь.

З а т е м н е н и е

Персидская чайная — чай-ханэ — на привозной площади. Грузчики и торговцы скотом пьют чай. За прилавком перс, появлявшийся уже в первой части. Цветочница, задевая одной ногой другую, входит в чайную. Перс наливает ей стакан крепкого чаю, девочка просовывает ему записку:

— Абдулла, есть кое-чего говорить с тобой.

Беня.

Перс прячет записку. Лицо его исказилось. Он хватает стаканы с недопитым чаем, выливает их, вопит, суетится, выталкивает клиентов, те смотрят на него с величайшим изумлением. Старик в баках вступает с персом в драку, но,

убоявшись страшного лица чайханщика, отступает. Одна только девочка спокойно допивает чай.

Перс заглушает самовар, льет в трубу воду.

Затемнение

Резник Левка Бык, в халате, с окровавленным ножом, стоит на помосте. Внизу столпились еврейки. Они подают резнику (шойхету) куриц и уток для резки.

Левка перерезывает горло курицы.

Старая Рейзл подает шойхету петуха. Петух машет крыльями. Левка заносит нож. В это мгновение в резницу проскальзывает девочка-цветочница. В руках у нее букет цветов, она робко ступает по цементному полу, залитому кровью.

Нож дрожит в руке шойхета, глаза его расширяются. Он застыл, петух бьется в его руках.

Затемнение

Часть четвертая

Контора Тартаковского. За главным столом управляющий Мугинштейн. Окутываясь дымом, работает у своей конторки англичанин. Служащий подносит Мугинштейну бумаги для подписи. Мугинштейн подписывает с роскошным росчерком. Форма одного письма ему не нравится, он

бросает его на пол и плюет в сторону служащего, принесшего письмо. Тот, нимало не смутившись, тоже плюет. В это время с улицы в раскрытые окна вскакивают четыре человека в масках, с револьверами в руках.

На четырех подоконниках стоят, выпрямившись во весь рост, налетчики в масках.

— *Руки вверх!*

Ассортимент поднятых рук.

Фроим Грач, перс, Левка Бык и Колька Паковский занимают входы. На них смехотворные маски из цветного ситца. Всех можно узнать, особенно Грача, у которого маска каждый раз сползает.

Входит Беня. Он направляется к Мугинштейну.

— *Кто здесь будет за хозяина?*

Трепещущий Мугинштейн:

— *Я... я здесь буду за хозяина.*

Беня берет руки Мугинштейна, опускает их, дружелюбно здоровается с приказчиком, подводит его к кассе.

— *Отчини кассу с божьей помощью.*

Потрясенный Мугинштейн отрицательно качает головой. Беня вытаскивает из кармана револьвер и приказывает Мугинштейну:

— *Открой рот...*

Медленно раскрывающийся рот Мугинштейна, видны его зубы, растущие вкось.

Беня всовывает револьвер в рот Мугинштейна и медленно, не спуская с приказчика глаз, переводит предохранитель на «огонь». Слюна течет из раскрытого рта, руки Мугинштейна

тянутся к штанам. Он вытаскивает связку ключей из потайного места, из мешочка, пришитого к кальсонам.

Ассортимент поднятых рук.

Массивные двери кассы расходятся. Богатство Тартаковского предстало перед взорами зрителей. К кассе подплывает искаженное лицо перса, под черными сводами бровей горят его расширенные глаза.

Беня вытирает полой приказчикова пиджака дуло револьвера, забрызганное слюной. Он прячет револьвер, садится в кресло, закидывает ногу на ногу, раскрывает кожаный саквояж. Для начала Мугинштейн передает ему бриллиантовую дамскую брошку. Беня подходит к кассирше, воздевшей толстые руки, прикалывает к ее груди брошку.

Мощная грудь кассирши ходит ходуном.

Дама растеряна. Она переводит глаза с Бени на брошку. Руки ее подняты. На подмышках у нее большие круглые пятна от пота. Грач подходит к женщине, обнюхивает ее и морщится. Маска сползла у него на подбородок. Беня возвращается на свое место.

Передача ценностей началась. Мугинштейн передает Бене деньги, акции, бриллианты. Беня складывает добычу в саквояж. Они работают не спеша.

Общий вид конторы. Левка Бык препирается со стариком служащим, который кричит, что он не может больше держать руки поднятыми.

— Разбойник, у меня грыжа... —

вопит старик. Левка очень внимательно щупает живот старика и разрешает ему опустить руки.

Старик подбежал к кассирше и рассматривает ее брошку.

— Дивный двухкаратник... —

говорит он и причмокивает губами.

Передача ценностей продолжается. Она протекает без затруднений, руки Мугинштейна и Бени движутся равномерно.

Левка Бык прогуливается по конторе. Англичанин, страдающий от невозможности покурить, делает ему умоляющие знаки, указывает глазами на трубку. Левка вдвигает трубку в желтые зубы англичанина и зажигает спичку.

Движение рук Мугинштейна и Бени.

Трубка англичанина никак не раскуривается — это происходит оттого, что руки его подняты и бухгалтер не может примять табак. Левка зажигает одну спичку за другой. Вдруг зажженная спичка застывает у него в пальцах.

В окно вскочил пьяный Савка. Он орет, размахивает револьвером.

Левкина спичка догорела до конца. Она обжигает ему пальцы.

Пьяный Савка стреляет, Мугинштейн свалился. Беня, охваченный ужасом и яростью, кричит:

— Тикать с конторы...

Король схватил Савку за лацкан, он встряхивает его, трясет все сильнее.

— Клянусь счастьем матери, Савелий, ты ляжешь рядом с ним...

Налетчики убегают. На полу корчится раненый Мугинштейн. Старик с грыжей ползет к нему под столами.

Агонизирующий Мугинштейн и затем...

Обложка книги: «Гигиена брака».

Кудрявая девица с лицом веснушчатым, незначительным и столь внимательным, что со стороны оно может показаться мрачным, — склонилась над книгой «Гигиена брака».

Милиция присяжного поверенного Керенского

Канцелярия милицейского участка. За столами девицы и чахлые студенты еврейского типа. Среди студентов осунувшийся Лазарь Шпильгаген. У телефона кудрявая барышня, увлеченная вопросами гигиены брака. Она долго не обращает внимания на надрывающийся телефонный звонок (телефон старой системы с наружным звонком) и, наконец, лениво снимает трубку.

— Шпильгаген, доложите начальнику, что на Тартаковского налет... —

говорит она соседу, вешает трубку на рычажок и снова погружается в чтение.

Шпильгаген вяло бредет к начальнику. Шнурки его башмаков распущены, он поправляет их по дороге.

Начальник участка,
присяжный поверенный Цысин

Кабинет начальника участка. Цысин, брюнет с изможденной и благородной внешностью, неудержимо ораторствует перед тремя инвалидами, теми самыми, в чью пользу продавали кандалы у Фанкони. Инвалиды затоплены красноречием Цысина. Входит Шпильгаген. Начальник

сначала не слушает его, потом приходит в ужасное волнение.

Размахивая руками, Цысин летит по коридору.

Старик с грыжей льет из медного чайника воду на кассиршу, упавшую в обморок. Она прикрывает рукой брошку.

Со двора участка медленно выползает танк. Из амбразуры танка выглядывает вдохновенное лицо Цысина.

Пекари, во главе с Собковым, бегут к конторе Тартаковского.

Тысячная толпа во дворе Тартаковского — женщины, ползущие по земле дети, зеваки, ораторы. С томительной медленностью вползает танк. Из танка выскакивает Цысин. Собков обращается к нему:

— Дайте мне несколько боевых ребят, и мы возьмем Короля...

Цысин машет рукой, убегает, за ним устремляется толпа. Один только часовой мастер в опорках остается на своем месте. Он с скучливым видом поднимает к небу глаз, вооруженный лупой; солнце пламенным лучом упирается в лупу.

Комната в доме Криков. На стене в одной раме портреты Льва Толстого и генерала Скобелева. Старушка Рейзл подает суп Фроиму и Бене. Грач макает в суп большие куски хлеба, он уплетает свою порцию с аппетитом. Беня отодвигает тарелку. Рейзл подкладывает ему пупки и яички, но Беня от всего отказывается, ему не до пупков. В комнату врывается Собков.

— Не надо нам уголовных... —

кричит пекарь и стреляет в Беню. Промах. Грач кидается на Собкова, подминает его под себя, душит. Беня оттаскивает Фроима.

— Отпусти его, Фроим, — черт разберет этих большевиков, чего им надо...

Грач встает, полузадушенный Собков валяется на полу. Рейзл приносит второе, не удостаивая Собкова взглядом, она переступает через распростертое его тело и раскладывает жаркое по тарелкам. Беня барабанит по столу пальцами.

З а т е м н е н и е

**Через два дня
состоялись похороны Мугинштейна.
Одесса таких похорон не видала, а мир не увидит**

Кантор в торжественном облачении. За ним следуют мальчики в черных плащах и высоких бархатных шапках — синагогальные певчие.

Пышная колесница, три пары лошадей, лошади с плюмажами, мортусы в цилиндрах.

Толпа провожающих гроб. В первом ряду Тартаковский и еще один почтенный купец поддерживают старенькую тетю Песю, мать убитого.

Толпа — присяжные поверенные, члены общества приказчиков-евреев и дамы с серьгами.

Красный автомобиль Бени Крика мчится по улицам Одессы.

Тартаковский и сослуживцы покойного, в числе их — старик с грыжей и англичанин, несут гроб по кладбищенской аллее.

К кладбищенским воротам подкатывает автомобиль Бени Крика. Из него выскакивают Беня, Колька Паковский, Левка Бык и перс. В руках у Бени громадный венок.

Тартаковский и еще двое несут гроб. Их нагоняет Беня с соратниками. Налетчики отстраняют Тартаковского, старика с грыжей, англичанина и подводят стальные плечи под гроб. Невыразимое смятение пробегает по толпе. Тартаковский исчезает. Налетчики выступают медленно, скорбно, с горящими глазами.

Во весь экран гроб, покачивающийся на плечах налетчиков.

У кладбищенских ворот. Кучер Тартаковского отлучился по нужде. Широкая его спина маячит у закругления кладбищенской стены. Из-за ограды выбегает Тартаковский; он вскакивает в экипаж и сам погоняет лошадей.

Кантор молится над могилой. Беня поддерживает тетю Песю. Кантор берет горсть земли, чтобы бросить ее на гроб, но рука его застывает. К нему направляются два парня, несущие покойника Савку Буциса. Беня — кантору:

— Попрошу оказать последний долг неизвестному, но уже покойному Савелию Буцису.

Кантор, дрожа и примериваясь, куда ему бежать, переходит к гробу Савки. Налетчики окружили труп. Проверяя кантора — не плутует ли он, не сокращает ли панихиду, они внимательно слушают молитву. Толпа тает, люди, отойдя шагов на десять от могил, обращаются в бегство.

Тартаковский нахлестывает лошадей. Кучер бежит за экипажем.

Кладбищенская аллея. Памятники — молящиеся ангелы, пирамиды, мраморные щиты Давида. Бегство смятенной толпы.

У гроба Савки заикается кантор, разливается в три ручья тетя Песя и молятся по заветам отцов налетчики.

У кладбищенских ворот толпа сметает все преграды: экипажи, трамвай, даже грузовые площадки берутся приступом.

Обессиленный кучер Тартаковского, отчаявшись догнать экипаж, раскрывает полы ваточного армяка и садится на землю, чтобы передохнуть.

Поток дрожек и телег. Люди стоят на телегах, их качает, как на корабле во время бури.

Две разряженные дамы на телеге из-под угля.

Красный автомобиль врезывается в толпу бегущих и исчезает.

З а т е м н е н и е

Голые спины Собкова и его длинного соседа. Движение мускулов на спинах.

В пекарне. Кочетков подбрасывает дрова в пылающую печь, мастер вынимает готовые хлебы. Входит Беня. Он отзывает Собкова в сторону.

Кладовая. На полках остывают хлебы, длинные ряды хлебов. Входят Собков и Беня.

— Своди меня к твоим ребятам, Собков, и, клянусь счастьем матери, я брошу налеты...

Собков поглаживает корку дымящегося хлеба.

— Наливаешь, парень... —

вскидывает он глаза на Беню и тотчас отводит их. Король подходит к нему вплотную и кладет маленькую руку в перстнях на голое грязное плечо пекаря.

— Клянусь счастьем матери, Собков... —

повторяет он с силой.

Длинные ряды хлебов остывают на полках, хлебный дух зеленой волной ходит по кладовой, солнечный луч раздирает туман. За изгородью отлакированных хлебов — лица Бени и Собкова, склонившиеся друг к другу.

Часть пятая

КОНЕЦ КОРОЛЯ

На черном фоне извивается телеграфная лента. Телеграфная лента ползет из аппарата:

Лето от рождества Христова тысяча девятьсот девятнадцатое.

Телеграфист принимает в аппаратной комнате депешу по прямому проводу. Военком Собков склонился над ползущей лентой. На столике рядом с аппаратом лежит буханка черного хлеба, изрезанного жилами соломы, и мокнут в миске с водой пайковые селедки. Телеграфист в шерстяной шапке, какую зимой носят лыжники и конькобежцы, рваное его пальто стянуто на животе широким монашеским

ремнем, за плечами у него котомка с провизией: он, видимо, собрался уходить.

Буханка хлеба, мокнущие селедки. Пальцы телеграфиста ковыряются в буханке.

Собков читает ленту, ползущую на пулемет, поставленный рядом с аппаратным столиком. Он так же, как и телеграфист, залезает пальцами в самую сердцевину буханки и выковыривает оттуда мякоть. Телеграфная лента:

> *Военкому Собкову тчк Ввиду ожидающегося нажима неприятеля выведите Одессы и обезоружьте под любым предлогом...*

Пулемет, обмотанный телеграфной лентой. В уголку, поодаль, Кочетков чинит худой свой башмак. Не снимая его с ноги, Кочетков проволокой связывает отвалившуюся подошву.

Продолжение телеграммы:

> *...Обезоружьте под любым предлогом части Бени Крика тчк*

Башмак Кочеткова — у ранта во всю длину подошвы правильно закрученные, откусанные узлы проволоки.

Собков сунул в карман ленту, он оторвал от буханки кусок и жует его на ходу. Военком и Кочетков выходят из аппаратной.

На черном фоне извивается ослепительная телеграфная лента. Конец ее...

Вползает в открытый, без капота, автомобильный мотор.

Во дворе телеграфной станции. Кладбище грузовиков и походных кухонь. Одна походная кухня действует. Кашевар-красноармеец стряпает щи. Он топит котел своей кухни деревянными колесами, отбитыми от других походных ку-

хонь; их во дворе неисчислимое множество. Тут же бьется над ободранным, разболтанным автомобилем шофер Собкова. На моторе нет капота, шофер старается наладить машину, но толку от его усилий мало.

Мотор автомобиля — перевязанный проволокой и ремнями, латаный, дымящийся, мотор девятнадцатого года.

Во двор спускаются Собков и Кочетков. Они садятся в автомобиль.

— В казармы, живее... —

говорит Собков шоферу, тот вертит ручку, но завести мотор невозможно. Шофер растирает струи пота по багровому лицу, он с ненавистью следит за потугами мотора, перебирает какие-то клапаны и вдруг изо всей силы плюет в самое сердце мотора. Кашевар и Собков приходят ему на помощь, они тоже вертят ручку, но впустую. Кочеткову удается наконец завести машину. Шофер вскакивает на сиденье, дает газ, гигантское облако дыма вылетает из машины, с кряхтением она трогается.

Автомобиль выезжает из ворот. Шофер судорожно работает у руля. Облако дыма все разрастается, оно заволакивает экран, из желтого тумана возникают с необыкновенной резкостью: — замусоленные игральные карты, раскинутые веером. Их держит жилистая рука. Один палец на этой руке сломан, искривлен. Луч солнца пронизывает карты.

N-ский «революционный» полк готовится к решительным битвам

Казармы «революционного» полка Бени Крика. На веревках, протянутых во всю длину казармы, развешано сохнущее

солдатское белье. На белье казенные клейма. Под веревками, где особенно густо нанизаны кальсоны с клеймами, идет азартная игра в карты, игра блатных. Партнеры — лупоглазый перс и папаша Крик, нацепивший на себя крохотный картуз с красноармейской звездой. Вокруг стола — толпа мазунов-налетчиков, знакомых нам по свадьбе Двойры Крик. Перс, убежденный в том, что победить его козырей невозможно, сдает карты с торжеством, со страстью. На лице папаши Крика написано кроткое уныние. Он долго размышляет, морщится, закрывает один глаз и наконец «убивает» первую карту перса.

Залитые солнцем карты в руке старого Крика.

Старик с грустью «убивает» вторую карту перса. К нему придвигается голая спина Кольки Паковского.

Рядом с Менделем на высоком стуле сидит обнаженный до пояса Колька Паковский. Старый китаец производит над ним операцию татуировки. Он наколол уже на спине Кольки у правой лопатки мышь и теперь загибает за плечо длинный и гибкий мышиный хвост.

Мендель бьет одну за другой все карты партнера. Лицо перса омрачилось. Он платит проигрыш новыми часами из вороненой стали. На столе возле него гора нераспакованных ящиков с новыми, только что из магазина, часами.

Казарма, забитая сохнущим бельем. В дальнем углу у окна Левка Бык в кожаном переднике, измазанном кровью, рассекает недавно зарезанного вола. Он и в казарме занимается прямым своим делом. Его окружили «красноармейцы», ждущие порции. За окном виднеются головы торговок, вы-

строившихся в очередь: они тоже ждут раздачи. Левка наделяет красноармейцев кровоточащим мясом, изредка он накалывает на нож чудовищные куски мяса и, не оборачиваясь, швыряет их за окно, как укротитель швыряет конину в клетку с тиграми.

Игра продолжается. Настал черед перса торжествовать. Дергаясь, хохоча, дрожа от возбуждения, он бьет карты старика и требует выигрыш. Папаша Крик платит новенькими кредитками, которые он вытаскивает из пачки, перевязанной как в банке. Две кредитки оказываются без оборота — одна сторона напечатана, на другой ничего нет. Старик подзывает одного из мазунов, отдает ему негодные кредитки.

— Скажи Юсиму, что он у меня умоется юшкой за такую работу... Пусть допечатает...

Мазун прячет кредитки и уходит. В дверях он сталкивается с Тартаковским и пропускает его в казарму. На Тартаковском сломанный солдатский картуз; лицо его носит следы удивительного маскарада — усы сбриты, а борода оставлена, как у голландского шкипера.

Тартаковский пробирается на цыпочках вдоль стены. В руках у него бархатный мешочек с неизвестным содержимым. Старик перекрасился и одет соответственно духу времени — на нем рваный сюртук, на ногах опорки, только живот величествен по-прежнему. Следом за ним скользят еще два почтенных еврея. На одном из них кепи велосипедиста, сюртук и краги, на другом кепи поменьше и куртка с брандебурами.

Командир N-ского «революционного» полка

Двор в здании красноармейских казарм. На одной из внутренних дверей вывеска — «Пехотный имени французской (тут от руки мелом дописано — и германской) революции полк». Беня в фантастической форме верхом на лошади. Фроим Грач стоит посредине двора и щелкает кучерским кнутом. Беня мчится карьером и описывает по двору правильные круги, как в манеже.

Низкая дверь. Три живота с трудом протискиваются сквозь узкую щель.

Скачка продолжается. Тартаковский и трепещущие его спутники проникают во двор. Они кланяются Бене, неутомимо описывающему круги. Командир N-ского «революционного» полка дает лошади шпоры, взвивает плеть, подскакивает к толстякам, те приседают. Тартаковский протягивает Бене бархатный мешочек с неизвестным содержимым.

Вышитая цветами надпись на бархатном мешочке: «От революционных кустарей города Одессы».

Беня разворачивает дары. В бархатном мешочке оказывается свиток Торы, пергамент намотан на лакированные резные палки. Беня передает Тору Фроиму Грачу. Тогда Тартаковский подступает ближе, он гладит дрожащей рукой морду лошади и начинает речь:

— Революционные кустари просят вас…

Бесстрастное лицо Бени, руки его, величественно сложенные на луке седла. Подальше — Фроим, разматывающий свиток. Тартаковский продолжает:

— ...просят вас защищать революционную Одессу в самой революционной Одессе и...

Фроим разматывает Тору и вынимает из нее одну за другой царские сторублевки.

Беня скосил угол глаза в сторону Фроима. Тартаковский продолжает:

— ...в самой революционной Одессе и не выступать на какой-то там фронт...

Гром распахнувшихся ворот, столб дыма, влетевший во двор — прервали речь революционного кустаря. Вслед за струей дыма тройка пожарных лошадей вкатывает во двор испортившийся по дороге автомобиль Собкова. На одной из лошадей восседает красноармеец в войлочных туфлях на босу ногу. Военком и Кочетков прыгают на землю, бегут к казарме. Шофер подходит к дымящемуся мотору, долго в него всматривается, поднимает к небу затуманенные глаза и задумчиво, несколько раз подряд, плюет в магнето.

Собков и Кочетков пробегают рысью калитку, сквозь которую с таким трудом проходили животы революционных кустарей.

Голос Тартаковского опустился до шепота, он все веселее и любовнее треплет морду лошади, два других делегата поглаживают ее бока. Беня наклонился к ним ближе; в другом углу Фроим скатывает пергамент.

Игра в казарме ведется с неослабевающей страстью. У противоположной стены, недалеко от Левки, расшвыривающего мясо, мылит себе щеку парень с грубым лицом, подстриженными усиками и забинтованными ногами. Тут же на

койке, спиной к зрителям, спит коротковатая пухлая женщина в модных башмаках до колен. В казарму вбегают Собков и Кочетков. Военком вскакивает на трибуну, поставленную под перекрещенными знаменами.

— *Товарищи!*

Новоявленные «товарищи» лениво стягиваются к военкому. Левка обтирает о передник нож и идет к трибуне. Сюда же собираются мазуны: парень с намыленной щекой, китаец, Колька Паковский, обнаженный до пояса, и другие. Только перс и папаша Крик не встают с места, не прерывают игры — они по-прежнему обмениваются новыми часами и новыми кредитками.

— *Товарищи!* —

повторяет Собков. «Товарищи» устремили на него тусклые взоры. Они видны со спины, все как по команде чешут одной босой ногой другую.

— *Рабочая власть, простив прежние ваши преступления, требует честного служения пролетариату…* —

говорит Собков. Парень с намыленной щекой стоит к нему в профиль, лицо его уныло, большие пальцы играют. Левка Бык натирает нож до блеска. Военком продолжает:

— *Доверяя вам, Исполком решил образовать из вашего полка заградительные продовольственные отряды…*

Собков прерывает речь для того, чтобы проследить, какое впечатление сделало на налетчиков неожиданное его заявление. Налетчики аплодируют. Веселая эта работа — аплодисменты — нравится им, они хлопают все горячее.

Распаленный военком лезет в карман за платком, рука его уходит все глубже, все дальше, не встречая никаких препятствий. Карман вырезан.

Превосходно вырезанный карман Собкова.

Военком застыл с раскрытым ртом. Ребята расползаются по своим местам; парень с грубым лицом, подстриженными усиками и забинтованными ногами мылит вторую щеку, дама его шевелится, просыпается, поворачивается к Собкову мятым лицом с кудряшками. Сбитый с толку военком переводит глаза с налетчиков на зевающую женщину, спустившую с койки жирные ножки в модных башмаках.

По казарме бежит мазун, вернувшийся с допечатанными деньгами. Он отдает их папаше Крику.

Собков, опомнившись, вытаскивает револьвер. Колька Паковский, растянувшийся в кресле, поворачивает голову вполоборота и снова отводит ее. Китаец все возится над его плечом, он расцветил красками мышиный хвост, обвившийся змеей вокруг Колькиного соска; Кочетков схватил военкома за руку.

Пальцы военкома, схваченные Кочетковым, слабеют, выпускают револьвер.

Часть шестая

Соблазненный «продовольственными» перспективами полк Бени Крика решил выступить из Одессы

Пустынная улица в Одессе. Лавки заколочены досками, болтами, крюками. К двери нищенской лавчонки прибито

изображение греческого короля, под ним надпись: «Здесь торгует иностранный подданный Меер Гринберг». Одинокая собака сидит посредине мостовой. Порванные телеграфные провода лежат у ее ног. Они склонились перед собакой, как знамена перед военачальником. Тучный хромой человек быстро уходит вдоль улицы, он тяжело налегает на ногу, выгнутую колесом. Далеко в пролете вымершей улицы в красной пыли солнца видна уходящая его спина.

Из-за угла выезжает на кровной лошади Беня Крик. Множество ленточек вплетено в гриву его коня. Рядом с ним едут Собков на лохматой сибирской лошаденке и одноглазый Фроим Грач в галифе. Остальной костюм Фроима — парусиновая бурка, смазные сапоги и кнут — остался без изменений. Тут же шагает Кочетков. Отваливающиеся его подошвы разевают унылые пасти. За всадниками следуют музыканты, восседающие на мулах. Мулы эти остались от времен оккупации Одессы цветными войсками. Мулы прядают длинными ушами; седел, стремян на них нет, они перекрыты семейными коврами. Впереди оркестра движется свадебный музыкант, поднявший к небесам сияющую свою трубу, о которой было уже сказано, что она походит больше на удава, чем на музыкальный инструмент.

В далекой перспективе, в запылившемся огне заката, спина уходящего хромца. Он подошел к посудной лавке, единственной незаколоченной лавке, и повернул к зрителю красное, вспотевшее доброе лицо.

Вслед за оркестром выступает орда Бени Крика. Бывшие налетчики в касках, они обмотаны пулеметными лентами,

штаны носят навыпуск; одни идут босиком, на других разношенная, правда дырявая, но лакированная обувь. В толпе Бениных сподвижников — детские коляски, провожающие жены, матери, невесты. Все это визжит и путает ряды. За Колькой Паковским, не поспевая, семенит мать, маленькая старушка, она несет его ружье и ранец. Левка Бык толкает коляску годовалого своего сына. Рядом с ним жена — задорливая молдаванская баба, завороченная в пурпурную шаль. Левка Бык и его семейство выходят из рядов, он с тоской окидывает взглядом длинный ряд заколоченных лавок.

Показалась «артиллерия» — тачанки с пулеметами. Следом за «артиллерией» движется биндюг, на котором сооружено что-то вроде балагана. На биндюге надпись громадными буквами: «Труппа Политпросвета при N-ском имени французской революции пехотном полку». В глубине балагана — матрос с лентами и выпуклой грудью играет на ободранном пианино. Лилипуты — мужчина и женщина, одетые в бальные платья, — протягивают к публике кружки с надписью: «На украшение казармы».

В единственной незаколоченной лавке. Товары — фаянсовые унитазы, канализационные трубы, сиденья для ватерклозетов. Длинный мальчик, с зелеными веснушками и тонкой шеей, поливает пол из медного чайника. Он описывает на полу затейливые фигуры, рисует водой человечков и буквы. Хозяин лавки, хромой немец, вытирает полотенцем беспомощное широкое лицо. Он устал от быстрой ходьбы. На раскаленных отваливающихся его щеках кипит обильный пот, пот доброго толстого человека. Обтерев лицо, он лезет с полотенцем

за пазуху, в это мгновенье дверь открывается и в лавку вламывается Левка Бык в сопровождении своего семейства.

Чайник дрогнул в руках мальчика. Изящные петли прервались, вода льется на пол безо всякого порядка.

Ряд фаянсовых сверкающих унитазов. Над ними склонилась испытующая рожа Левки. Он видит, что взять нечего, он колеблется, уходит, возвращается, захватывает с горя унитаз, особенно пышно расписанный розовыми цветами, швыряет его в коляску сына и уходит. Немец застыл с полотенцем за пазухой.

На углу Дерибасовской и Екатерининской. Кафе Фанкони заколочено, цветочниц нет на углу. Босая девочка в мешке, та самая девочка, которая разносила записки Бени, — прижалась к пустой витрине магазина Вагнера. Первый ряд колонн — Беня, Фроим и Собков — поравнялись с нею. Торопясь и дрожа, она вытаскивает из-за пазухи розу, завернутую в газетную бумагу; путаясь между лошадьми, оборвыш бежит к Бене и протягивает ему розу.

Порт. Причальная линия так называемой арбузной гавани заставлена дубками. Закат золотит грязные паруса, воду, усеянную корками, и груды арбузов, мириады арбузов. Суденышки набиты ими до краев.

Выгрузка арбузов из дубка. Хозяин судна, грек, бросает арбуз грузчику, стоящему на берегу, тот передает арбуз другому грузчику, и так по всей линии до вагона. Расстояние между грузчиками — два-три шага.

Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки.

Несколько Бениных ребят наблюдают с каменными лицами погрузку арбузов. В рядах их происходит едва уловимое движение. С непостижимой быстротой бросают они в море грузчиков и образуют свою цепь от дубков до вагона. После мгновенной заминки выгрузка арбузов продолжается с прежней точностью.

Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки.

Грузчики, бывалые ребята, барахтаются в воде. Греки — хозяева дубков — наставляют паруса, готовятся к бегству. Вечер. В порту зажигаются огни.

Полк Бени Крика грузится в теплушки. Будущие «продовольственники» натаскали в вагоны груды мешков.

У дверей классного вагона, первого от паровоза, дежурит Кочетков. Беня и Фроим входят в вагон. Кочетков запирает за ними дверь на ключ. Фроим услышал визг ключа в замке, он обернулся, прыгнул, уставился на скуластого простоватого Кочеткова, постучал в стекло:

— *Пусти до ветру, Кочетков...*

Кочетков приставил винтовку к ноге:

— *Какой там ветер на войне?..*

Фроим внимательно осмотрел Кочеткова и скрылся в глубине вагона.

Дубки, круто скосив паруса, уходят в море. Мокрые грузчики карабкаются на берег. Вечер.

На перроне зажгли газовые фонари. Левка Бык тащит к вагону кучу мешков. Его встречает Собков и спрашивает:

— *Зачем столько мешков, Левка?*

Левка, согнувшийся под своей ношей, смотрит с удивлением на недогадливого военкома.

— Для того, чтобы бороться с мешочниками, нужны мешки… —

отвечает он и бежит дальше. За ним с корзиной в руках поспешает старая Манька — патриарх слободских бандитов.

Беня стоит в окне вагона. К нему подбегает запыхавшаяся Манька. Она вынимает из корзины четверть спирту и мандолину и подает их командиру. Паровоз дает свисток.

Ребята Бени Крика катят по путям вагон с арбузами; они прицепляют его к своему поезду.

Полк погрузился. Красноармейцы из регулярных частей закрывают двери теплушек. Медленно, неотвратимо движутся двери на железных роликах. Пасти теплушек закрылись все сразу. Красноармейцы вскочили на тормозные площадки.

Паровоз дает последний свисток и трогается. Красноармейцы, спрятанные за пакгаузами, прыгают на тормоза, лезут на крыши вагонов.

Дальние паруса в ночном море. Изрезанная луна в обвалах туч.

Поезд набирает скорость.

Уходящая Одесса — витая линия огней в порту, мигающий глаз маяка, отблески луны на черной воде, колыхающиеся тела шаланд и дыры парусов, пропускающие звезды.

В салон-вагоне. Ободранное просторное купе хранит следы недавнего великолепия. В углу, ввинченная в пол, золоченая ванна с орлами. На столе целый поросенок и четверть спирта. Собков разливает в разбитые черепки водку. На пиршестве

присутствуют лилипуты, одетые в бальные туалеты. Незаметно ни вилок, ни ножей. Фроим разрывает поросенка руками.

В передней. Домовитый Кочетков устраивается у закрытой двери купе. Он поставил винтовку между ног, разостлал на столике грязный платок, высыпал табак и гильзы, обстругал палочку для набивки папирос.

Собков, Беня, Фроим и лилипуты чокаются посудинами разнообразнейшей формы и размеров — у черепков отбиты края, донышки перевязаны проволокой. Все выпили, кроме Собкова, вылившего свою водку за воротник. Беня и Фроим заметили его маневр, они переглянулись, подложили револьверы под карту-двухверстку, брошенную на стол.

Кочетков набивает папиросы, руки его движутся неторопливо. Он складывает папиросы аккуратными стопками.

Фроим разливает водку. Не спуская глаз друг с друга, компания чокается. Под картой-двухверсткой топорщатся револьверы. Одни только лилипуты пьют весело, с жадностью.

Мчащийся поезд. Ночь. По крышам, у сцеплений, у тормозов мелькают ползущие силуэты красноармейцев. Последний вагон отрывается от поезда и катится назад. Искра бежит по рельсам вслед за оторвавшимся вагоном.

В купе. «Комсостав» пьет. На этот раз Беня и Фроим вылили свою водку, но сделали они это искуснее, чем Собков, ни для кого не заметно.

Кочетков в передней набивает папиросы.

В купе все притворяются пьяными. Собков целуется слюнявым размягченным поцелуем с Беней и Фроимом. Лилипуты, действительно пьяные, порываются танцевать. Фроим

поднимает их на вытянутых руках и, выкидывая ноги в больших сапогах, отплясывает неведомый, сумрачный, старательный танец.

Второй вагон отрывается от состава и бежит обратно в ночь. Искра, подпрыгивая на рельсах, летит за ним.

Низко опустив голову, не меняя выражения лица, Беня играет на мандолине. Развалившись в кресле, Собков, вдребезги якобы пьяный, хлопает в ладоши. Фроим пляшет с лилипутами. Маленькая женщина обвила короткими ручонками кирпичную шею Фроима и целует его в губы.

Под столом течет струйка вылитой водки.

Кочетков набивает папиросы.

Пьяные лилипуты свалились. Они обнялись и заснули.

Беня швырнул мандолину в сторону, он разливает водку. Фроим, Собков и он сплели руки для того, чтобы выпить на брудершафт.

На брудершафт

Все трое подносят черепки к губам. В это мгновение поезд остановился. От резкого толчка расплескалась водка, руки пивших на брудершафт медленно расплетаются. Собков подбегает к окну и открывает штору. Ночь залита пламенем гигантского костра. Багровые лучи ложатся на лица Бени и Фроима.

Поезд остановился в поле. В поезде остался только паровоз и салон-вагон, остальной состав отцеплен. Вагон Бени увешан вооруженными красноармейцами — они на крыше, на подножках, у тормозов, у окон. Костер пылает в пятидеся-

ти шагах от полотна железной дороги. Два чабана варят мирную похлебку в закопченном котелке. Из созревших хлебов выползают красноармейцы — кудлатые, низкорослые, босые мужики — и с ружьями наперевес бегут к вагону. Пламя костра вытягивается на дулах их ружей.

Собков отошел от окна, он бросил в золоченую ванну стакан с водкой.

— Не серчай, Беня… —

сказал он и выскользнул из вагона. Беня переводит глаза с Фроима на ванну, с ванны на спящих в углу обнявшихся лилипутов. Фроим складывает из топорных иссеченных своих пальцев фигу и подносит ее к лицу «короля».

Кочетков, стоя на подножке вагона, раздает папиросы кудлатым мужикам. Они вперебивку суют руки в его шапку.

Беня показался у окна.

Толкающиеся руки мужиков в шапке Кочеткова.

Беня обводит взглядом красноармейцев, облепивших вагон, дула ружей, устремленные на него, босого мужика, усевшегося на крюке, где сцепление, и Собкова, застывшего перед окном с телефонным аппаратом в руках.

В купе. Фроим с бешеной поспешностью разбивает пол вагона. Он рассчитывает ускользнуть через дыру в полу. К нему подкрадывается Кочетков и стреляет в голову одноглазого биндюжника. Фроим повернул к Кочеткову залитое кровью, притихшее, укоризненное лицо.

Собков не сводит глаз с открытого окна. В руках его аппарат полевого телефона. Беня медленно опускает штору.

Лилипуты, разбуженные выстрелом, вскочили. Кочетков подносит палец к губам. «Т-с-с», делает он, подходит к Бене, берет его за руку.

— *Жили — не ссорились...* —

говорит Кочетков и поворачивает Беню вокруг своей руки. В дверях вагона показались красноармейцы с ружьями на изготовку.

Подбритый затылок Бени. На нем появляется пятно, рваная рана, кровь, брызгающая во все стороны.

З а т е м н е н и е

В кабинете председателя Одесского Исполкома. Под мертвой пышной электрической люстрой горит керосиновая лампа. Председатель, сонный человек в папахе, в белой рубахе навыпуск и с обмотанной шеей, наклонился над диаграммой: «Кривая выработки кожевенных фабрик за первую половину 1919 года». Инженер из ВСНХ дает ему объяснения. Звонит телефон, председатель снимает трубку.

В поле у костра. Лежащий на земле Собков говорит по телефону. Рядом с ним прикрытые рогожей трупы Бени и Фроима Грача. Босые их ноги высовываются из-под рогожи.

Председатель, выслушав донесение, положил трубку. Он поднимает на инженера сонные глаза.

— *Продолжайте, товарищ...*

Две головы — одна в спутанной папахе, другая расчесанная — склоняются над диаграммой.

Блуждающие звезды

В конце лета 1925 г. 1-я Госкино-фабрика заказала мне, по предложению Еврейского Камерного театра, сценарий на тему романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды». Постановка должна была быть осуществлена во время заграничной поездки театра.

Я согласился на сделанное мне предложение и испытал в связи с этим множество трудностей. Единственно чувство ответственности перед дирекцией Госкино-фабрики помогло мне преодолеть неприятные ощущения, непрестанно возникавшие во время работы над чужим и неблагодарным материалом. Роман Шолом-Алейхема оказался произведением, насквозь пропитанным мещанскими мотивами и не таящим в себе к тому же никаких намеков на кинематографическое зрелище. Потребовалось два месяца для того, чтобы забыть прочитанный оригинал. В течение следующих трех месяцев мне пришлось много раз менять заданную схему и разработку ее; заграничная «натура», ставившаяся прежде как обязательное условие, стала потом обузой, от которой нельзя было освободиться; режиссеры менялись и, следовательно, менялись требования, предъявляемые к сценарию. Требования эти я считал для себя в известной мере обязательными, потому что работа предпринималась и подгонялась для определенных режиссеров и актеров.

Замечания эти я предпосылаю сценарию для того, чтобы отвести от себя упреки в части, касающейся выбора темы и разработки некоторых предложенных мне положений.

И. Бабель

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

1. Угол двухспальной кровати. Ночь. Широкая спина местечкового богача Ратковича. Старик спит. Голая чья-то рука трепеща лезет под подушки. Раткович ворочается, во сне придавливает руку вора, старик снова движется, рука высвобождается, выхватывает связку ключей из-под подушки, исчезает.
2. Хорошо убранная (по-местечковому) комната в доме Ратковича. Летняя ночь. Лунный луч лежит на начищенном полу. Медленно раскрывается дверь. В комнату на цыпочках входит Левушка Раткович, 18-летний сын богача. Пламя свечи колеблется. Юноша ставит свечку на стол, подходит к несгораемому шкафу.
3. Семейное традиционное трюмо у одной из стен. В зеркале отражается дрожащий лунный луч и пламень свечи.
4. Левушка вскрывает несгораемый шкаф. Он вынимает оттуда шелковый талес отца и кисет. Из кисета падает на пол пачка кредиток. Стук. Юноша отбрасывает талес, в испуге он опускается на пол и всем телом прикрывает деньги.
5. В лунном луче на полу шелковый с черной каймой талес отца Ратковича.
6. Юноша все еще на полу. В зеркале отражается искаженное, полное страха лицо. За спиной его качнулось белое видение. Оно раскачивается все сильнее, приближается к преступнику, хочет схватить его. Левушка растягивается на полу во всю длину тела.

7. Кот, спавший в глубоком кресле, просыпается, потягивается, прыгает на висячую лампу, закутанную в белую простыню. Лампа раскачивается. Это и есть привидение, испугавшее Левушку.
8. Отражение движущейся лампы в зеркале.
9. Кот прыгает с лампы на спину простертого на полу юноши. Лева вздрагивает, поднимает голову, опоминается. Он прячет деньги и опрометью бросается вон из комнаты.
10. Свеча догорела до конца. Она тухнет. Кот сворачивается в клубок, засыпает.
11. Спальня отца Ратковича. Он спит со старухой-женой в перинах на непомерной двухспальной кровати. Оба супруга в косынках. Через их комнату пробирается Лева. Он по-прежнему бос, сапоги его закинуты за спину. В руках у него скрипка и смычок, завороченные в тряпку. Он осторожно открывает дверь в следующую комнату, в спальню остальных детей Ратковича.
12. И ПОТОМСТВО ТВОЕ, О ИЗРАИЛЬ, БУДЕТ МНОГОЧИСЛЕННЕЕ, ЧЕМ ПЕСОК НА БЕРЕГУ МОРЯ...
13. Спальня детей Ратковича, больше похожая на дортуар в интернате. Множество кроватей самых разнообразных фасонов. Множество детей всех возрастов и цветов. Беглец вьется между кроватями, целует в лоб самую маленькую свою сестру, прыгает в окно.
14. Крыши целой системы небольших сараев занимают пространство от окна, из которого прыгает Раткович, до

земли. Сараи лепятся один к другому. Крыши покаты, поросли жирным мохом, система их напоминает ряд индийских пагод. Раткович прыгает из окна на первую крышу.

15. Земля, озаренная лунным светом. Крыши отбрасывают тень. Тень от прыжка Ратковича.
16. Раткович прыгает с крыши на крышу. Тело его перелетает как тело гимнаста, летающего на воздушной трапеции. Наконец — на земле.
17. Пустынная улица в волынском пограничном местечке. Волшебный свет ночи заливает кривые улички, тесно застроенные древними домишками; улички эти похожи на декорацию из детской сказочной пьесы. Увязая в грязи, прижимая к груди скрипку, Раткович бежит по улице зигзагами, как бы спасаясь от погони.
18. Два пьяных мужика встречаются ему. Поддерживая друг дружку, мужики стоят, столкнувшись лбами и расставив ноги, как ружья в козлах. Потом они с великим трудом расходятся, щупают ворота неведомого им дома, пьяные их рожи безнадежны.
19. ...БЫЛА ЗДЕСЬ УТРОМ СКОБА И НЕ СТАЛО ЕЕ... ГОСПОДИ ИСУСЕ И ТЫ, ПРЕЧИСТАЯ МАТИ...
20. Пьяницы, отчаявшись найти свой дом, медленно лобызают друг друга, опускаются на колени; с величайшей нежностью, внимательностью, сокрушением обсасывают они один другому всклокоченные бороды. Не в силах прервать поцелуя, мужики падают, обняв-

шись, в невыразимую местечковую грязь и так засыпают.

21. Вдали в закоулках мелькает легкое тело Ратковича. Он крадется к двухэтажному, изъеденному временем, дому причудливой, волынско-польской архитектуры с подземельями, сараем и хлевом в первом этаже.
22. Пьяницы изредка по инерции целуются и все глубже погружаются в засасывающую их грязь. Волосы их разметались, грязные сапоги торчат, как утонувшие колья, бороды всклокочены, лица полны задумчивости.
23. Раткович проникает в темный смрадный коридор, расположенный под жилыми помещениями двухэтажного дома. В глубине — в закуте — коровья морда.
24. В темном углу коровника, заставленном бочками, ведрами, баграми, скорчилась женская фигурка, закутанная в балахон.
25. Раткович приближается к закуте, стучит шестом в потолок.
26. Фигурка в углу вздрогнула, прыгнула, опрокинула ведро. Из ведра густой белой струей течет на землю молоко.
27. Раткович стучит шестом в потолок. Женская рука схватывает шест, из закуты выходит Рахиль Монко, 17-летняя дочь местечкового бегельфера*. Балахон скрывает ее тело и лицо.
28. Рахиль открывает лицо, она бросается к Ратковичу, губы ее тянутся к его губам, но тотчас же девушка отшатывается. Слезы показываются на ее глазах, она смотрит на юношу с необыкновенной нежностью.
29. РЕШЕНО, МОЙ ДРУГ?..

30. Раткович берет узкую руку Рахили. Руки их дрожат длительной, нервической дрожью, которую нельзя унять.
31. Струя молока медленно вьется по земляному полу сарая.
32. Раткович наклоняется к Рахили. Он говорит:
33. РЕШЕНО… МЫ БЕЖИМ С ОЦМАХОМ ЗА ГРАНИЦУ. ОЦМАХ БУДЕТ ИГРАТЬ ТАМ ТРАГИЧЕСКИЕ РОЛИ, А Я СТАНУ СОЛИСТОМ В ОРКЕСТРЕ… И ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА, В МОСКВЕ, МЫ ПОВЕНЧАЕМСЯ С ТОБОЙ, РАХИЛЬ…
34. Лица Ратковича и Рахили сближаются. Глаза их прикрыты, веки трепещут. Они приближаются друг к другу и снова отшатываются. Мучительная игра юношей и девушек перед первым поцелуем. Раткович неловко прижимает губы к щеке девушки. Раскрывшиеся недвижимые ее глаза смотрят в сторону, слезы текут по счастливому лицу. Левушка придвигает губы все ближе к ее рту. Скрипка падает у него из рук. Рахиль застыла, не шевелится. Юноша целует ее в губы. Рахиль улыбается, дрожит и обнимает вдруг Левушку изо всех сил.
35. Скрипка на земле. Струя молока медленно обтекает ее.
36. Первый поцелуй. Корова высовывает кроткую морду из закуты и облизывает большим своим языком влюбленных. Диафрагма.
37. Степь, луна. У обрыва стоит бричка с высоким верхом, задрапированная рваным тряпьем. Бричка эта в точности схожа с кибиткой из цыганского табора. На козлах дремлет балагула. Он яростно почесывается во сне, су-

чит ногами, скребется спиной о кожаный верх своего «экипажа».

38. Небо. Полнолуние. Чистый свет луны. Медленно проходят лебединые облака.
39. В далекой перспективе, у края горизонта, бегущие Раткович и Рахиль.
40. Балагула чешется яростно, но не просыпается. Одно резкое его движение чуть не опрокидывает бричку. Тогда из тряпья высовывается подвижное бабье лицо.
41. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, МЕЕР?
42. Возница просыпается, поворачивает к пассажирке невозмутимейшее лицо.
43. НИЧЕГО, БЛОХИ...
44. Блещущее лицо луны.
45. Река. Лунные полосы на воде.
46. У обрыва над рекой — Раткович и Рахиль. Руки их вытянуты и дрожат. Раткович прижал к груди скрипку. Влюбленные расходятся в разные стороны, они идут колеблющимися шагами, идут медленно, потом быстрее, потом бегут не помня себя.
47. Бричка, спящий балагула.
48. Раткович, задыхаясь от быстрого бега, приближается к бричке. Он бросает скрипку в кучу тряпья, валится в изнеможении на телегу. Баба колотит дремлющего возницу в спину.
49. ГОНИТЕ, МЕЕР...
50. Балагула взвивает кнут над равнодушнейшими в мире клячами. Они не трогаются с места. Тогда Меер лезет

каждой из них кнутом под хвост. Лошади отбрыкиваются и галопом срываются с места. Телега, прыгая с камня на камень, летит по откосам к блещущей реке.

51. В глубине телеги, прижавшись друг к другу, сидят баба и Раткович. Юноша передает бабе пачку кредиток. Косынка спадает с бабы, обнаруживая лысый череп и выразительную физиономию еврейского комедианта Оцмаха. Оцмах задирает целую коллекцию юбок, одетых на него, доходит до штанов, расстегивает их больше, чем того требуют обстоятельства, и прячет деньги в мешочек, пришитый к кальсонам. Он опускает свои юбки и в полном блаженстве склоняется на плечо Ратковича.
52. Клячи въезжают в реку, они уходят все глубже в воду. Лунный свет лежит на волнах. Меер стоймя стоит на козлах, лошади по брюхо уходят в светящуюся бурлящую воду. Испуганный Оцмах лезет на самый верх брички. Одной рукой он обхватил Меера, другой придерживает то место, где зашиты деньги. Лицо его изображает избыточное количество переживаний. Дно уходит все глубже.
53. Степь. Над обрывом фигура Рахили. В дальней перспективе бричка, выбирающаяся на противоположный берег реки.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

54. ОЦМАХ СТАНОВИТСЯ ТРАГИЧЕСКИМ АКТЕРОМ.
55. Зеркало. Над зеркалом электрическая лампа. Ярко освещенное лицо Оцмаха. Он гримируется. Грим: длинная седая борода, разделенная надвое, как у дворецкого, нависшие брови, румянец во всю щеку, в ушах бутафорские гигантские серьги, на голове пудреный парик, какой носили при дворе французских королей в конце XVIII века.
56. КОРОЛЬ ЛИР, ПРОШЕДШИЙ ПУТЬ ОТ ШЕКСПИРА… К ОЦМАХУ.
57. Оцмах во всем своем величии. Он доволен собой. На нем лаковые офицерские ботфорты со шпорами, белые лосины и бархатная куртка, как у пажей.
58. Убогая актерская уборная. Рядом с Оцмахом Раткович настраивает скрипку. Оцмах обращается к юноше:
59. ПУСТЬ Я НЕ БУДУ ОЦМАХ, ЕСЛИ Я НЕ УТРУ СЕГОДНЯ ПОССАРТУ СОПЛИ…
60. Оцмах схватил звонок, ринулся за кулисы. Он пробегает мимо трех женщин, разукрашенных самым неожиданным образом.
61. ТРИ ДОЧЕРИ КОРОЛЯ ЛИРА.
62. Две дочери — немолодые тучные еврейки, третья — девочка лет шести. На актрисах, так же как и на Оцмахе, лаковые ботфорты со шпорами. Животы их запиханы в атласные жилеты. На одной из женщин что-то вроде каски, из-под каски выбиваются две прицепных косы,

на другой — шапочка, утыканная перьями. У третьей дочери короля Лира, у шестилетней девочки, — распущенные волосы, в волосах венок из бумажных цветов. Девочка одета в сарафан. Еврейки закусывают перед поднятием занавеса. Мимо них пробегает Оцмах со звонком.

63. Оцмах вбегает на сцену, занавес опущен.
64. ВО ДВОРЦЕ У КОРОЛЯ ЛИРА.
65. На сцене сбоку стоит кресло короля Лира. Над креслом развешаны японские веера и семейные фотографии неведомых людей, большей частью военных. Прямо против зрителя шкаф с еврейскими надписями, в таких шкафах в синагогах хранятся свитки Торы. Оцмах потрясает звонком, смотрит сквозь дырочку в занавесе на зрительный зал.
66. 8-й ряд партера. Публика, пришедшая из захудалого галицийского городка. Хасиды, старухи в коричневых париках и наколках, молодые люди с бачками, пышные еврейки в корсетах. Множество детей. Дети грудного возраста составляют треть всех зрителей. Дети визжат, плачут или спят. Один младенец доставляет особенно много хлопот своей матери. Внезапно он успокаивается. Лицо его принимает выражение глубокомыслия и задумчивости. Сосед дамы в бешенстве вскакивает. Он показывает на свой мокрый сюртук и на лужу у кресла. Дама всплескивает руками, уносит ребенка.
67. Через весь театр и фойе дама несет на отлете ребенка, испускающего крики и жидкость. Она вылетает на бал-

кон и усаживает сына высоко над перилами, над городом, утонувшим во мгле.

68. Оцмах продолжает осмотр зрительного зала. К нему подбегает управляющий театром.
69. ПРОФЕССОР РЕТИ В ТЕАТРЕ!..
70. Оцмах с недоумением смотрит на управляющего. Тот поясняет:
71. ЗНАМЕНИТЫЙ ПРОФЕССОР РЕТИ ИЗ БЕРЛИНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ...
72. Оцмах закутывается в черный плащ, расшитый бабочками и черепами. Он летит за кулисы, оттуда в аванложу и встречает с глубокими поклонами входящих в ложу профессора и его дочь. Профессор — седой старик во фраке и с кудрями, Оцмах извивается перед стариком.
73. СЕГОДНЯ, ГОСПОДИН ПРОФЕССОР, ВЫ ИМЕЕТЕ СЛУЧАЙ ПОСМОТРЕТЬ, КАК НЕКИЙ ОЦМАХ УТРЕТ ПОССАРТУ СОПЛИ...
74. Оцмах исчезает так же стремительно, как и появился. Ошеломленный профессор смотрит ему вслед.
75. В зале тушат свет. Публика рассаживается, в проходах играют дети. Оцмах в плаще выходит при опущенном занавесе к рампе. Он отвешивает глубокий поклон и произносит:
76. СЕЙЧАС ПЕРЕД ВСЕМИ ГОРЯЧО ЛЮБИМЫМИ КЛИЕНТАМИ НАШЕГО ДЕЛА ПРОЙДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА НЬЮ-ЙОРКСКОГО АВТОРА И КУПЛЕТИСТА ЯКОВА ШЕКСПИРА, А ИМЕННО: «КОРОЛЬ ЛИР, ИЛИ СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЕМСЯ...»

77. Оцмах кончает речь, отвешивает глубокий поклон и исчезает за занавесом. В это мгновение над ямой оркестра взвивается палочка дирижера, представляющая из себя обыкновенную трость с серебряными монограммами и ремешком на конце.
78. Капельмейстер в офицерской австрийской форме, на голове у него ермолка. Он держится неподвижно, движения его едва уловимы, он не дирижирует, а только подмигивает тем, кому надо вступать.
79. Оркестр в действии. Музыканты — хасиды в капотах. На видном месте Раткович. В углу барабанщик-немец высоко поднял свою булаву. Барабанщик пьян.
80. Капельмейстер с глубокой серьезностью подмигивает барабанщику.
81. Пьяный немец ринулся к барабану и нанес инструменту сокрушающий удар. Не глядя на тревожные подмигивания капельмейстера, немец продолжает колотить по барабану. Женщина, оказавшаяся у немца за спиной, оттаскивает его от инструмента. Женщина цепко держит пьяного мужа за фалду и отпускает его только тогда, когда ему надо ударить в барабан.
82. Профессор Рети и дочь его, глядя на барабанщика, помирают со смеха. Они сидят в аванложе. Старик откидывается на спинку кресла и хохочет.
83. Оркестр смолкает. Капельмейстер подмигивает Ратковичу. Тот вступает.
84. СОЛО.

85. Упрямое лицо Ратковича, скрипка, тонкие пальцы, бегущие по струнам.
86. Профессор Рети полулежит на кресле, смех сбегает с его лица. Старик приподнимается, всматривается в Ратковича.
87. СОЛО.
88. Тонкие пальцы Ратковича, бегущие по струнам.
89. Жена барабанщика прислонилась к дремлющей мужниной спине и, растроганная, слушает игру Ратковича.
90. Профессор перегнулся над барьером ложи. Он не спускает с Ратковича глаз. Старик схватил за руку дочь.
91. ЧТО С ВАМИ, ПАПА?
92. Старик упоен, он выпрямился во весь рост, поет, дирижирует, изгибается...
93. КАК ОН ИГРАЕТ! АХ, КАК ОН ИГРАЕТ, ЭТОТ МАЛЬЧИК...
94. Раткович вскочил со своего стула. Он играет стоя. Вдохновение раскачивает его. Худое, упрямое его лицо искажено, бледно, прекрасно. Пальцы с дьявольской быстротой рвут струны. Он кончил.
95. Капельмейстер, раскрыв рот и подняв хлыст, застыл у своего пульта.
96. Музыканты, согнувшись, лезут к выходу. Раткович, сутулясь, бредет за ними. Барабанщик проснулся, он вздрагивает и наносит сокрушительный удар барабану. В эту минуту взвивается занавес.
97. Профессор бросился вон из ложи. Он зацепился за дверную ручку, разорвал фрак, бежит дальше.

98. Занавес поднят. Оцмах в непринужденной, но скорбной позе развалился на троне. У ног его три дочери, они с обожанием подняли глаза на отца. В противоположном углу — унылые придворные в разнообразнейших одеяниях. У трона — шут. Это рыжий еврей, невообразимо длинный. На нем клетчатые американские брюки, тирольская шапочка, в руках трещотка. Оцмах, очнувшись от тяжкого раздумья, хлопает в ладоши.
99. Кокетливая горничная в наколке и переднике придвигает к королевскому трону столик с бутылкой вина и закуской. На бутылке этикетка. Изящно отставив мизинец, Оцмах наливает себе вина в стакан, половину стакана он выпивает, остальное царственным жестом выплескивает на пол. Немедленно появляется горничная с метелкой и подметает.
100. Музыканты, согнувшись, пробираются к выходу по узкому коридору, расположенному под сценой. Вбегает Рети, он хватает Ратковича за лацкан.
101. КТО ВЫ?.. ОТКУДА ВЫ?..
102. Раткович с удивлением смотрит на старика. Профессор все сильнее дергает его лацкан.
103. КТО ВАШ УЧИТЕЛЬ?
104. Раткович кланяется боком, угловато, очень неловко:
105. Я... Я УЧИЛСЯ У РАББИ ЗАЛМАНА В ДЕРАЖНЕ, ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ...
106. Фрак старика разодрался. Нервический старик — он пожимает Ратковичу руку, хватается за голову, гладит плечо Ратковича.

107. ИГРАЙТЕ МНЕ, ИГРАЙТЕ, МОЕ ДИТЯ…
108. Раткович беспомощно оглядывается по сторонам, подобострастный капельмейстер делает знак, чтобы он играл. Юноша подносит скрипку к подбородку.
109. Трагедия короля Лира разворачивается. Старшая дочь, у которой выпирают планшетки от корсета, пляшет перед королем. Она принимает сладострастные позы. Придворные хлопают в ладоши и подпевают, как на еврейской свадьбе. Но вот один из придворных — на нем цилиндр и латы — решился на неслыханную наглость, он ущипнул за грудь дочь короля. Оцмах это заметил. Оцмах выхватывает из ножен меч и бросается на оскорбителя. Кровавый поединок. Король и придворный фехтуют.
110. Профессор Рети сидит в углу за кулисами на куче канатов и, закрыв лицо, слушает игру Ратковича. Юноша кончил. Старик снимает руки с лица, исковерканного волнением. Он вскакивает, хватает Ратковича за руку, тащит к большому конторскому календарю, прибитому к стене. На календаре дата — 19 августа — четверг — 1909. Указывая на календарь, старик говорит:
111. ИДИТЕ КО МНЕ В УЧЕНИКИ И, КЛЯНУСЬ ВАМ, ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ВЫ БУДЕТЕ ВЕЛИКИМ АРТИСТОМ…
112. Изображение календаря. Чья-то рука медленно загибает верхний листок и переворачивает его.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

113. Брянский вокзал в Москве. Группа носильщиков и встречающих поезд. В глубине железная решетка с указателем прибытия поездов.
114. Указатель. Дата и час прибытия: 11/X 1912 г. Прибытие из Киева — 1 ч. 57 мин.
115. ДАТА НА УКАЗАТЕЛЕ.
116. Поезд подкатывает к перрону. Носильщики и публика бросаются навстречу подходящему поезду.
117. Толчея на перроне. Выгрузка пассажиров. Родственные сцены.
118. Из вагона III класса выходит румяная, русская рослая девушка. Ее принимает на руки целая семья — старый полковник, разбитной студент, два кадетика в больших картузах, старая дева в шляпе с свисающими лентами. Девушку целуют, суют ей цветы, заказывают носильщиков. У всех растроганные лица. Вслед за девушкой выходит Рахиль с узелками.
119. Людская волна несет Рахиль к выходу. Она сгибается под тяжестью своих сундучков и котомок.
120. Носильщики катят по платформе тележки, нагруженные доверху багажом. На одной из тележек живая птица в клетках. Скрежещущие потоки несутся мимо Рахили. Она загородила им путь. Растерявшаяся девушка стиснута горами несущегося багажа. Носильщики честят ее на все корки. Носильщик кричит:
121. ВИДАТЬ НАШЕНСКИХ ИЗ ЦАРЕВОКОКШАЙСКА...

122. Оглушенная Рахиль отшатывается. Тележки проносятся мимо нее и чертят молнии.
123. У камеры хранения ручного багажа. Рахиль сдает вещи. Через нее летят тюки, узлы, чемодан.
124. Рахиль на площади перед Брянским вокзалом. Разъезд. Провинциалка в Москве. Она подходит к городовому, спрашивает у него дорогу. Городовой в нитяных перчатках объясняет очень вежливо, какой номер трамвая ей нужен. Девушка бежит к трамваю.
125. Рахиль в трамвае. Вокруг нее трамвайные пассажиры — безжалостнейшие люди в мире. Рахиль с восторгом осматривает никогда не виданную роскошь трамвайного убранства.
126. Сосед Рахили, унылый красноносый чиновник в форменном картузе, кисло спрашивает ее:
127. ЧЕМУ ВЫ РАДУЕТЕСЬ, БАРЫШНЯ?..
128. Рахиль отвечает ему сияя:
129. ТАК ПРИЯТНО ЕЗДИТЬ В МОСКОВСКОМ ТРАМВАЕ...
130. Чиновник поднимает брови и отодвигается. Он думает, что имеет дело с умалишенной.
131. Рахиль сходит с трамвая, идет к старинному двухэтажному дому, на котором вывеска: «Номера “Россия” И. П. Буценко».
132. Кухня в номерах «Россия». Сияющая чистота. Владельцы номеров супруги Буценко, старые старички с оттопыренными опрятными животами. Оба в чистых передниках, стряпают. Оба заняты приготовлением вареников.

133. Рахиль у подъезда номеров «Россия». Она вынимает из сумки письмо, звонит.
134. Кухня. Звонок. Буценко снимает с себя передник, семенит к парадной двери.
135. Буценко открывает Рахили дверь. Что угодно? Рахиль робко подает ему письмо. Старик ведет ее к конторке, он вынимает из конторки медные очки, читает. Во время чтения лицо его освещается умильной улыбкой.
136. Изображение письма: «ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ ИВАН ПОТАПЫЧ, ПОДАТЕЛЬНИЦУ СЕГО, МОЮ ЗЕМЛЯЧКУ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ РЕКОМЕНДУЮ ТЕБЕ КАК ЖИЛИЦУ. С ВЕЛИКИМИ ТРУДНОСТЯМИ ВЫБРАЛАСЬ ОНА ИЗ НАШЕГО МЕСТЕЧКА В МОСКВУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ, К КОТОРОМУ ЧУВСТВУЕТ НЕПРЕОБОРИМУЮ СТРАСТЬ...»
137. Старичок бросает письмо, пожимает руки Рахили, заливается нескончаемым смехом, ведет девушку на кухню к жене.
138. На кухне. Буценко подводит Рахиль к старушке:
139. ЖИЛИЦА К НАМ ОТ ВЛАДИМИРА СЕМЕНЫЧА...
140. Старушка всплескивает пухлыми руками, обтирает пальцы о передник, целует Рахиль в обе щеки. Буценко оттаскивает Рахиль.
141. ПОГОДИ ЛИЗАТЬСЯ, МАТЬ... ВЗДУЙ-КА НАМ СПЕРВА САМОВАРЧИК...
142. Буценко вводит девушку в номер. Уютная старомодная комната. В углу образа, лампада. Другой образок, совсем крохотный, привешен к изголовью кровати. Буцен-

ко суетится, раскладывает вещи, убегает с кувшином за водой.

143. Образок у полога кровати.
144. Рахиль одна. Она снимает шляпку, подходит к окну.
145. Из окна видна древняя московская церковка с луковками.
146. Буценко, сияя и отдуваясь, вносит кувшин с водой, чистое полотенце. Рахиль принимается за свой туалет. Она чистит зубы, долго умывается. Фыркает от наслаждения. Старик умильно смотрит на распустившиеся ее волосы, девический прекрасный затылок. Но Рахиль умывается долго. Старичку надоедает ждать с полотенцем в руках, он подходит к столу, читает паспорт Рахили, лицо его изменяется.
147. Рахиль умывается, фыркает.
148. По коридору с подносом в руках плывет старушка Буценко. На подносе чайный прибор, дымящиеся пирожки, маленький самовар, окутывающий паром старушкину голову.
149. У Буценко в руках паспортная книжка. Он испытывающе взглядывает на Рахиль, потом с скверным лицом продолжает чтение паспорта.
150. Изображение паспортной книжки на имя РАХИЛЬ ХАНАНЬЕВНЫ МОНКО, ДЕВИЦА, 19 ЛЕТ...
151. На лице старика недоумение. Трясущимися руками водружает он на носу очки, читает на третьей странице паспортной книжки.
152. Надпись на паспорте: «ГДЕ ЕВРЕЯМ ЖИТЬ ДОЗВОЛЕНО...»

153. Старушка расставляет на столе пышки, самовар, стаканы. Рахиль только что умылась. Смеясь, протягивает она к старику за полотенцем обнаженные сильные руки. Но Буценко не дает полотенца, тянет его к себе. На кротком его лице — укоризна, испуг, гнев. Он говорит, качая головой:
154. ЕВРЕЙКА... ОХ, КАКОЙ СТЫД...
155. Лицо Рахили. Не получив полотенца, она медленно вытирает мокрое лицо подолом юбки.
156. Буценко, топая ножкой, кричит жене: уноси все обратно... Негодующая старушка уносит приготовленный для Рахили самовар. Голова старушки окутывается паром. Диафрагма.
157. Вечер. Бойкая, дореволюционная московская толпа. Сбоку — часовенка. Видны зажженные свечи, сияющие иконы, богомольцы, бьющие поклоны. Из-за угла выходит Рахиль.
158. Три крохотные девочки-цыганки пляшут на улице. Цыганята в длинных до земли юбках, они обвешаны монистом, бьют в бубен. Цыганята увидели Рахиль, бросились к ней, окружили, пляшут.
159. Рахиль пытается разомкнуть их буйный круг.
160. Рахиль дает цыганятам монету и спасается от них. Ей загораживает дорогу старый перс в расшитом халате. Он улыбается старческой, важной улыбкой и раскрашенным пальцем трогает грудь Рахили.
161. Рядом с Рахилью и персом вырастает фигура полуголого юродивого. Тело юродивого дрожит крупной час-

той дрожью. Лысая, яйцевидная голова его раскачивается.

162. Пальцы перса с раскрашенными ногтями медленно ползут по груди Рахили.
163. Три лица — Рахиль, перс, юродивый.
164. Юродивый гримасничает, слюна кипит в клочковатых его усах, он грозно требует милостыни. Рахиль убегает.
165. Не помня себя девушка бежит по улице, за ней ковыляет юродивый.
166. Ночь. Рахиль бежит по Замоскворецкому мосту.
167. Москва-река, набережная. Блеск снегов. Черное железо решеток на снегу. Вдали освещенные окна фабрик и домов.
168. Тихий переулок в Замоскворечье. Ряд газовых фонарей. Хорошо одетый человек в шубе пьет, прислонившись к стене, водку из бутылки.
169. В глубине переулка дверь гостиницы «Герой Плевны».
170. Вывеска: «СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ С УДОБСТВАМИ — “ГЕРОЙ ПЛЕВНЫ”».
171. Рахиль подбегает к двери гостиницы, берется за ручку. Дверь неожиданно распахивается. Из номеров выходит человек лет двадцати четырех; лицо у него круглое, веселое, беспечальная, бездомная студенческая фуражка торчит в его кудрях. Он осматривает Рахиль очень внимательно, задерживается у подъезда. Рахиль входит в гостиницу.
172. В служебном отделении гостиницы «Герой Плевны». Номерной Орлов, заспанный малый в жилетке, играет

в шашки со степенным старичком старообрядческого типа. На парне калоши на босу ногу и кавалерийские рейтузы, подвязанные внизу бечевкой. Сквозь обычное брезгливое выражение его лица проступает крайний азарт. Старик глубокомыслен, но уверен в себе, он, видимо, побеждает.

173. Шахматная доска. Положение номерного безнадежно, рука его делает отчаянный ход.
174. Входит Рахиль. Она спрашивает:
175. МНЕ БЫ НОМЕР...
176. Номерной, не поднимая головы:
177. БЕЗ МАЛЬЧИКА НЕ ПУСКАЕМ...
178. Рахиль не понимает. Номерной кричит ей с досадой:
179. КТО-ТО У ТЕБЯ ЕСТЬ? ФРАЙЕР КТО ТВОЙ?..
180. Изумленное лицо Рахили.
181. Коридорный и старичок в полном азарте. Старичок делает решительный ход.
182. Парень в студенческой фуражке расхаживает перед дверью гостиницы. Из номеров выходит Рахиль. Она останавливается, прислоняется к стене, закрывает глаза. Парень срывает шапку с кудрей и спрашивает девушку:
183. КТО ВЫ ТАКАЯ? ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ... В ЭТОМ ПРИТОНЕ?..
184. Рахиль открывает глаза.
185. Я... Я ЕВРЕЙКА...
186. Баулин почесывает затылок, он размышляет.
187. ПОСЛУШАЙТЕ, ТОВАРИЩ... МЕНЯ НЕ ПУСКАЮТ В «ПЛЕВНУ» БЕЗ ДЕВОЧКИ, ВАС НЕ ПУСТЯТ БЕЗ МАЛЬ-

ЧИКА… ПОСЛУШАЙТЕ, ТОВАРИЩ, МОЯ ФАМИЛИЯ БАУЛИН, Я ПАРЕНЬ СВОЙ… Я ПАРЕНЬ ЧЕСТНЫЙ…

188. Рахиль исподлобья смотрит на Баулина. Она колеблется, потом вдруг улыбается и протягивает ему руку.
189. Номерной сокрушенно смотрит на доску. Партия им проиграна. Старичок ехидно пьет чай. Калоша спадает с ноги номерного. Ногтями одной ноги он чешет другую. В комнату входят Баулин и Рахиль. Баулин:
190. СПРОВОРЬ-КА НАМ, ПАПАНЬКА, НОМЕРОЧЕК…
191. Номерной встает, потягивается.
192. А ОНА СКАЗЫВАЛА — У НЕЙ КОТА НЕТ…
193. Замызганный коридор ночной гостиницы. Номерной со свечой впереди, за ним идут Рахиль и Баулин.
194. Одна из дверей в коридоре распахивается, трепещущая женская рука и обнаженное плечо высовывается в коридор, женщину мгновенно втаскивают обратно в номер, дверь захлопывается.
195. Коридорный подводит Баулина и Рахиль к двери предназначенного им номера. В углу, у стены, свалены в кучу ночные посудины, разбитые жестяные умывальники и картины в золотых рамах. Номерной открывает дверь.
196. В комнату «ночной» гостиницы входят Орлов, Баулин, Рахиль. Номерной открывает свет. Баулин указывает на подозрительной чистоты белье на кровати.
197. РИЗЫ-ТО ПЕРЕМЕНИ, ДРУЖОЧЕК…
198. Номерной обиженно рассматривает запятнанную простыню.

199. МЫ ОПОСЛЯ КАЖДОГО МЕНЯЕМ...
200. Коридорный меняет простыню и ухитряется положить старую на стол вместо скатерти.
201. Во время манипуляций номерного Рахиль читает надпись, выцарапанную гвоздем на зеркале.
202. Надпись: СЕГОДНЯ В ЧАС ПОПОЛУНОЧИ ИМЕЛ ДЕЛО С ДИВНОЙ ДЕВУШКОЙ-ДРУГОМ, ИМЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ НАЗВАТЬ, ДАВАЙ, ГОСПОДИ, ЧТОБЫ ОБОШЛОСЬ БЛАГОПОЛУЧНО...
203. Рахиль отходит от зеркала. Баулин старается своим телом загородить надписи, которыми испещрены стены. Номерной выходит. Баулин запирает за ним дверь, обращается к девушке:
204. СПИТЕ, ДРУГ МОЙ, УЖ Я ПОСТЕРЕГУ ВАС...
205. Трепеща, Рахиль взбирается на постель с ногами, сворачивается в клубок. Баулин расстилает себе у порога шинель, он украдкой вынимает из шинели тючок с типографским шрифтом и пачку прокламаций...
206. Изображение прокламации, изданной московским комитетом социал-демократической партии.
207. Баулин кладет себе под голову тючок и прокламации, украдкой сует револьвер под самодельную подушку, растягивается у порога.
208. АВОСЬ СОСНЕМ...
209. Рахиль, свернувшись в комочек, с ужасом слушает обычный шум ночной гостиницы.
210. В соседнем номере. На разметавшейся постели офицер без мундира, в рейтузах и сапогах, борется с женщи-

ной, одетой в шелковое черное глухое платье. Он ломает ей руки.

211. Баулин курит, усмехается, потом он протягивает руку к штепселю, гасит электричество. Тьма.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

212. Ночь. В переулок входит наряд полиции.
213. Полицейские вскрывают дверь гостиницы «Герой Плевны».
214. Полицейские, стараясь не шуметь, идут вверх по лестнице.
215. Под иконой спит заливистым сном номерной Орлов. Он по-прежнему в калошах. На плечо его опускается рука городового. Городовой:
216. БЕСПРОПИСОЧНЫЕ ЕСТЬ ЧТОБЫ НОЧЕВАЛИ?..
217. Номерной вскочил. Он отвечает почесываясь:
218. БЕСПРОПИСОЧНЫХ ВРОДЕ КАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ...
219. Полицейские с номерным выходят из комнаты.
220. В коридоре. Мгновенное судорожное хлопанье дверей и тишина.
221. Баулин спит у порога на шинели; услышав шум, он вскакивает, схватывает револьвер.
222. Ноги часовых топчутся в коридоре, торчат сабли.
223. На полу тючок Баулина и связка прокламаций.
224. Рахиль, свернувшись в клубок, спит сном юности и неведения.

225. Баулин вскочил, прислушивается.
226. ОБЛАВА.
227. Окно, небо, звезды. Баулин вскочил на подоконник.
228. Пустынная улица. Чистильщик сапог, старый айсор, укутанный в цветистое тряпье, чистит сапоги городовому. Дремлющий городовой расположился на лавочке. Вдруг он вскочил.
229. Баулин прыгает из окна второго этажа. Он упал на землю, сломал себе ногу.
230. Городовой выхватывает свисток, свистит.
231. Из переулка бежит на подмогу второй городовой, очень маленького роста, в очень большом картузе и с многими медалями.
232. Надувшееся багровое лицо первого городового. Он не решается подойти к Баулину, распростертому на земле, но свистит с упоением, с сладострастием, как тетерев на току.
233. Старый айсор с слезящимися глазами робко подтаскивает свой сундучок к недочищенному сапогу городового.
234. Сломанная нога Баулина. Баулин царапает грязный уличный, залитый собачьей мочой, снег.
235. Два городовых, отступив на несколько шагов, готовятся прыгнуть на беззащитного человека. Они подхлестывают себя криком, размахивают револьверами и, наконец, бросаются на Баулина: один душит его и свистит все упоительнее, другой связывает сломанные ноги.
236. Нога Баулина, сломанная в колене, повернутая в сторону.

237. Номер гостиницы «Герой Плевны». Посредине широкой постели лежит спиной вверх мужская фигура, перекрытая простыней. Блестит только лысина мужчины и на лысине шишка. По обеим сторонам «гостя» тревожатся две девочки, проститутки, лет по шестнадцати.
238. Обход в гостинице продолжается. Полицейские яростно стучат в дверь номера. Дверь открывается.
239. Мужчина, завернутый в простыню, не меняет позы. Он высовывает руку из простыни, лица его не видно, блестит только лысина и на лысине шишка.
240. Протянутая рука, в руке паспорт. Рука полицейского хватает паспорт.
241. Полицейский читает паспорт. Подозрительность сменяется на его лице серьезностью и чувством служебного долга.
242. Изображение паспорта на имя действительного статского советника и почетного опекуна Аполлона Силыча Густоватого.
243. «Фигура» и проститутки в том же положении. Городовой почтительно кладет на спину «фигуре» паспорт и с поклоном удаляется.
244. В другом номере. Проститутка лет сорока пяти в ожидании облавы сонливо курит папиросу, на ней длинная рубаха с оборванными кружевами. К стене в ужасном испуге прижался гимназистик лет шестнадцати. Он успел облачиться в мундирчик, под мундиром кальсоны. Вламываются городовые. Надзиратель мальчику:
245. ВЫ ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТЕ, МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ?..

246. Гимназистик заикается:
247. НА УЛИЦЕ ШЕЛ... ДОЖДЬ... Я РЕШИЛ... ПЕРЕЖДАТЬ...
248. Полицейский толкает старую проститутку: выходи...
249. Околоточный отечески распекает гимназиста, подносит ему штаны.
250. Страстная площадь. Ночь. Полицейские гонят проституток, захваченных во время облавы.
251. Уличные проститутки спасаются от облавы. Они подбегают к первым встречным пешеходам, берут их под руку, делают вид, что прогуливаются с мужьями, с постоянными своими мужчинами.
252. К пожилому еврею, облаченному в большую енотовую шубу, подбегают две проститутки; каждая рвет его в свою сторону. Еврей, занятый невеселыми мыслями, переводит с одной женщины на другую старые свои усталые глаза, берет обеих под руки и ведет их, как дочерей на прогулке.
253. Стоянка извозчиков у Тверской. Проститутки теребят извозчиков.
254. Лихач-горбун в щегольском армяке. К нему подбегает девушка в белой пуховой шапочке, с родинкой на подбородке. Она просит горбуна ехать поскорее. Горбун:
255. ПРИШЛИ ВПЕРЕД ДЕСЯТКУ...
256. Женщина ставит ногу на подножку. Она говорит:
257. НЕТУ У МЕНЯ ДЕНЕГ... БЕРИ ЧТО ХОЧЕШЬ...
258. Горбун скосил голубые глаза — ладно, мол, — и погнал лошадей.

259. Извозчики летят гуськом по Тверской. В экипажах спасающиеся проститутки.
260. Горбун въезжает в глухой переулок, возле пустыря. Он останавливает лошадей, наставляет верх, перелезает к женщине в экипаж. Диафрагма.
261. Городовые пригоняют к зданию участка захваченных в облаве проституток.
262. Большая полутемная комната, переделенная решеткой. Женщин загоняют за решетку.
263. Лица проституток, прильнувшие к решетке. Среди них: старая проститутка, ночевавшая с гимназистом, Рахиль и женщина в глухом шелковом платье, боровшаяся в номере с офицером. Присутствие ее в гостинице и в этом месте необъяснимо. Она мечется, просит у часового папиросу. Часовой сворачивает ей собачью ножку, зажигает спичку, он ласково смотрит на «барыню» и потом отворачивается, чтобы не обидеть ее своим участием. Женщина дергается, затягивается и сейчас же с плачем бросает папиросу.
264. Комната, где производится медицинский осмотр проституток. Над медицинским креслом яркая электрическая лампа. У кресла доктор в халате (доктор этот тот самый кислый чиновник, с которым разговаривала Рахиль в трамвае) и фельдшер. Поодаль сидит за столиком канцелярист. Городовой вводит проститутку, ночевавшую с гимназистом. Она без понуждения ложится на кресло. Доктор склоняется над ней. В руках у него инструменты. Затемнение.

265. Канцелярист с пером за ухом ждет диагноза.
266. Осмотр кончен. Женщина встает с кресла. Доктор канцеляристу:
267. ЛЮЭС... ВТОРАЯ СТАДИЯ... СЛЕДУЮЩАЯ...
268. Женщина покорно идет к столику, канцелярист пишет что-то в ее бумагах. Городовые втаскивают растрепавшуюся, растерзанную Рахиль.
269. Доктор, ко всему привычный, приготовляет инструменты.
270. Городовые кладут Рахиль на кресло. Старый городовой с добрым лицом говорит ей:
271. ТЕБЕ ЖЕ ПОЛЬЗА, ДУРОЧКА, А ТО СКОЛЬКО НАРОДУ ПЕРЕЗАРАЗИШЬ...
272. Ужасное лицо Рахили под колпаком электрической лампы.
273. Из тьмы выдвигается лицо доктора. Он узнал девушку, спрашивает ее:
274. ВЫ КТО ТАКАЯ?.. ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ?..
275. Губы девушки шевелятся:
276. Я... Я ЕВРЕЙКА...
277. Канцелярист с вставочкой за ухом ждет диагноза.
278. Рахиль на кресле. Растерянный доктор говорит канцеляристу:
279. З... ЗДОРОВА... СЛЕДУЮЩАЯ...
280. Рахиль подходит к столику канцеляриста. Он протягивает ей документы. Рахиль отшатывается, спрашивает, — что это? Канцелярист говорит:
281. ЖЕЛТЫЙ БИЛЕТЕЦ ДЛЯ ВАШЕЙ СВЕТЛОСТИ...

282. Девушка озирается, она мнет в руках заклейменный документ. В это мгновение над ней склоняется лицо околоточного, заросшее черным буйным волосом. Волос этот косматым нимбом окружает толстое твердое жадное лицо. Околоточный показывает Рахили тючок, захваченный в ее номере.
283. ВАШ ШРИФТОК, ДЕТКА?
284. Тюк с шрифтом в руке околоточного.
285. Околоточный, приоткрыв рот, ждет ответа. На лице его мольба неумелого в своем деле человека — сознайся, голубушка, сознайся, мой дружок, помоги... Рахиль оборачивает к полицейскому изумленное лицо.
286. Сумрачная, сводчатая комната участка. Над столом мигает висячая керосиновая лампа, прикрытая дырявым колпаком казенного образца. У стены в клеенчатом рваном кресле корчится Баулин. Он лежит спиной к зрителю, нога его кое-как забинтована. Над арестованным склонился старый городовой с добрым лицом. Старик льет Баулину в рот воду из горлышка большого закопченного чайника.
287. Надзиратель вводит в комнату Рахиль и делает городовому знак — поставить арестованных друг против друга. Околоточный подводит под лампу взъерошенное косматое свое лицо, тычет шрифт в лицо Баулину и все с тем же искательным, жадным лицом добивается ответа.
288. НА ОЧНОЙ СТАВКЕ СОЗНАЙСЯ, ДРУЖОК, СУКИН СЫН... ТВОЙ ШРИФТ?

289. Баулин мечется на своем кресле. Он делает неосторожное движение, падает на землю, стонет. Над ним снова склоняется старый городовой. Пальцы Баулина царапают, пожимают, гладят пухлую руку городового.
290. Перекошенное лицо Баулина поворачивается к зрителю, он стонет:
291. ОХ, МАМА...
292. Городовой — Баулину на ухо:
293. СДЕЛАЙ МИЛОСТЬ, ГОСПОДИН, СОЗНАЙСЯ... ТЕБЯ В БОЛЬНИЦУ НАДО...
294. Околоточный подбирается к Баулину. Вынуждая признание, он с жалким, внимательным лицом, не сводя глаз с Рахили, нажимает на больную ногу арестованного.
295. ТВОЙ ШРИФТ?
296. Лицо Баулина. Шепчущие губы:
297. ОХ, МАМА...
298. Рахиль подступает к околоточному. Она говорит:
299. ШРИФТ МОЙ...
300. Околоточный оставляет ногу Баулина, он суетливо кивает головой.
301. ВОТ СЛАВНАЯ ДЕТКА...
302. говорит надзиратель с обрадованным прояснившимся лицом и приготовляется слушать.
303. Рахиль дает вымышленные показания. Она отчеканивает слова, лицо ее освещено порывистым масляным светом лампы.
304. ШРИФТ ЭТОТ Я ДОСТАЛА...

305. говорит она и задумывается, что бы еще сказать.
306. Околоточный, боясь, что Рахиль передумала и не будет давать показаний, придвигается к Баулину и снова нажимает на разбитую ногу. Баулин прыгнул, закричал, потерял сознание. Тогда Рахиль заговорила. Она лепечет быстро, не останавливаясь. От нетерпения околоточный сучит под столом толстыми ногами. Он поглаживает сломанную ногу Баулина, а другой рукой мнет, дергает, вертит во все стороны космы своих волос. Лицо его светится, губы шевелятся, брови ходят ходуном, глаза блестят.

ПЯТАЯ ЧАСТЬ

307. ЗА ТЫСЯЧУ МИЛЬ ОТ НОМЕРОВ «РОССИЯ».
308. Улица в Берлине. Кучка прохожих у афишного столба. Гигантская афиша объявляет о концерте Лео Рогдая.
309. Улица в Берлине. Величественное здание отеля «Империя». На высоте пятого этажа ползает по фасаду маляр, моет вывеску. Маляр, веселый безобидный малый, заключен в деревянный ящик, прикрепленный блоками к выступу крыши. Маляр поет во все горло, потом прерывает пение, прислушивается.
310. Улица, снятая с высоты пятого этажа, так, как ее видит маляр.
311. Изображение афиши. На ней дата: 4 СЕНТЯБРЯ 1912 ГОДА.

312. Маляр опускается на блоке к третьему этажу. Он останавливает свой ящик у раскрытого окна, откуда исходят звуки, так его поразившие.
313. Номер Ратковича в третьем этаже отеля «Империя». Ратковича уже нет, есть знаменитый виртуоз Лео Рогдай. Полдень. Комната артиста. Неубранная низкая широкая постель. Цветы, подношения разбросаны по всей комнате. Лавровый венок в футляре. У камина фотографическая карточка Рахили. На столике остатки ужина, раскупоренная бутылка вина. К стенам приколоты афиши и расписание концертов в Берлине, Гамбурге, Мюнхене. Рогдай изменился, постарел, утончился. Полуодетый, ходит он по комнате, берет пальцами несколько аккордов, подносит скрипку к подбородку. Затемнение.
314. Повторение сцены 105: Профессор Рети слушает за кулисами захолустного театра игру Ратковича.
315. Рогдай играет. В окно просовывается благоговейная физиономия маляра. Он сдергивает с головы шапчонку, мнет ее в руках.
316. ГОСПОДИН АРТИСТ, НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЫГРАТЬ ПАДЕСПАНЬ?
317. Рогдай улыбается, подходит к окну, играет падеспань.
318. Маляр мнет засаленную шапчонку, пальцы его прищелкивают все быстрее, все веселее.
319. Два шара катятся по бильярдному столу.
320. У борта ладонь, согнутая ковшиком. Большая холеная рука с бриллиантовым перстнем на мизинце. В углублении ладони движется кий.

321. Бильярдная отеля «Империя». Антрепренер Рогдая Витторио Маффи целится в один из двух оставшихся шаров. Вокруг стола, где он играет, столпилось множество народа. Маффи — мужчина громадного роста, сухой, гибкий, черноволосый, морщинистый; в партнере же его — в герре Кальнишкере — все дышит кротостью, терпением, достоинством. Росту в Кальнишкере мало, линии его крохотного тела округлы, живот не слишком вздут, ноги семенят неспешно. Оба игрока без пиджаков. Маффи делает удар. Промах. Итальянец морщится, отходит, вернее, прыгает в сторону; концом кия он угодил прямо в рот зазевавшемуся старику-мазуну. Маффи оборачивается, он всовывает кий поглубже в рот обезумевшего от страха мазуна и притискивает его к стене.
322. Маленькая жирная ладонь Кальнишкера у борта. В углублении ладони ходит кий.
323. Распятый мазун с кием во рту. Он прижат к стене. Невозмутимый Маффи воткнул в него кий и повернулся к нему спиной.
324. Кальнишкер делает удар. Шар падает в среднюю лузу. На бильярде остался один шар — пятнадцатый номер. Кальнишкер отпивает из стакана молоко, не спеша отставляет стакан и заказывает:
325. ОТ ДВУХ БОРТОВ ПЯТНАДЦАТОГО В УГОЛ…
326. С убийственной медленностью Кальнишкер натирает кий мелом.
327. Спина Маффи, торчащий изо рта мазуна кий, отчаянное лицо мазуна, вцепившегося в кий зубами.

328. Кальнишкер, испытывая партнера, целится долго, отнимает кий, снова целится. Шар стоит у противоположного борта. Маленький человечек употребляет тяжкие усилия для того, чтобы достать шар, он навалился животом на бильярд, приподнялся на цыпочках, коротенькая его нога дрожит в воздухе. Кальнишкер делает удар. Шар падает. Кальнишкер низко кланяется своему партнеру.
329. Мгновенная гримаса на лице Маффи. Он, не оборачиваясь, вынимает кий изо рта мазуна, тот кидается на него с кулаками, но старика вовремя оттаскивают. Его убеждают:
330. УПАСИ ВАС БОГ… ВЕДЬ ЭТО ВИТТОРИО МАФФИ, АНТРЕПРЕНЕР ШАЛЯПИНА, АНТРЕПРЕНЕР РОГДАЯ, ДУЭЛЯНТ, ИГРОК, БРЕТЕР…
331. Старик слушает, молчит, озирается. Большая слеза течет по морщинистой щеке, застревает в усах и блестит на кончике волос. Пробегает лакей и салфеткой смахивает слезу.
332. Лакеи подают игрокам пиджаки. Маленький Кальнишкер отводит в сторону громадного Маффи. Кальнишкер умильно склоняет набок расчесанную головку.
333. РАСПОРЯДИТЕСЬ УПЛАТИТЬ, ДОРОГОЙ СИНЬОР МАФФИ…
334. Маффи смотрит на партнера с высоты огромного своего роста. Он не знает, на что решиться, — ударить Кальнишкера или заплатить ему. Кальнишкер бормочет еще умильнее:

335. РАСПОРЯДИТЕСЬ, ЗОЛОТОЙ СИНЬОР МАФФИ...
336. Маффи, не проронив ни слова, отходит от Кальнишкера. Он хватает оставленный им в углу чемодан, прыгает к выходу. Кальнишкер неутомимо семенит за ним. Маффи оборачивается и бормочет сквозь зубы:
337. ПРИХОДИТЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ВИЛЛУ ГРЕННЕ... ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТАМ ВАШИ ПАРШИВЫЕ ПЯТЬСОТ МАРОК...
338. Маффи убегает. Кальнишкер кланяется исчезающей спине итальянца, подходит к столу и допивает маленькими глотками свое молоко.
339. Рогдай играет маляру. Рабочий в такт танцу прищелкивает пальцами.
340. Пышный вестибюль отеля «Империя». Маффи с чемоданом в руках бежит вверх по лестнице. Он берет по три ступеньки сразу. Портье и лакеи кланяются ему.
341. Портье отеля у своей конторки. Портье похож на императора Наполеона. Сходство это соблюдено во всех мелочах, и даже клок волос положен на лбу, как у императора французов. Портрет Наполеона красуется тут же на конторке. На груди у портье на широкой ленте привешено пенсне.
342. Сиденье маляра и болтающиеся его ноги, снятые снизу.
343. Рогдай с воодушевлением играет простецкому своему слушателю. Маляр в совершенном блаженстве швыряет свою шапочку на землю. Внезапно между маляром и Рогдаем опускается штора.

344. Рогдай оборачивается. У двери стоит Маффи и держит руку на шнурке, регулирующем штору. Маффи бросает чемодан на середину комнаты, хлопает себя хлыстом по ногам и цедит с расстановкой:
345. ВОТ УЖЕ ПОЛГОДА, КАК НЕТ ЖИДОЧКА РАТКОВИЧА, А ЕСТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЕО РОГДАЙ, НО ДО СИХ ПОР У ЗНАМЕНИТОГО РОГДАЯ НЕТ ШЕЛКОВОГО БЕЛЬЯ, НЕТ КРОВНЫХ ЛОШАДЕЙ, НЕТ ЛЮБОВНИЦЫ ИЗ ХОРОШЕГО ОБЩЕСТВА... КОГДА ВЫ СТАНЕТЕ МУЖЧИНОЙ, РОГДАЙ?..
346. Отбрасывая ногой вещи, лежащие на полу, Маффи подходит к камину. Он снимает карточку Рахили, морщится, всматривается.
347. Портрет Рахили Монко.
348. Рогдай побагровел. Он выхватывает из рук Маффи карточку и прячет ее в карман пиджака. Маффи улыбается чуть заметно и поднимает хлыстом комнатную туфлю Рогдая. Итальянец вертит на острие хлыста эту старенькую растоптанную туфлю с большой дырой на месте большого пальца, потом выбрасывает ее за окно.
349. Туфля Рогдая падает на крышу соседнего дома.
350. Маффи указывает Рогдаю на принесенный им чемодан.
351. ЭТО ВАМ... ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ СТАЛИ МУЖЧИНОЙ...
352. Рогдай раскрывает чемодан, вынимает оттуда седло, револьвер... Он смотрит на Маффи с изумлением. Итальянец хлопает себя хлыстом по ногам.
353. ДА, ДА... БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ!

354. Рогдай продолжает разборку чемодана. Он вынимает флакон духов, бритвы, подусники, дамские подвязки, кружевные дамские панталоны и еще какую-то вещь, которую юноша бросает тотчас же обратно в чемодан. Маффи топает ногой:
355. БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ!..
356. Рогдай вытаскивает из чемодана бутылку абсента. Маффи разливает абсент, подносит бокал Рогдаю и кричит грозно:
357. ДЕТИ ПЬЮТ МОЛОКО, ЛОШАДИ ПЬЮТ ВОДУ, МУЖЧИНЫ ПЬЮТ АБСЕНТ… БУДЬТЕ МУЖЧИНОЙ!
358. Растерявшийся Рогдай чокается с антрепренером, который кричит ему:
359. ПЬЮ ЗА МУЖЧИНУ!..
360. Пьют. Нога Маффи уперлась в кожаное сиденье кресла, сиденье уходит все глубже под давлением сильной длинной ноги. Кожа лопается, обнажаются пружины.
361. Рогдай выпил абсент, покачнулся. Итальянец наливает ему еще стакан и заставляет выпить. Лицо Маффи искажено тиком, дергающим его лицо, он повелительно следит за тем, как пьет Рогдай. Юноша выпил до дна, покачнулся, захохотал. Маффи наклоняется над Рогдаем.
362. А ТЕПЕРЬ, ЦЫПЛЕНОК, МЫ ПОЕДЕМ К ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ИЗ ВАС МУЖЧИНУ…
363. Лицо Маффи медленно поворачивается, и тогда зритель видит, что одно ухо у Маффи отрезано.
364. Щека с отрезанным ухом. Диафрагма.

365. Вестибюль отеля «Империя». Портье, похожий на Наполеона, смотрится в зеркало, поправляет на лбу свой наполеоновский клок, снимает телефонную трубку.

366. Контора для найма прислуги и кормилиц, у стены три сонных немки кормилицы. Все трое сложили руки на животах; толстыми рабочими руками они подпирают тяжелые груди. У конторки хозяйка заведения — сухопарая немка с желтыми взбитыми волосами и вставным немигающим глазом. Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку. Лицо ее разворачивается, как длинная пружина, и на конце этой пружины — давно приготовленный восторг.

367. Портье у телефона:

368. ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ФРАУ ПУТЦКЕ. НАМ В ОТЕЛЬ НУЖНА ДЕШЕВАЯ ГЛАДИЛЬЩИЦА И ОДИН ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЙ ИСТОПНИК...

369. Глаза фрау Путцке. Один глаз бойко ворочается в орбите, другой, стеклянный, сохраняет голубую неподвижность.

369а. Фрау Путцке кланяется и потрясает трубкой.

370. Я ЖДУ НЕ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА ПАРТИЮ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ КЕНИГСБЕРГА. ЭТО ДУРНЫЕ ЛЮДИ, НО ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ...

371. Одна из кормилиц уснула, опустила руки. Необъятная ее грудь расползается все шире, перекрывает живот.

372. Портье согласен получить дурных, но дешевых людей. Он кладет трубку, принимается за писание счетов, но

конторка его шатается, одна ножка стола чуть короче остальных.

373. По лестнице спускается Маффи и захмелевший Рогдай.
374. Из-за угла вылетел автомобиль Маффи. В трепещущих его лучах возник и заметался старенький глуховатый почтальон. Автомобиль подкатывает к подъезду отеля.
375. Маффи и Рогдай направляются к автомобилю. Пьяный Рогдай останавливает почтальона, кладет руку ему на плечо и спрашивает с блаженной улыбкой:
376. БЫЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ СЧАСТЛИВЫ, ГОСПОДИН ПОЧТАЛЬОН?
377. Удивленный почтальон недослышал. Он глуховат. В руках его пачка писем и газет. Старик поспешно вынимает вату из ушей.
378. Изображение газеты в руках почтальона. Начальные строки одного из объявлений: «Эмигрантка Рахиль Монко разыскивает...»
379. Рогдай хохочет, повторяет вопрос. Почтальон разводит руками. Был ли он когда-нибудь счастлив? Не приходилось. Почтальон кланяется подвыпившим господам, закладывает вату в уши, входит в здание гостиницы.
380. Маффи и Рогдай садятся в автомобиль, уезжают.
381. В вестибюле отеля почтальон кладет на конторку портье кипу писем и газет, уходит. Портье занят своей работой, его бесит неустойчивость столика, все время шатающегося. Он разрывает только что полученную газету, подкладывает ее под ножку столика, сразу

ставшего устойчивым. Обрывок газеты отвалился и лежит в стороне.

382. Изображение оторванного куска газеты. Начало объявления:
383. ЭМИГРАНТКА РАХИЛЬ МОНКО, ОТБЫВШАЯ КАТОРГУ В НЕРЧИНСКЕ, РАЗЫСКИВАЕТ ЛЬВА РАТКОВИЧА, УРОЖЕНЦА МЕСТЕЧКА ДЕРАЖНИ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: КЕНИГСБ...
384. Портье пишет, облокотившись о стол, который больше не шатается.
385. Ночной сияющий Берлин. В высоте вращающийся электрический круг: ЛЕО РОГДАЙ.
386. Автомобиль Маффи вьется в потоках карет, трамваев, грузовиков.
387. Внутренность автомобиля. Между пьяным Рогдаем и Маффи — азартная карточная игра. На полу автомобиля валяются деньги. Машину трясет, игроки, не обращая на это никакого внимания, стукаются о притолоку, продолжают игру.
388. Сильный толчок. Рогдай подпрыгнул, цилиндр его вонзился в гвоздь, прибитый к верху автомобиля, и повис на гвозде. Рогдай вытаскивает одну кредитку за другой и бросает их на сиденье. Цилиндр его висит на расстоянии полуметра от головы. Маффи мечет банк.
389. Шофер поворачивает голову; улыбаясь, следит он за необычайной игрой.
390. Игра продолжается. Выигрывает Маффи.

391. Вдали на черном фоне неба вращаются уменьшенные расстоянием электрические буквы: ЛЕО РОГДАЙ.
392. Рогдай швырнул пачку кредиток, среди них карточка Рахили Монко. Пьяный Рогдай не видит карточки. Большая рука Маффи прикрыла деньги, он сдает, выигрывает, сгребает кредитки, отшвыривает карточку.
393. Подъезд виллы Гренне. Над табличкой «ВИЛЛА ГРЕННЕ» электрическая лампочка.
394. Аллея, усаженная платанами. Сноп света. Засверкавшая листва деревьев. Автомобиль Маффи взлетает на пригорок.
395. Внутренность автомобиля. Карточка Рахили завалилась за ковер. Рогдай снимает с гвоздя цилиндр и криво нахлобучивает его на лоб.
396. Автомобиль Маффи останавливается у подъезда виллы Гренне. Маффи и Рогдай входят в дом.
397. Передняя в доме баронессы Гренне. Швейцар, рослый малый с прекрасной и двусмысленной физиономией, открывает парадную дверь. Входят Рогдай и Маффи, они отдают швейцару пальто.
398. Вешалка в передней баронессы Гренне. Цилиндры, выстроившиеся в ряд.
399. Цилиндры, снятые сверху, тусклый блеск на черном шелку. В цилиндре Рогдая — дыра.
400. Маффи разделся, побежал вверх по лестнице. Он берет по три ступеньки сразу.
401. Швейцар осведомляется у Рогдая: как доложить?
402. ДОЛОЖИТЕ БАРОНЕССЕ: РОГДАЙ.

403. Образ Христа, освещенный таинственно и тускло. Картина итальянского мастера эпохи кватроченто. У прибитых ног Христа головы двух девушек-подростков, склонившихся над рукоделием. В волосах у них пышные банты.
404. Вечер. Салон баронессы Гренне. Салон убран просто, роскошно, с достоинством и вкусом. У стола благостный патер читает вслух книжку Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона».
405. Титульный лист книги.
406. Патера слушают — старая баронесса, величественная дама с важным лицом, и две дочери-подростки (пышные банты в волосах, туфли на низких каблуках и проч.). Старуха слушает внимательно и улыбается ласково, чуть заметно, девочки хохочут. У другой стены два аристократических старика с орденскими лентами. Один из них худ, длинен, многоволос, другой тучен, короток, плешив, но оба неуловимо как-то похожи друг на друга. Входит лакей, докладывает:
407. ГРАФ ДЕ РОГДАЙ.
408. Старушка откладывает рукоделие, идет навстречу гостю. Старики с орденскими лентами приосаниваются. Патер прекращает чтение. Старушка представляет гостя своим домочадцам, подводит к дочерям.
409. МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ЗНАКОМСТВУ С ТАКИМ ПРОСЛАВЛЕННЫМ ВИРТУОЗОМ.
410. Девочки делают книксен. Рогдай знакомится с патером, баронесса представляет его длинному старичку:
411. ГРАФ САН-САЛЬВАДОР.

412. Церемонное представление. Баронесса представляет скрипача второму старичку, короткому:
413. БАРОН САНТ-ЯГО.
414. Церемонное представление. Рогдая усаживают и предлагают ему послушать «Тартарена из Тараскона».
415. Коридор в доме Гренне. Маффи останавливается у двери, стучит, требует: откройте.
416. Угол комнаты Эллен, дочери баронессы Гренне. Зеркало. В зеркале отражаются обнаженные прекрасные плечи Эллен.
417. Полуодетая Эллен. Она молода и очень красива. Эллен услышала стук. В ужасном волнении бросается она к шкафу, нервически перебирает платья, отбрасывает их, груда платьев вырастает на полу. Эллен останавливается на простом черном платье.
418. Маффи у закрытой двери. Он колотит себя хлыстом по ноге. Эллен выходит из комнаты... Прелестным девическим движением она протягивает Маффи обе руки. Чувства силы, юности, красоты делают ее счастливой. Маффи бормочет что-то, берет ее за руку, медленно оборачивает вокруг себя.
419. КАКОЕ ДРЯННОЕ ПЛАТЬЕ...
420. говорит он и хлопает себя по ноге все сильнее. Эллен отшатывается от него.
421. Изображение Христа. Девочка, дочь баронессы, очень внимательно рассматривает в лорнет...
422. Рогдая, ерзающего в своем кресле.
423. Патер читает с упоением. В особенно забавных местах он поднимает палец кверху.

424. Бархатная портьера, отделяющая салон от другой комнаты, раздвигается. Появляется лицо Эллен — ослепительное и бледное.
425. В салон входит Маффи, за ним Эллен в декольтированном платье. Длинный пояс, расшитый золотом, волочится за ней по полу. Рогдай вскочил. Он смотрит на Эллен во все глаза. Маффи, играя хлыстом, говорит Эллен:
426. ПЕРЕД ВАМИ, БАРОНЕССА, ТОТ САМЫЙ ЛЕО РОГДАЙ, ПОТРЯСАЮЩАЯ ИГРА КОТОРОГО...
427. Юноша не может оторвать от Эллен ослепленных глаз. Он медленно целует ее руку. В это мгновение швейцар подает ему карточку Рахили.
428. ИЗВОЛИЛИ УРОНИТЬ... говорит швейцар и кланяется. Смущенный Рогдай выхватывает у него карточку, сует ее в карман. Эллен обращает к Маффи глаза, полные обожания и страха.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ

429. Елка на столе. Несколько игрушек висят на ветвях ели.
430. В салоне баронессы Гренне. Эллен, младшая ее сестра Августа и Рогдай украшают елку. Они веселы, дурачатся, разбивают хлопушки.
431. Эллен взбирается на стол, водружает на вершине елки деда мороза, осыпает дерево искусственным снегом. Рогдай прилаживает свечки. Он отрывается от работы, чтобы взглянуть в сторону хохочущей, раскрасневшейся Эллен. Взгляд его очень ласков.

432. Передняя в доме баронессы. Швейцар полирует себе ногти.
433. Маленький Кальнишкер звонит у парадной двери.
434. Швейцар впускает посетителя. Кальнишкер спрашивает:
435. МОЖНО ВИДЕТЬ СИНЬОРА МАФФИ?
436. Посетитель произвел на лакея невыгодное впечатление. Ничего не ответив, он снова принимается за чистку ногтей и бурчит между делом:
437. СИНЬОР МАФФИ НИКОГО НЕ ПРИНИМАЕТ.
438. Ледяной этот прием нисколько не охладил маленького Кальнишкера. Он раскланивается и кротко заявляет:
439. Я ПОДОЖДУ…
440. Кальнишкер неторопливо раздевается, он пытается повесить на вешалку свое пальто, но это ему не удастся, потому что Кальнишкер мал ростом, ему не достать до крючка. Кальнишкер подтаскивает к вешалке бархатную скамеечку для ног, становится на нее, вешает пальто и котелок и садится в сторонке на высокое кресло. Коротенькие его ноги не достают до полу. На лице Кальнишкера непреоборимое терпение.
441. Лакей презрительно отворачивается от посетителя.
442. Коротенькие ноги Кальнишкера болтаются над полом.
443. Эллен и Рогдай обряжают куклу, натягивают на нее чулочки и модные подвязки. Они отставляют куклу и любуются делом своих рук.
444. Коротенькие ноги Кальнишкера болтаются над полом.
445. Лакей ведет себя не менее хладнокровно, чем Кальнишкер. Он встает, вытаскивает из кармана Кальнишкера

часы, смотрит — который час? Кальнишкер поднимает на него невыразительные глаза.

446. Я ПОДОЖДУ...

447. говорит Кальнишкер, болтая ножками. В это мгновение дверь распахивается, и в переднюю влетает Маффи. Он сразу потускнел, увидев Кальнишкера. Маленький человек приближается к итальянцу мелкими шажками и отвешивает низкий поклон.

448. Эллен и Рогдай обряжают для елки куклу — большого Бэби с надутыми щеками и жирным животом. Дурачась, они одевают кукле лифчик, панталоны, взбивают ей прическу.

449. Маффи разглядывает Кальнишкера. Тик трогает его лицо. Он вынимает точно так же, как это сделал раньше его лакей, часы из жилетного кармана Кальнишкера и смотрит — который час? Он думает — ударить или заплатить проигрыш? Кальнишкер все в той же позиции с склоненной расчесанной головкой. Маффи бежит к лестнице, Кальнишкер семенит за ним.

450. Эллен и Рогдай одели наконец куклу; она теперь в платье, в манто, с зонтиком. Рогдай, смеясь, прижимает ее к груди. В это мгновение в салон входит Маффи. Эллен выхватывает из коробки другую куклу и с радостным сияющим лицом бежит навстречу Маффи. Она протягивает ему обе руки, но итальянец отходит в сторону, чтобы дать место Кальнишкеру. Маффи:

451. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, БАРОНЕССА, С ГЕРРОМ КАЛЬНИШКЕРОМ... ОН ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ ФАРФОРА...

452. Эллен побледнела, уронила куклу. Кальнишкер поднимает куклу с пола. Трепеща, Эллен подает Кальнишкеру руку, они уходят. Рогдай бросается вслед за ними. Маффи его останавливает:
453. СОГЛАСНО НАШЕМУ ДОГОВОРУ...
454. говорит Маффи, глядя на Рогдая в упор.
455. По коридору, уставленному статуями и пальмами, идут Кальнишкер и Эллен. У Кальнишкера в руках кукла, он острит очень достойно. Эллен молчит. Лицо ее недвижимо и бледно.
456. Маффи говорит Рогдаю, прижимающему к груди куклу, одетую в манто:
457. ПО НАШЕМУ ДОГОВОРУ, МИЛЫЙ РОГДАЙ, ВЫ УЕЗЖАЕТЕ СЕГОДНЯ В ТУРНЕ ПО ФРАНЦИИ И АНГЛИИ И ПОЭТОМУ...
458. Кальнишкер и Эллен входят в будуар Эллен. Она предлагает гостю садиться.
459. Рогдай не выпускает куклы из рук. Маффи поворачивается к нему вполоборота. Краешек отрезанного уха виден зрителю.
460. И ПОЭТОМУ ВЫ НЕ УСПЕЕТЕ ОСМОТРЕТЬ КОЛЛЕКЦИЮ БАРОНЕССЫ ЭЛЛЕН...
461. Маффи поворачивается к зрителю изуродованной щекой.
462. Отрезанное ухо. Из него...
463. Перебирая зыбкими ножками выходит чудовищно уродливая, крохотная, взлохмаченная, аристократическая собачонка.

464. Шесть разодетых собак и две старых кротких англичанки шествуют, направляясь к выходу, по вестибюлю отеля «Империя». Портье выбегает из-за конторки, пропускает в вертящиеся двери одну за другой шесть утомленных собак и двух англичанок. Дверь вертится медленно, последняя собака исчезает в летящих крыльях двери, и вслед за ней в вестибюль вваливается ошеломленный Баулин с узелком, за Баулиным — Рахиль. Портье накидывается на Баулина — что вам нужно здесь? Баулин протягивает ему письмо.
465. ОТ ФРАУ ПУТЦКЕ...
466. Портье водружает на носу пенсне, висящее на шелковой ленте. Он читает письмо, окидывает Баулина критическим оком. Баулин постарел, ослабел, оброс бородой. Портье:
467. ВЫ БУДЕТЕ У НАС ИСТОПНИКОМ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ.
468. Потом портье обращается к Рахили. Он приятно удивлен ее лицом, простым и тонким. Ему хочется убедить ее в том, что и он человек с необыкновенными чувствами. Портье поправляет свой шелковый шнурок и говорит, расшаркиваясь:
469. АХ, СУДАРЫНЯ, В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ ЛЮДИ С МОЕЙ НАРУЖНОСТЬЮ СТАНОВИЛИСЬ ИМПЕРАТОРАМИ, А ТЕПЕРЬ...
470. Портье разводит руками. Он недоволен XX веком.
471. В вестибюль гостиницы входят Маффи и Рогдай. Рахиль стоит к ним спиной. Они поднимаются по лестни-

це. Пройдя несколько ступеней, Рогдай останавливает Маффи.

472. ЧТО ЭТО ЗА КОЛЛЕКЦИЯ ФАРФОРА У БАРОНЕССЫ ЭЛЛЕН?..
473. Маффи пренебрежительно машет рукой, он берет с маху три ступеньки и исчезает. Рогдай останавливается; мысль о коллекциях фрейлейн Эллен не дает ему покоя.
474. Рахиль продолжает разговор с портье. Вдруг она спрашивает его:
475. МОЖНО МНЕ ПРОТЕЛЕФОНИРОВАТЬ В АДРЕСНЫЙ СТОЛ?
476. Портье удивлен, но он отвечает — пожалуйста. Рахиль входит в телефонную кабинку, снимает трубку...
477. Рогдай медленно спускается по лестнице. Он входит в телефонную кабинку, расположенную рядом с первой.
478. Рахиль у телефона:
479. АДРЕСНЫЙ СТОЛ? СООБЩИТЕ МНЕ АДРЕС ЛЬВА РАТКОВИЧА, РУССКОГО ПОДДАННОГО...
480. Стеклянное окошечко в перегородке, отделяющее одну кабинку от другой. Сквозь окошечко виден затылок Рахили и спина Рогдая.
481. Рогдай у телефона.
482. Салон Гренне. Старая баронесса подходит к телефону.
483. Рогдай у телефона:
484. МОЖНО ПОПРОСИТЬ БАРОНЕССУ ЭЛЛЕН?..
485. Старуха, кивая головой, отходит от телефона.
486. Помещение адресного стола. Барышня ищет фамилию Ратковича, палец ее задерживается у фамилии Рогдай,

ползет дальше, она не находит нужной фамилии, говорит в телефон:
487. ЛЕВ РАТКОВИЧ, ВЫХОДЕЦ ИЗ РОССИИ, У НАС НЕ ЗНАЧИТСЯ...
488. Рахиль вешает трубку, выходит из кабинки.
489. Портье обращается к Рахили:
490. ВЫ БУДЕТЕ У НАС ГЛАДИЛЬЩИЦЕЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ...
491. Портье велит номерному отвести Рахиль в помещение для прислуги. Рахиль, Баулин и номерной уходят.
492. Рогдай ждет у телефона.
493. Стеклянная матовая дверь комнаты Эллен. Старая баронесса подходит к двери, хочет постучать, но в это мгновенье в комнате Эллен гаснет свет.
494. Рогдай ждет у телефона.
495. Старая баронесса подходит к телефону:
496. ПРОСТИТЕ, У ЭЛЛЕН СЕЙЧАС УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
497. Рогдай опускает трубку, он забыл положить ее на телефон.
498. Телефонная трубка болтается у стены.
499. Номерной и Рахиль спускаются вниз в подвал. Мраморная лестница, перекрытая ковром, сменяется цементной лестницей, еще ниже идут осклизлые, темные, разбитые ступени, забросанные всякой дрянью. Номерной и Рахиль минуют подземелье, подходят к двери, заколоченной бревнами. Номерной потянул дверь к себе. Из комнаты вырвалась туча пара. Рахиль отшатнулась.

500. ЧТО ЭТО?
спрашивает она у номерного.
501. ЭТО ПРАЧЕЧНАЯ...
отвечает служитель, берет ее за руку...
502. вводит в густую смрадную завесу из пара и дыма. В обширном подземелье, в мощных, все заволакивающих столбах пара, колеблются неясные, скрюченные очертания людей. Вдали в непроницаемом тумане едва намечаются бредущие фигуры номерного и Рахили.
503. Служитель подводит Рахиль к большому гладильному столу. У стола зияет отверстие трубы, через которую подается в прачечную грязное белье. Из трубы сыплются ночные рубахи, измятые простыни. Рахиль отступает.
504. Я НЕ БУДУ РАБОТАТЬ В ЭТОМ АДУ...
505. кричит она. Служитель смеется.
506. ТОГДА СНИМИТЕ СЕБЕ, ФРЕЙЛЕЙН, НОМЕР В БЕЛЬЭТАЖЕ...
507. Довольный своей остротой, он смеется все громче. Из клубящегося тумана выползают один за другим китайцы, голые до пояса, с дымящимися, пенящимися руками. Они подбираются к Рахили совсем близко, клубы пара колеблют смутные линии желтых их тел, китайцы, глядя на хохочущего лакея, медленно растягивают рты и усмехаются. В это мгновение из трубы вываливается громадная куча белья и погребает под собой Рахиль.
508. Экран окутан паром. Два огненных луча пробиваются сквозь пелену тумана, движутся и растут.

509. По ослепительной Фридрихштрассе мчится автомобиль. Рядом с сиденьем шофера свалены чемоданы. В автомобиле Маффи и Рогдай. Они едут на вокзал.

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ

510. ПОСЛЕ ПОБЕДНОГО ШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ РОГДАЙ ВЕРНУЛСЯ В БЕРЛИН И ОБЪЯВИЛ ТАМ СВОЙ ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ.
511. Берлин. Ночь. Площадь перед театром. Освещенная громада театра. Толпа бурно атакует главный подъезд.
512. Капельдинеры сдерживают у закрытых дверей натиск толпы. По обеим сторонам подъезда афишные столбы. На них наклеены афиши о концерте Лео Рогдая. Уличные мальчишки забрались на афишные столбы. Они ждут момента, когда можно будет нырнуть в толпу и пробраться в театр зайцами.
513. Мальчишки, свесившиеся с афишных столбов. На афише о концерте Лео Рогдая — дата: 9 МАРТА 1914 ГОДА.
514. Боковые подъезды театра. Цепь зеленых газовых фонарей. Съезд аристократической публики.
515. Вереница автомобилей и карет, вытянувшихся у подъезда.
516. Помещение кассы. Хвост у кассы. Кассир выдает последний билет, вывешивает табличку об аншлаге и захлопывает окошечко.

517. Бурлящая толпа перед главным подъездом. Конные шуцманы врезываются в толпу.
518. Угол уборной, где сидит Рогдай. Сумрак. Настольная лампа прикрыта абажуром. Рогдай сидит спиной к зрителям. Длинные ноги его вытянуты, голова упала. Лицо Рогдая медленно поворачивается к зрителю. Призрачное, страстное, худое — оно неузнаваемо изменилось за год.
519. ПОСЛЕ ГОДА СЛАВЫ И ГОДА ДРУЖБЫ С СИНЬОРОМ ВИТТОРИО МАФФИ.
520. Скрипач протягивает узкую руку к бутылке вина. Рядом с вином лежит скрипка и смычок. Рогдай во фраке, в бальных туфлях. Он рассматривает этикетку на бутылке, лицо его дергается. Он говорит подбежавшему лакею:
521. УБЕРИТЕ ЭТУ ВОДИЦУ, ДАЙТЕ МНЕ АБСЕНТУ...
522. Капельдинер уносит вино.
523. Скрипка, смычок. Пальцы Рогдая перебирают струны.
524. Лакей приносит другую бутылку. Рогдай наливает себе абсент, пьет.
525. Длинное запрокинутое горло Рогдая, раздувающееся от вливаемого в него спирта.
526. Главный подъезд театра. Капельдинеры открывают двери. Толпа врывается в вестибюль. Люди теснят друг дружку, работают локтями.
527. Мальчишки соскальзывают с афишных столбов и по головам, по спинам публики пробираются в вестибюль.

528. Одна из боковых лестниц театра. Вверх по лестнице несутся измятые, возбужденные люди. Передовой потрясает обломком трости.
529. Другая лестница. Множество людей, в их числе Баулин и Рахиль, — бегут на галерею.
530. Ослепительно освещенный театральный зал. Из всех дверей вливаются потоки людей.
531. В фойе. Профессор Рети, нисколько не утративший своей восторженности, внушает окружающей его молодежи:
532. ОН БЫЛ МОИМ УЧЕНИКОМ, ГОСПОДА...
533. Вокруг старика сбивается толпа. Он с энтузиазмом рассказывает им о своем ученике, о чудесной его истории.
534. Группа русских занимает самые дешевые места на галерке. Они хохочут, толкаются и ведут себя так же, как ведет себя счастливая молодежь на всех галерках мира. Баулин дает Рахили апельсин, она надкусывает его.
535. Барьер ложи. На барьере резной веер, бинокль, отделанный жемчугами, длинная коробка конфет. Рука Эллен переламывает конфету и отбрасывает ее.
536. В ложе баронессы Гренне. У барьера застыла декольтированная, потрясающе бледная Эллен и старушка баронесса в черной наколке. В глубине ложи безмятежно спят граф Сан-Сальвадор и барон Сант-Яго, украшенные неизменными лентами и орденами.
537. Первые ряды кресел, дорогие ложи. Декольтированные женщины, лорнирующие друг друга. Тщательно вымытые и выбритые мужчины.

538. Русские наконец уселись. Рахиль доела свой апельсин. Она обращается к Баулину:
539. О РОГДАЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ОН ВЫХОДЕЦ ИЗ РОССИИ..
540. Баулин отвечает — не знаю; он протягивает Рахили еще один апельсин. Смеясь, она отдает Баулину половину.
541. Рогдай в уборной настраивает скрипку.
542. Зрительный зал. Публика на своих местах. Капельдинеры закрывают дверь. Люстры медленно гаснут.
543. Гаснущие люстры. Желтый, умирающий их свет.
544. Поднимается занавес. На сцене симфонический оркестр. Ждут дирижера.
545. Рогдай настроил скрипку. Он берет пальцами несколько аккордов, один тише другого, бросает скрипку и скрывается за портьерой. Вбегает капельдинер:
546. ВАШ ВЫХОД...
547. За портьерой Рогдай делает себе впрыскивание морфием...
548. На сцене. Дирижер подходит к пюпитру, оглядывается, ищет глазами Рогдая.
549. Капельдинер мечется по уборной Рогдая.
550. ВАШ ВЫХОД...
551. Рогдай выходит из-за портьеры. Он берет скрипку, бежит к выходу.
552. Зрительный зал. Тьма. Молчание. Сотни рук начинают аплодировать.
553. В далекой перспективе сияющая сцена. К рампе подходит крохотный, уменьшенный расстоянием Рогдай и раскланивается.

554. Руки Рахили разжимаются, из них выпадает программа и кусок апельсина.
555. Листок бумаги, колеблясь в воздухе, летит с галерки и падает в партер на чью-то шевелюру.
556. Лицо Рахили. Она подалась вперед, страшное волнение сотрясает ее. Она кричит:
557. ЛЕВУШКА...
558. Баулин зажимает ей рот.
559. В далекой перспективе сцена. Рогдай играет.
560. Кассир бежит по коридору. В руках у него плетеный железный ящик с деньгами.
561. Угол уборной Рогдая. Маффи проверяет корешки проданных билетов. Вбегает кассир и торжественно ставит перед Маффи ящик с деньгами.
562. АНШЛАГ, СИНЬОР МАФФИ, СУМАСШЕДШИЙ АНШЛАГ...
563. Маффи вынимает из ящика кучу денег, тик трогает его щеки, весь стол усеян кредитками.
564. Куча денег на столе. Большие белые руки Маффи прикрывают разбросанные кредитки, на указательном пальце Маффи блестит перстень благородной и редкой формы.
565. Блещущий бриллиант в перстне у Маффи. Из бриллианта...
566. Пальцы Рогдая, с дьявольской быстротой бегущие по струнам.
567. Восторженный профессор Рети всячески мешает своим соседям: он жестикулирует, подпевает, машет руками.

568. Бледное, искаженное, вдохновенное лицо Рогдая. Оно прижато к скрипке.
569. Пальцы Маффи, пересчитывающие деньги.
570. Скрипка Рогдая, поющий его смычок, растрепавшиеся волосы.
571. Пальцы Маффи, пересчитывающие деньги. На них ложится рука Эллен.
572. Маффи поднимает голову. Перед ним Эллен.
573. ВИТТОРИО...
574. говорит она с нежностью:
575. ...ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ МЕНЯ, ВИТТОРИО?..
576. Скрытая зевота раздувает челюсти и скулы Маффи. Он борется с зевотой, облетающей его лицо, и не сводит с Эллен внимательных глаз.
577. ЛЮ... ЛЮБЛЮ...
578. цедит он, нехотя сгибается и целует руку, на которой пальцы Эллен провели четыре кровавых истерических полосы.
579. Пальцы Рогдая, бегущие по струнам.
580. Потухшие люстры под расписным потолком театра. Лампочки наливаются желтым светом, разгораются.
581. Сотни аплодирующих рук. Отделение кончилось.
582. Лестница. Голые серые стены. Рахиль бежит вниз.
583. Рогдай в своей уборной. Он окружен толпой поклонников и поклонниц. Женщины аплодируют под самым его носом. Жестикулирующий, восторженный профессор Рети атакует его. Мимо них проходит Эллен. Рогдай расталкивает толпящихся вокруг него людей,

увлекает Эллен в глубь комнаты. Он спрашивает задыхаясь:

584. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, ЭЛЛЕН, — ДА ИЛИ НЕТ?..
585. Эллен вырывает руку, она рассеянно бормочет:
586. ДА, ДА, ДА...
587. И уходит.
588. Рахиль бежит вниз по лестнице, вдоль глухих серых стен.
589. Рогдай обращается к одному из хлыщей, хлопающих в ладоши под самым носом виртуоза:
590. ПОСЛУШАЙТЕ... Я ХОЧУ НАПИТЬСЯ СЕГОДНЯ...
591. Франт вытягивается в струнку и шутливо отдает честь:
592. ЕСТЬ, КАПИТАН...
593. У входа в уборную Рогдая. Капельдинер загораживает дорогу Рахили, пытающейся прорваться за кулисы.
594. ПРОПУСТИТЕ МЕНЯ К РОГДАЮ...
595. кричит она и отталкивает служителя; он замахивается. Из-за двери выглядывает Маффи.
596. ЧТО ЗДЕСЬ ЗА ЯРМАРКА?
597. Рахиль бросается к Маффи, она умоляет пропустить ее за кулисы. Маффи склоняется перед девушкой; поклон этот — очень светский, очень тонкий, едва заметный:
598. С КЕМ ИМЕЮ СЧАСТЬЕ?
599. Рахиль:
600. Я РАХИЛЬ МОНКО, ЗЕМ... ЗЕМЛЯЧКА РОГДАЯ...
601. Итальянец кланяется во второй раз, берет руку девушки, и прежде чем поднести к губам загрубелую эту, красную, с дурно остриженными ногтями руку, он оки-

дывает ее мгновенным боковым взглядом и задерживает трепещущие пальцы в своей большой и спокойной руке. Рахиль дергает руку, итальянец целует кисть ее на сгибе, кланяется в третий раз и говорит:

602. НЕ БУДЕМ ВОЛНОВАТЬ РОГДАЯ ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА, НЕ УГОДНО ЛИ ПОЕХАТЬ КО МНЕ, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ У МЕНЯ ЧЕРЕЗ ЧАС...
603. Рахиль пожимает руки Маффи. Итальянец вынимает из жилетного кармана пудреницу, карандаш для губ и протягивает их растерявшейся Рахили.
604. НЕ УГОДНО ЛИ ПОПРАВИТЬСЯ?
605. Рахиль отшатывается. Карман ее платья расстегивается, в кармане — дуло маленького браунинга.
606. Пальцы Маффи захлопывают крышку пудреницы.
607. Дуло браунинга, выглядывающее из кармана.
608. Маффи прячет пудреницу и карандаш для губ в жилетный карман и уводит Рахиль.
609. Подъезд театра. Автомобиль Маффи. В машине дремлет шофер. Ни лица, ни рук его не видно. Шофер закутан в шубу, возвышающуюся над рулем меховой бесформенной глыбой. Трудно угадать человека за этой торчащей шершавой скалой. К автомобилю подходят Маффи и Рахиль. Итальянец подсаживает девушку, захлопывает за ней дверцу, расталкивает шофера. Из невообразимой кучи меха не спеша высовывается маленькое морщинистое и удивительно равнодушное лицо шофера. Маффи говорит, куда ехать, и прыгает в автомобиль... Прожекторы автомобиля зажигаются.

Два стремительных луча ложатся на мостовую. Машина двинулась.

610. Ночь. Улица Берлина. В высоте вращается ослепительная электрическая скрипка с гигантскими буквами: ЛЕО РОГДАЙ.

611. Автомобиль Маффи выбрался из центра города. Он вьется между телегами, везущими на рынок битых свиней.

612. Усаженная платанами аллея возле виллы Гренне. Ночь. Колеблющиеся верхушки деревьев. Внизу на земле летит автомобиль Маффи, и впереди него летят две огненные стрелы прожектора.

613. Салон баронессы Гренне. Ночь. Венецианское окно. Луна плывет мимо окна и бросает мертвенный свой луч на статую, стоящую в нише у окна, на мраморное слепое лицо Аполлона.

614. Маффи и Рахиль выходят из автомобиля. Итальянец вынимает из вазочки, вделанной в стенку автомобиля, розу и преподносит ее Рахили.

615. Вестибюль в доме Гренне. Звонок. Швейцар открывает дверь. Маффи отводит швейцара в сторону и строго ему что-то наказывает. Лакей — рослый малый с прекрасным и двусмысленным лицом — искоса взглядывает на Рахиль.

616. Салон Гренне. Лакей открывает свет. Маффи указывает девушке место возле статуи Аполлона и сам растягивается в кресле против нее. Он закуривает сигару. Рахиль:

617. НЕ ПРАВДА ЛИ, МЫ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ РОГДАЯ ПОРВАТЬ КОНТРАКТ С ЕГО АНТРЕПРЕНЕРОМ?..

ОН СОВСЕМ БОЛЕН, ЕМУ НАДО ЛЕЧИТЬСЯ, НЕ ПРАВДА ЛИ?

618. Маффи утвердительно кивает головой. Дверь в салон слегка приоткрывается. Рахиль вскакивает, она застывает у статуи Аполлона.

619. В комнату входит полицейский чиновник. Рахиль всем телом подается вперед и видит полицейского и пробор его, расчесанный тщательно, до блеска. Маффи кланяется чиновнику, выхватывает из кармана Рахили револьвер, кладет его на стол и говорит, указывая на девушку:

620. ИМЕЮ ЧЕСТЬ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ РАХИЛЬ МОНКО, РУССКУЮ УГОЛОВНУЮ ПРЕСТУПНИЦУ, БЕЖАВШУЮ ИЗ РОССИИ И ПОДЛЕЖАЩУЮ НЕМЕДЛЕННОЙ ВЫДАЧЕ РУССКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ.

621. Лицо Рахили, обращенное к Маффи. Она выронила цветок, преподнесенный ей итальянцем. Смятая роза падает на браунинг.

622. Роза и револьвер.

ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ

623. На блюде красуется жареный гусь с плюмажем. Гусь этот служил для кутящей компании пепельницей. Он весь истыкан окурками.

624. Блюдо с нетронутым гусем стоит посредине стола, заброшенного посудой, залитого вином. Рука Рогдая втыкает в гуся дымящуюся папиросу.

625. Отдельный кабинет ресторана. Рассвет. Остатки постыдного пиршества. Рогдай, шатаясь, делает несколько шагов.
626. Он переступает бездыханное тело валяющегося на полу человека. Спящий подогнул ноги, он закусил бифштекс, наколотый на вилку, и так и заснул.
627. Разгорающееся небо. Восход солнца,
628. Улица в Берлине. Одинокий дворник метет тротуар у отеля «Империя». Дворник облокачивается на метлу, заворачивает рубаху, чешет голый живот и, подняв всклокоченную голову к небу, зевает, долго, упрямо, с дрожью.
629. Сквозь ветви озаренных солнцем деревьев виден котел для выварки цемента. В котле, спутавшись, перемешавшись грязными телами, спят беспризорные ребята. Один из них проснулся, чихнул, протянул к небу черные, тонкие руки и подмигнул пьяному, прислонившемуся к котлу. Пьяный этот — Рогдай. На нем фрак, бальные туфли и смятый цилиндр, надвинутый на лоб.
630. Рогдай приподнимает цилиндр, мутные его глаза бессмысленно устремлены на подмигивающего мальчика; он уходит шатаясь.
631. Конура Баулина рядом с камерой парового отопления. Комната изрезана вздутыми жилами — трубами от котлов. Комната стиснута пыльными лапами труб. Бородатый, плохо одетый человек русского обличья, расхаживает по комнате. В неутомимом его хождении чувствуется давнишняя тюремная сноровка. Он про-

топтал полосу от одного угла к другому... Отлакированная полоса мерцает на выщербленном полу. Рядом с конурой — камера парового отопления. Баулин возится у котлов.

632. Баулин растапливает котел, разбивает молотом уголь. Он работает рассеянно и по недосмотру колотит по башмакам, брошенным рядом с грудой угля. Истопнику невмочь работать, тоска одолевает его. Он превратил башмаки в блин и не видит этого. Баулин бросает молот, идет в свою комнату. Бородатый человек приостанавливает бег, он говорит, глядя на Баулина в упор:

633. ИТАК, ТОВАРИЩ БАУЛИН, МЫ НЕ ВОЗРАЖАЕМ ПРОТИВ ОТЪЕЗДА ВАШЕГО В РОССИЮ НА НЕЛЕГАЛЬНУЮ РАБОТУ...

634. Баулин кивает головой. Он подходит к окну, вырезанному высоко в стене под потолком. В окно видны заплетающиеся ноги в бальных туфлях, ноги Рогдая.

635. Прачечная в отеле «Империя». Китаец заснул над грудой выглаженных им крахмальных мужских рубах. Тонкая струйка слюны вытекает изо рта спящего и растекается по сияющей манишке. Стол Рахили свободен. В комнату входит Баулин. Он склоняется над столом Рахили, смотрит на часы, показывающие четвертый час утра.

636. Солнце всходит над платановой аллеей, ведущей к дому Гренне.

637. Рогдай, путаясь в деревьях, пробирается к вилле.

638. Вестибюль в доме баронессы. Вещи и мебель разбросаны в беспорядке. Уборка. Стулья поставлены на столы, вешалка отодвинута. Вдоль стены крадется Рогдай.
639. В коридоре. Рогдай натыкается на бархатную портьеру, отделяющую одну из комнат от коридора. Из комнаты доносятся голоса... Рогдай слушает, цепенеет.
640. Комната баронессы Гренне. Маффи в бешенстве колотит хлыстом по столу. Перед ним в служебных позах баронесса, граф Сан-Сальвадор и барон Сант-Яго. Маффи кричит:
641. ВСЕ, ЧТО Я ЗАРАБАТЫВАЮ НА КОНЦЕРТАХ РОГДАЯ, УХОДИТ НА ВАШУ ЗЛОВОННУЮ ДЫРУ... С ВОСКРЕСЕНЬЯ ПОВЫСИТЬ РАСЦЕНКУ НА ЖЕНЩИН. НА ЭЛЛЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ...
642. Маффи размахивает хлыстом перед самым носом баронессы.
643. Рогдай заворачивается в портьеру.
644. Маффи трясет графа Сан-Сальвадор.
645. А ВАС Я ВЫГОНЮ И ВОЗЬМУ НА ВАШЕ МЕСТО ЭКС-КОРОЛЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО...
646. Шевелящаяся портьера. За тяжелыми ее складками содрогающееся тело Рогдая.
647. Ободранный граф Сан-Сальвадор отступает перед разъяренным своим повелителем. Старик, перепуганный насмерть, крестится мелким частым крестом.
648. Рогдай пробирается вдоль стены. Видна только сутулая его спина.

649. В коридоре старинные часы бьют четыре. Кукушка кивает бойко головой.
650. Рогдай открывает дверь в комнату Эллен и отшатывается.
651. Край неба. Восход солнца.
652. В комнате Эллен. Она спит в постели с Кальнишкером.
653. Рогдай пробирается к ночному столику, где в стакане воды лежит искусственная челюсть Кальнишкера. Рогдай берет челюсть, пальцы его сжимаются.
654. Пальцы Рогдая сжимают челюсть Кальнишкера. Диафрагма.
655. Из диафрагмы: слепое мраморное лицо Аполлона.
656. Письменные принадлежности, разложенные с необыкновенной тщательностью и любовью: чернильница, стопка ручек и карандашей, тряпочка для обтирания перьев, аккуратно нарезанная бумага, пресс-папье, машинка для оттачивания карандашей.
657. Салон баронессы. Допрос Рахили полицейским чиновником. Рахиль прижалась к статуе. Чиновник пишет протокол — много часов. Он пишет медленно, каллиграфически, забыв обо всем на свете. Почерк его — дьявольской красоты.
658. ИТАК, ВЫ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, А НЕ УГОЛОВНАЯ?..
659. спрашивает чиновник и, получив утвердительный ответ, снова начинает разрисовывать исписанные листы, похожие больше на японские гравюры, чем на рукопись.

660. Рахиль обнимает мраморные ноги Аполлона. Статуя чуть-чуть сдвинулась с деревянного своего основания.
661. Рогдай входит в гардеробную комнату Эллен. Он открывает платяной шкаф и перебирает платья, висящие на плечиках.
662. Раскрытый шкаф Эллен. Вещи светской женщины. Туфли, платья, духи, перчатки.
663. Рогдай находит платье, в котором была Эллен, когда они познакомились, платье с длинным расшитым золотом поясом.
664. Баронесса Гренне и старички выходят гуськом из комнаты... Разъяренный итальянец бросает им вслед хлыст и попадает в согбенную спину Сан-Сальвадора.
665. В гардеробной Эллен. Рогдай снимает со стены портрет, изображающий его в пору юности и силы. В стену вбит крюк.
666. Крюк на стене.
667. В салоне. Чиновник кончил четвертую страницу и собирается писать пятую. Не спеша промокает он исписанный лист, любуется им, встряхивает его. В комнату входит Маффи.
668. ВЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ?
669. Чиновник, брошенный с небес на низменную землю:
670. ФРЕЙЛЕЙН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОНА ИМЕЕТ ЧЕСТЬ БЫТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНИЦЕЙ. Я ПИШУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
671. Маффи зевает, машет рукой.
672. КОНЧАЙТЕ И УВЕЗИТЕ ЕЕ... ПОРА СПАТЬ...

673. Маффи снимает с себя фрак, кидает его. Фрак зацепился за статую и повис на руке Аполлона. На тахте для Маффи приготовлена постель. На ночном столике выставлено все, что бывает нужно ночью сорокалетнему мужчине, т. е. облатки, бутылка содовой воды, французский роман, халат и проч. и проч. Итальянец расстегивает воротник. Морщится, воротник сидит туго.
674. Рахиль, не отходя от статуи Аполлона, спрашивает Маффи:
675. ГДЕ РОГДАЙ?
676. Маффи швырнул воротник, наливает себе содовой воды и отвечает:
677. РАЗВЕ Я СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ, АВЕЛЮ?..
678. Статуя Аполлона сдвинулась с места. Рахиль уперлась в нее плечом, она сбрасывает с пьедестала саженную фигуру. Статуя Аполлона падает на пол, на тахту, разбивает голову Маффи, разлетается на множество кусков.
679. Рахиль повалила Маффи на тахту. Она царапает ему лицо и кричит:
680. ГДЕ РОГДАЙ?
681. Голова Маффи разбита, глаза залеплены. Рахиль душит его, чиновник набрасывается на девушку, зажимает ее в наручники.
682. Окровавленный, ослепленный Маффи щупает руками воздух. Он приподнимается и ползком тащится к Рахили.
683. Полицейский волочит по полу отбивающуюся Рахиль. Вышибает дверь и у портьеры в соседней комнате натыкается на чьи-то ноги.

684. Тело Рогдая, повесившегося на поясе, расшитом золотом, покачнулось от толчка. Оно медленно вертится и поворачивается удавленным лицом к зрителю.
685. Рахиль заглянула в лицо самоубийцы, подняла кверху руки, закованные в кандалы, и упала на пол.
686. Маффи ползет за Рахилью следом. Он нащупывает в кармане револьвер, вынимает его и стреляет не целясь.
687. Рука Рогдая, сжимавшая челюсть Кальнишкера. Пуля пробивает руку, пальцы мертвеца разжимаются, выпускают челюсть. Тело удавленника вертится и оборачивается спиной. Диафрагма.
688. Конура Баулина. Бородатый человек, примостившись у труб, чинит свои штаны, он зашивает их неумелыми, мужскими, солдатскими стежками и изредка взглядывает в сторону камеры парового отопления, где Баулин разводит котлы.
689. Баулин у пылающего котла. В подвал тихонько входит Рахиль... Она снимает косынку с головы. Голова ее седа. Она прислонилась к стене, молчит, потом спрашивает, не поднимая головы:
690. КУДА ТЕПЕРЬ?..
691. Пламя разгорающихся углей. Баулин отвечает:
692. ТЕПЕРЬ В РОССИЮ...
693. В переплете труб лицо бородатого человека, склонившегося над штанами. Он скосил глаза в сторону Баулина и снова отвел их.
694. Полоса на полу, протоптанная Баулиным и его другом.

Блуждающие звезды

Рассказ для кино

Брянский вокзал в Москве. Над стеклянным навесом вокзала — ночь. К перрону подходит киевский поезд. Перронная толчея, перронная любовь — и носильщики, мгновенные провожатые нашей любви. Носильщики катят тележки, заполненные тюками битой птицы и живой птицы в клетках. Девушка, приехавшая из еврейского местечка Деражни, запуталась в скрежещущих потоках и преградила им путь. Девушку зовут Рахиль Монко. Тележки виляют вокруг нее с железным лязгом и чертят молнии.

— Видать нашенских, — ревет носильщик над ухом Рахили и, грохоча, несется дальше. Носильщик этот мал ростом, твердое его лицо похоже на все лица в мире и ни на кого не похоже, а голос его чист, громаден, полон победы и бешенства.

— Видать нашенских из Царевококшайска, — ревет носильщик и, грохоча, несется дальше. Машины грома заведены над Рахилью, она валяется в ногах у перронной любви, все эскадроны ночи стучат копытами по стеклянному навесу Брянского вокзала.

Рахиль Монко приехала из местечка Деражни затем, чтобы поступить на Московские Высшие Женские курсы или, если это не удастся, то в зубоврачебную школу. Лицо у Рахили

такое же, какое было у Руфи, жены Вооза, у Вирсавии, наложницы Давида, царя Израильского, или у Эсфири, жены Артаксеркса. В Москву Монко привезла рекомендательное письмо от земского деражненского агронома к Ивану Потапычу Буценко, содержателю номеров «Россия». О Рахили можно сказать, что любовь ее к науке была так же велика, как любовь к истине у Ленина, у Дарвина или у Спинозы.

Рахиль садится в трамвай, отходящий от Брянского вокзала. Блеск трамвайных огней ошеломляет ее. Надо помнить, что за всю жизнь она ни разу не выезжала из Деражни. Рахиль не может сдержать себя, она смеется от счастья. Старый человек сидит рядом с ней, старый человек в форменном картузе. По должности он участковый полицейский врач. Когда была его пора — он был любим многими женщинами, и все женщины, любившие его, были истеричками. Характер доктора нежен и апатичен. Он смотрит на Рахиль и думает о том, что вот этой девушке предстоит узнать все то, что для него стало прошлым, и все же она знает о жизни больше, чем он, старый человек, который начинает уже догадываться о смерти. Девушка знает больше, иначе она не смеялась бы.

— Отчего вы смеетесь? — спрашивает ее доктор и приподнимает фуражку над нежной лысеющей головой.

— Так приятно ездить в московском трамвае, — отвечает Рахиль и смеется еще пуще.

Тогда доктор отодвигается от нее.

«Истеричка, — думает он. — О, боже мой, все они истерички».

Номера «Россия» помещаются на Варварке, у Старой площади, в древнем переулке. Их содержат старые старики, Буценки, Иван Потапыч и Евдокия Игнатьевна. Жизнь этих людей была чиста и счастлива. Они родили много здоровых детей, из которых каждый кончил специальное учебное заведение. Межевой институт или Горный институт или Петровско-Разумовскую Академию. Никто из сыновей Буценко не страдал дурными русскими страстями, т. е. они не уходили в богоборцы, не вешались в станционных уборных, не женились на еврейках.

Номера стариков Буценко отличались чистотой. Чистота в них сияла, как лик Иисуса Христа. В каждом номере к кровати, к кисейному пологу был привешен образок. Останавливались в «России» хлебные торговцы из Ливен, из Ельца, из Ряжска — люди с неопасными склонностями, требовавшие, чтобы ужин подавался бы в номер и состоял бы из домашних блюд, приготовленных как угодно, но только не по-ресторанному.

Прислуг Буценко держали необыкновенно душевных. Это всегда бывали болезненные бабы из очень дальних краев, из Архангельской губернии, с Белого моря, и русский говор этих баб был так цветист и прекрасен, что кабы они не служили в номерах, то их можно бы сделать сказительницами северных сказок и былин и они имели бы успех в театрах.

Таковы были номера «Россия».

Кухня Буценок. Евдокия Игнатьевна, малиновая старушка, стряпает у плиты; Иван Потапыч, завернутый в душистую

летящую седину, пишет меню на завтрашний день. В конце каждого листка он ставит — «С почтением». Оба супруга в передниках, у обоих оттопыриваются опрятные тугие животы.

Звонок. В кухню входит Рахиль Монко и, робея, подает письмо, Иван Потапыч читает письмо стоя и с серьезностью, как судья, выслушивающий присягу свидетелей, но чем дальше, тем лицо Буценко светлеет все умильнее.

— От Владимира Семеныча, — говорит он малиновой старушке, — от милого знакомца...

Вот письмо Владимира Семеныча:

...Любезнейший Ванек, Иван Потапыч. Предъявительницу сего, мою землячку, человека большой души, рекомендую тебе в качестве помесячной жилицы со столом. С наивозможнейшими трудностями вырвалась она из нашей богом (увы и ах!) не хранимой дыры, дабы продолжить зубоврачебное или иное, к которому представится возможность (в чем, Ванек, крепко уповаю на тебя и на хлопотунью Евдокию Игнатьевну, которую помню совсем как бы во вчерашний день, не знаю, как она меня, искренне желалось бы, чтобы обоюдно), образование, к которому землячка моя питает «влечение, род недуга...»

Письмо это, слезясь и умиляясь, Иван Потапыч прочитал до конца, потом он мягкими дедовскими руками взял руки Рахили.

— Владимира Семеныча мне не забыть, — сказал старик, — в запрошлом году в Останкине мы пировали с ним на Рождество...

И больше Иван Потапыч ничего не мог сказать потому, что ему трудно было объяснить историю его знакомства с Владимиром Семенычем, в которой не было ничего интересного для людей и было так много душевных сокровищ для него самого, для Ивана Потапыча.

В запрошлом году, в превосходную снежную ровную зиму, он поехал к старшему сыну в Останкино на елку и повстречался там с чьим-то другом, неведомо чьим, с Владимиром Семенычем. Гости, приехав, одарили детей, осыпали для веселья снег с крыши, сбивали ледяшки с водосточных желобов и потом выпили французского вина. Опьянев, Владимир Семеныч стал признаваться старому Буценке в таких тайных вещах, о которых не стоило бы говорить чужим людям, но агроном говорил, так тягуче и искренно, так внимательно и насмешливо, что никакого стыда в этом не было, а была только любовь к чужому человеку, т. е. Ивану Потапычу. Он рассказал старику, что жена его очень молчаливая женщина, добивается того, чтобы не рожать от него детей и еще тайные вещи.

На следующий день гости встали в двенадцатом часу, полдень был похож на утро, снег блестел, окна искрились и ваточная нянька, шаркая, кряхтя и сдержанно радуясь, разносила дрова по печкам.

В Москву Иван Потапыч ехал в маленьких санках вместе с агрономом. Их везли серые лошади с круглыми крупами, хорошо выезженные, и старик не мог довольно надивиться тому, что он не испытывает изжоги или дурноты от выпитого

вчера вина и поэтому еще больше любил случайного своего спутника.

Вот и все знакомство Буценки с агрономом. Владимир Семеныч присылал еще два письма из провинции, в которых просил о приятных одолжениях: в одном — о высылке каталога семян, в другом просил справиться, действительно ли симментальский молочный скот из Деражни получил на Московской сельскохозяйственной выставке похвальный отзыв, а третье письмо было об Рахили. За выполнение последней этой просьбы Иван Потапыч взялся с горячностью. Он закричал жене очень громко: «Вздуй нам, мать, самоварчик и навали нам пирогов, мать...» — и повлек Рахиль в предназначенный ей номер. Из окна этой комнаты видна была синяя церковка с желтыми луковками и синими звездами, написанными на куполах. Увидев церковку, Рахиль поняла, что в ее жизни все изменилось к лучшему и что она увидела, наконец, Москву, предел своей мечты. Старик, пыхтя и обливаясь светящимся потом, принес кувшин воды и стал поджидать с полотенцем в руках конца сборам Рахили. Но сборы ее были долги. Девушки, возросшие в строгой семье и ждущие от жизни многого, умываются долго. Старику надоело ждать, и он перелистал брошенный на стол паспорт новой жилицы. Паспорт был на имя Рахили Хананьевны Монко, и на третьей его странице была оттиснута печать — «Где евреям жить дозволено».

Рахиль кончила умываться и протянула к старику за полотенцем красные сильные руки. Но лицо старика стало жалким и сердитым.

— Стыдно вам обманывать, — сказал он и одернул полотенце, — ах, какой стыд...

Он побежал слабыми шагами из комнаты и встретился на пороге с Евдокией Игнатьевной, отягощенной подносом, окутанной парами самовара, пирогов и пышек.

— Обратно, — закричал Иван Потапыч, — поучись у людей, мать, они стыд на помойку кинули...

Рахиль не нашла пристанища в номерах «России». До полуночи она блуждала в поисках ночлега и в полночь пришла изнеможенная на Воскресенскую площадь к Иверской. Там у Иверской трещал веселый гром московской улицы. Цыганята, плясавшие на мостовой, кинулись к Рахили и взяли ее в круг. Цыганята кружились, пели и потрясали бубном. Старый перс приблизился к девушке и положил ей руку на плечо. Крашеным царственным пальцем он прикоснулся к ее груди. И потом юродивый зашагал к ней на голых, розовых, чудовищно тонких ногах. Ноги его гнулись и скрипели в сочленениях, желтая слюна кипела в клочковатых усах и синий луч блестел в цепях, оковывавших шею калеки. Синий луч блистал в железе, как обледеневшая аллея блестит под луной, воск сиял и растапливался в часовне, веселый бой московской улицы играл вокруг Рахили.

Перс, не снимавший с девушки старых глаз, ущипнул ее раскрашенным пальцем, цыганята погнались за нею и стали обдирать ей подол. Тогда Рахиль побежала изо всех сил. Она пересекла Красную площадь, пересекла Москву-реку и вбежала в Замоскворечье, в искривленный переулок. В переулке этом, в конце его, над ободранной дверью, бурно дымился

фонарь. «Номера для приезжающих с удобствами» — было написано под фонарем. «Номера — Герой Плевны».

Звезды в переулке были громадны, снег чист, небеса глубоки.

В служебном отделении гостиницы «Герой Плевны» коридорный Орлов, вдовый человек, снаряжает ко сну сына своего Матвея. Матвею пошел одиннадцатый год, он укутан в пурпурное оранжевое тряпье, штаны его состоят из многих частей, отец стаскивает с него каждую часть отдельно. Мотька выучил только что стихотворение, к завтрему в школу. И он не может утерпеть, чтобы не рассказать отцу свой урок.

«И он мне грудь рассек мечом, — шепчет Мотька, засыпая, — и сердце трепетное вынул, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул...»

— Богатейший стишок, — говорит Орлов сыну и трижды крестит его на сон, — вот и в гражданском стишке бывает — вся жизнь описана. Тут, Мотя, и про нас, чай, есть, что мы каждому супнику даемся на мозоль лезть, тут и про божество и про матерей...

Орлов долго объясняет Мотьке про нашу жизнь, про матерей и супников, но Мотька спит уже. Коридорный встряхивает тогда сыновью куртку, он рассматривает, нет ли в ней изъяну, в это мгновение в комнату входит Рахиль.

— Нельзя ли номер, — говорит она, робея, — прошу вас...

— Без мальчика не пускаем, — отвечает Орлов, откусывает нитку и усаживается штопать сыновью куртку, — кто-то у тебя есть или фраер кто твой?..

Рахили невдомек. Все невдомек ей в речах Орлова. Она спускается по лестнице, выходит в переулок. Звезды в этом переулке громадные, снег чист, небеса глубоки. Обожженная беременная баба сидит на крылечке, живот ее растет вкось, и она поет тихонько крестьянскую венчальную песню. Возле нее у крылечка стоит студент, русый парень, с беспечной, беспечальной, бездонной фуражкой на кудрях.

— Чудно мне что-то, — говорит студент Рахили, — вы кто такая?

— Я еврейка, — отвечает Рахиль.

И тут — кабы им не столковаться, тогда жизнь не стоила бы потраченного на нее труда.

— Послушайте, душа человек, — сказал студент Рахили, — Орлов не пускает вас в номер, потому что вы без мальчика, меня он поносит, потому что я без девочки... Послушайте, душа человек, зовут меня Баулин, я парень свойский...

И тут — кабы у вдового Орлова осталось душевного огня, чтобы удивляться на что-нибудь, кроме как на свою необыкновенную жизнь, то он удивился бы тому случаю, что два человека, вытолканные им поодиночке, так скоро заявились снова и заявились вместе.

— Спроворь нам, папанька, номерочек, — закричал ему Баулин и не взошел на порог. Орлов отложил куртку и заплевал свои пальцы, исколотые иголкой.

— А она сказывала, у ней фраера нет, — пробормотал он и побрел со свечой в коридор показывать гостям номер.

В коридоре «Героя Плевны» пахло семенем, хлебом и яблоками. У одной стены лежали сваленные в угол ночные горшки и жестяные умывальники. В другом углу лежали картины в золотых рамах. Орлов прошлепал по коридору и открыл дверь комнаты.

— Вот, — сказал он, — сыпь, купец, за номерочек.

— Ты ризы мне в номерочке смени, — возразил парень Орлову и показал на запятнанную простыню.

— Мы опосля каждого меняем, — ответил коридорный, смахнул грязную простыню, накрыл ею стол и разостлал на кровать сырую, пахнувшую чесноком тряпку. Потом Орлов зашлепал вон из номера и вернулся, прижимая к груди ночную посудину.

— Все справно, — сказал он и запнулся, потому что Баулин ударил его в грудь.

— Уйди, сволочь, — прошептал парень с отчаянием, — уйди, родной, прошу тебя, — и стал бить Орлова по рукам. Коридорный спрятал тогда посудину за спину и произнес с горьким торжеством:

— Ты еще мать соплями обделывал, когда я семью, самшесть, кормил.

Щеки Орлова разгорелись, он стал красив, как чахоточный, и не захотел уходить даже тогда, когда получил деньги за номер. Потом ему взбрело на ум постирать Мотьке рубаху, и он ушел, оставив Баулина с девушкой в номере. За окном их комнаты была черная вода Москвы-реки и ночь вся в золотых дырах. Рахиль посмотрела в окно, погладила сырые стекла с необыкновенной дрожью и нежностью в пальцах и

заплакала. Она подошла к зеркалу, но оно оказалось исцарапанным надписями, никуда не годными. Одна из надписей была вырезана фигурным церковнославянским шрифтом.

«Нынче, — было вырезано на зеркале, — в первом часу пополуночи имел встречу с дивной женщиной-другом, — имя отказывается назвать, давай бог, чтобы обошлось благополучно...»

Надписей на зеркале было множество, Баулин оттянул Рахиль от постыдного этого места.

— Душа человек, — закричал он так звонко, как только мог, — валитесь-ка вы на кровать, а я лягу у двери, авось соснем...

Парень вынул из шинелишки тючок прокламаций, изданных московским комитетом социал-демократической партии, подложил тючок себе под голову, растянулся, захохотал и заснул.

Времени было уже два часа ночи — веселый московский бой кончился, свеча погасла, Баулин захрапел. И только за стеной гармонический, скучный девический голос все ныл нараспев:

— Жид ты этакий, Ваня, — ныл скучный голос, — гляди, чего выкамариваешь, я твой рубль потом на зуб возьму, право возьму, пусть мне света не дождаться...

1926 г.



Примечания

В примечаниях сначала указывается первая публикация текста, потом, в случаях его отличия от первоначального, источник, по которому он опубликован в двухтомнике 1990 г. и воспроизводится в нашем издании. Если составитель настоящего издания избрал в качестве основного иной текст или произвел специальную сверку, указание на источник сопровождается словами «Печатается по...»

Датировки в конце рассказов рассматриваются как часть авторского текста и сохраняются даже в тех случаях, если они не совпадают с датами первых публикаций.

Впервые все бабелевские тексты сопровождаются реальным комментарием. В примечаниях использованы разыскания и наблюдения В. Ковского, Э. Когана, Е. Краснощековой, Ш. Маркиша, Е. Перемышлева, С. Поварцова, Б. Сарнова, У. Спектора, Е. Шкловского, А. Эппеля.

Автобиография (с. 35)*

Впервые: Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков / Под ред. Вл. Лидина. М., 1926.

И. Э. Бабель. Статьи и материалы. Л.,1928.

Авторская датировка: Сергиев Посад. Ноябрь, 1924.

Талмуд — основной памятник иудаизма, свод древнееврейских религиозных трактатов.

Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) — прозаик, литературный критик, пародист, с 1916 года редактировал газету «Петербургский листок».

---

* В скобках после названия произведения указана его страница в данном томе.

Поссе Владимир Алексеевич (1864–1940) — журналист, с 1898 года редактировал петербургский журнал «Жизнь».

Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год… — В редактируемом Горьким журнале «Летопись» (1916, № 11) были опубликованы рассказы «Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла».

…*потом служил в Чека*… — Этот этап биографии Бабеля (о нем упоминается и в финале рассказа «Дорога») датируют январем — маем 1918 г. (см.: Спектор У. Краткая летопись жизни и творчества Исаака Эммануиловича Бабеля // Бабель И. Пробуждение. Тбилиси, 1989. С. 422). Существуют и обоснованные сомнения на этот счет (см.: Ковский В. Судьба текстов в контексте судьбы // Вопросы литературы. 1995. Вып. 1. С. 53–57).

Начало (с. 37)

Впервые: Литературная газета, 1937, № 33, 18 июня.

Одновременно: Правда, 1937, № 166, 18 июня, заглавие: Из воспоминаний.

Мемуарный очерк опирается на интервью, данное С. Трегубу в июле 1936 года, вскоре после смерти Горького: Учитель. Беседа с тов. И. Бабелем // Комсомольская правда, 1936, № 172, 27 июля.

Год XXI. Альманах. Кн. 13. М., 1938.

… *из искры возгоралось пламя*. — Цитата из стихотворения поэта-декабриста А. И. Одоевского (1822–1839) «Струн вещих пламенные звуки…», представляющего ответ на пушкинское «Во глубине сибирских руд»: «Наш скорбный труд не пропадет, Из искры возгорится пламя…». Афоризм стал эпиграфом социал-демократи-

ческой газеты «Искра» (1900–1903). Вторая реминисценция в данном случае важнее первой.

Листки об Одессе

Одесса (с. 43)

Впервые: Журнал журналов, 1916, № 51, декабрь, цикл: Мои листки, подпись: Баб-Эль.

…об Изе Кремер — Кремер Изабелла Яковлевна (1889–1956), родилась в с. Бельцы близ Одессы, прославилась в жанре «интимных песенок», исполнявшихся на собственные стихи; с 1919 г. в эмиграции, в 1920-е гг. выступала на Бродвее, умерла в Аргентине.

Уточкин Сергей Исаевич (1876–1915/1916) — один из первых российских летчиков, выступавший с демонстрационными авиаполетами во многих городах России, уроженец Одессы, упоминается в Дневнике и рассказе «Справедливость в скобках».

А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс. — Политический намек: имеется в виду теория классовой борьбы Карла Маркса (1818–1883), согласно которой фабричные рабочие, пролетарии станут могильщиками буржуазного строя.

…пароходы, пришедшие из Ньюкастля, Кардифа, Марселя и Порт-Саида… — перечислены известные портовые города Англии (два первых), Франции и Египта.

Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. — Акакий Акакиевич Башмачкин,

Грицко, Тарас Бульба — персонажи повестей «Шинель» (1842), «Сорочинская ярмарка» (1829), «Тарас Бульба» (1835, 2 ред. — 1842). Отец Матвей (Матвей Александрович Константиновский, 1791–1857) — протоиерей из Ржева, духовник Н. В. Гоголя. Имеется в виду эволюция Гоголя от веселости ранних повестей к трагическому гротеску, мрачности петербургских повестей и религиозному аскетизму последних лет.

С Полита и с девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороге. — Кратко пересказывается фабула новеллы Мопассана «Признание», к ней Бабель обращается еще дважды: в начале 1920-х гг. он делает перевод, опубликованный в собрании сочинений французского новеллиста, в новелле «Гюи де Мопассан» сцена работы над переводом становится важным сюжетным эпизодом.

Святая София — храм в Константинополе (Стамбуле), сооружен в 532–537 гг.

Листки об Одессе (с. 48)

Первый

Впервые: Вечерняя звезда (Петроград), 1918, № 36, 19 марта.

Печатается по: Бабель И. Э. Избранное / Сост. В. Я. Вакуленко. Фрунзе, 1990.

Никто в нем никогда, может быть, не слыхал об акмеистах, о стихах Ахматовой, о Незнакомке Блока… — Речь идет об актуальных (относительно) процессах и именах модернистской литературы. Акмеизм как литературная школа заявил о себе манифестами в 1912 г. Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) наряду с Николаем Гумилевым и Осипом Мандельштамом была одной из

главных фигур акмеизма, ее первый сборник «Вечер» также появился в 1912 г. Александр Александрович Блок (1880–1921) — крупнейший поэт-символист, его баллада «Незнакомка» (1906) быстро трансформировалась в бытовое явление, незнакомками именовали себя романтичные проститутки.

…хватит с вас империалистов и Константинополей… — Завоевание Константинополя (Стамбула) было постоянной целью экспансионистски ориентированных политиков имперской России.

Мазун — бандит, налетчик.

Арап — аферист.

Андрюша во время японской кампании — был в Вержболове, во время немецкой кампании был в Харбине… — Вержболово — пограничная станция на Петербургско-Варшавской железной дороге на границе с Пруссией, последний русский пункт на пути в Европу. Харбин — узловая станция Китайской Восточной железной дороги. Смысл иронического намека в том, что герой все время оказывался максимально далеко от театра военных действий: во время русско-японской войны — на крайнем западе, во время первой мировой войны — на Дальнем Востоке.

Второй

Впервые: Вечерняя звезда (Петроград), 1918, № 38, 21 марта.

Печатается по: Бабель И. Э. Избранное / Сост. В. Я. Вакуленко. Фрунзе, 1990.

Винавер Максим Моисеевич (1862 –?) — юрист, автор многих научных трудов по истории права и еврейской истории.

Липковская Лидия Яковлевна (1882–1958) — оперная певица и музыкальный педагог, родилась на Украине, пела в Мариинском

театре в Петербурге, в том числе с Шаляпиным, гастролировала в Одессе, с 1919 г. в эмиграции.

Меджибож — местечко в Подольской губернии, где обычно устраивались войсковые лагерные сборы; большую часть населения составляли евреи.

<В Одессе каждый юноша...> (с. 58)

Впервые: Литературная газета, 1962, 1 января.

Предисловие к неосуществленному коллективному сборнику начинающих одесских писателей (1923). В поздних воспоминаниях Г. Н. Гребнева приводится его заглавие — «Семь одесситов».

Историю текста рассказал К. Г. Паустовский.

«Вошли Гехт, Ильф, Олеша и Регинин. Мы сдвинули столики, и начался разговор о том, что “Огонек” решил выпустить сборник рассказов молодых одесских писателей. В сборник включили Гехта, Славина, Ильфа, Багрицкого, Колычева, Гребнева и меня, хотя я не был одесситом и прожил в Одессе всего полтора года. Но меня почему-то считали одесситом, — очевидно, за мое пристрастие к одесским рассказам.

Бабель согласился написать для этого сборника предисловие. <...>

На этот раз загадочный вид Гехта насторожил всех. Но, будто по уговору, никто ни о чем не спрашивал.

Гехт крепился недолго. Подмигнув нам, он вытащил из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Вот! — сказал он. — Получайте предисловие Бабеля к нашему сборнику!

— Да оно же короче воробьиного носа, — заметил кто-то. — Просто отписка!

Гехт возмутился:

— Важно не сколько, а как. Зулусы!

Он развернул листок и прочел предисловие. Мы слушали и смеялись, обрадованные легким и пленительным юмором этого, очевидно, самого короткого, предисловия в мире.

Потом дело со сборником сорвалось. Он не вышел, а предисловие затерялось. Только недавно его нашел среди своих бумаг поэт Осип Колычев» (Паустовский К. Четвертая полоса // Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. М., 1963. С. 87, 91).

Далее с небольшими сокращениями в мемуарах опубликован текст самого предисловия.

Губстатбюро — губернское статистическое бюро.

Гехт Семен Григорьевич (1903–1963) —писатель и журналист.

Славин Лев Исаевич (1896–1984) — писатель и журналист; позднее автор романов и пьесы «Интервенция» (1932), действие которой происходит в Одессе времен гражданской войны.

Расин Жан (1639–1699) — французский драматург, автор трагедий на античные сюжеты.

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) — писатель, позднее создал автобиографическую «Повесть о жизни» (1945–1963), в которой несколько глав посвящены Бабелю.

Ильф Илья (настоящие имя и фамилия Илья Арнольдович Файнзильберг, 1897–1937) — русский писатель, позднее — вместе с другим уроженцем Одессы Е. П. Петровым — создал знаменитую дилогию «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой теленок» (1936).

Багрицкий Эдуард Георгиевич (настоящая фамилия Дзюбин, 1895–1934) — поэт, который так и остался в русской литературе, плотояднейшим из фламандцев.

Колычев (настоящая фамилия Сиркес) Осип Яковлевич (1904–1973) — поэт, автор текстов многих советских песен, в 1931–1940 гг. издал 15 сборников стихов; по свидетельству мемуаристов и мнению исследователей, был одним из прототипов поэта-халтурщика Ляписа-Трубецкого в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

Гребнев (настоящая фамилия Грибоносов) Григорий Никитич (1902–1960) — журналист и писатель-фантаст, оставил небольшие воспоминания о Бабеле.

Одесские рассказы

Цикл из четырех рассказов о старой Одессе сложился у Бабеля в 1921–1924 гг. Три рассказа в первой публикации имели соответствующий подзаголовок (см. ниже). Такой же подзаголовок имели еще два рассказа, но они самим автором в цикл не включались. Позднее были опубликованы несколько примыкающих к циклу новелл, появились написанные по его мотивам пьеса и киносценарий. В целом эта работа заняла десятилетие.

Таким образом, четыре короткие новеллы оказались смыслообразующим центром, вокруг которого сложилась разножанровая и разноплановая книга об Одессе.

Вторым ядром этой книги стал так и не собранный, но четко обозначенный цикл о становлении лирического героя «История моей голубятни».

Король (с. 60)

Впервые: Моряк (Одесса), 1921, № 100, 23 июня, подзаголовок: Из одесских рассказов.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Прототипом Бени Крика считается М. Я. Винницкий, одесский налетчик, который во время гражданской войны сформировал свой полк, воевал на стороне красных войск и был убит под Одессой чекистами осенью 1919 года.

Раввин — руководитель иудейской общины.

Шамесы — служки в синагоге.

Биндюжник — ломовой извозчик, перевозящий на телеге тяжелые грузы; образовано от *биндюг* (*биндюх*) — «рыдван, большая или троичная извозная телега, на которую валят до ста пудов» (Вл. Даль).

Как это делалось в Одессе (с. 68)

Впервые: Литературные приложения к «Известиям Одесского губисполкома…», 1923, № 1025, 5 мая.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Размазывать кашу (*жарг.*) — много и напрасно говорить.

Кошерная птица — кошерными (чистыми) называются продукты, приготовленные в соответствии с иудаистскими религиозными требованиями и разрешенные к употреблению.

…как говорил господь на горе Синайской из горящего куста… — Имеется в виду библейский эпизод: Бог говорит с Моисеем из горящего тернового куста, неопалимой купины, о спасении иудейского народа в Египте (Деяния Апостолов. Гл. 7, ст. 30–35).

Кантор — певчий в синагоге.

Отец (с. 80)

Впервые: «Красная новь», 1924, № 5, август — сентябрь, подзаголовок: Из одесских рассказов.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Бранжа (*жарг.*) — воровское дело.

Мухамед (Магомет, ок. 570–632) — мусульманский пророк, основатель ислама; дорога от бога Мухамеда — дорога из Мекки.

Любка Казак (с. 92)

Впервые: «Красная новь», 1924, № 5, подзаголовок: Из одесских рассказов.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Баал-Шем (Израиль Бешт, 1700–1760) — основатель хасидизма, одного из модернистских направлений в иудаизме.

Дополнения к «Одесским рассказам»

Справедливость в скобках (с. 101)

Впервые: На помощь! (Одесса), 1921, 15 августа, однодневная газета, подзаголовок: Из одесских рассказов.

...недоставало Сережки Уточкина. — См. прим. к очерку «Одесса».

Закат (с. 108)

Впервые: Литературная Россия, 1964, 20 ноября. Последняя страница утеряна.

Автограф, частный архив.

Рассказ датируют 1924–1925 гг.

Фроим Грач (с. 122)

Впервые: Воздушные пути. Кн. 3. Нью-Йорк, 1963.

Машинопись: ЦГАЛИ, ф. 622, оп. 1, ед. хр. 26.

Рассказ датируется 1933 г.

Вместе с рассказами «Нефть», «Улица Данте» и «Мой первый гонорар» «Фроим Грач» был рекомендован Горьким в альманах «Год XVI», но отвергнут редколлегией. Сохранилась резолюция А. Фадеева: «Рассказы, по-моему, неудачны, и лучше будет для самого Бабеля, если мы их не напечатаем» (см.: Ковский В. Судьба текстов в контексте судьбы // Вопросы литературы. 1995. Вып. 1. С. 34).

Смитье (*жарг.*) — дерьмо, мусор.

Конец богадельни (с. 129)

Впервые: 30 дней, 1932, № 1, подзаголовок: Из одесских рассказов.

Бабель И. Рассказы. М., 1932.

Авторская датировка: 1920–1929.

Кафе Фанкони — кафе, открытое в 1872 г. в Одессе уроженцем итальянского кантона Швейцарии Яковом Доминиковичем Фанкони и ставшее излюбленным местом деловых встреч и отдыха одесситов. Упоминается также в «Закате» и «Бене Крике».

Давид — библейский персонаж, иудейский царь, победитель великана Голиафа.

«Кармен» (1874) — опера французского композитора Жоржа Бизе (1838–1875) по одноименной новелле Проспера Мериме (1845).

Карл-Янкель (с. 140)

Впервые: Звезда, 1931, № 7.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Дервиши — странствующие мусульманские проповедники.

Примаков Виталий Маркович (1897–1937) — советский военачальник, в гражданскую войну командовал дивизией Червонного казачества.

Ришелье Арман Эммануэль дю Плесси (1766–1822) — герцог, французский эмигрант, в 1805–1814 годах генерал-губернатор Новороссии и градоначальник Одессы; памятник Ришелье стоит в центре Одессы (скульптор И. Мартос).

Синедрион — совет старейшин Иерусалима, позднее — верховный суд Иудеи (III в. до н. э. — I в. н. э.).

История моей голубятни

Замысел книги о детстве проходит через всю творческую жизнь Бабеля. Неоконченный рассказ «Детство. У бабушки» датирован: Саратов. 12.11.15. «История моей голубятни» (1925) в журнальной публикации «Красной нови» была обозначена в примечании как начало автобиографической повести. Рассказы «Первая любовь» (1925), «Пробуждение» (1930), «В подвале» (1931) имели подзаголовок «Из книги “История моей голубятни”». К одесской части цикла примыкает и новелла «Ди Грассо» (1937).

Другие, более поздние, этапы бабелевской биографии отразились в рассказах «Гюи де Мопассан» (1920–1922, здесь и далее — авторские датировки), «Мой первый гонорар» (1922–1928), «Дорога» (1920–1930), «Иван-да-Марья» (1920–1928).

Писатель, действительно, с конца 1916 года жил в Петрограде («Гюи де Мопассан»), в начале 1918 года приехал туда же из Киева (финал «Дороги»), осенью этого года участвовал в продовольствен-

ных экспедициях на Волге вместе с упомянутым в «Иван-да-Марье» С. В. Малышевым, в 1922 году работал в Тифлисе, где происходит действие «Моего первого гонорара».

Однако образ меняющегося рассказчика в этом так и не собранном цикле, конечно же, нельзя полностью отождествлять с автором. Бабель сочиняет, творит, даже когда он пишет о себе, предпочитает, как герой «Моего первого гонорара», живописную выдумку истине факта.

Кажется, биографически наиболее далек от автора рассказчик «Моего первого гонорара». Во-первых, действие здесь, судя по всему, происходит в дореволюционном Тифлисе, а не в начале двадцатых годов, когда там оказался писатель. Во-вторых, существует мемуарное свидетельство жены об источнике фабулы. «О рассказе «Мой первый гонорар» Бабель сообщил мне, что этот сюжет был ему подсказан еще в Петрограде журналистом П. И. Старицыным. Рассказ Старицына заключался в том, что однажды, раздевшись у проститутки и взглянув на себя в зеркало, он увидел, что похож “на вздыбленную розовую свинью”, ему стало противно, и он быстро оделся, сказал женщине, что он — мальчик у армян, и ушел. Спустя какое-то время, сидя в вагоне трамвая, он встретился с этой самой проституткой, стоявшей на остановке. Увидев его, она крикнула: “Привет, сестричка!” Вот и всё» (Пирожкова А. Н. Годы, прошедшие рядом (1932–1939) // Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 283).

Однако чужую фабулу Бабель наполняет совершенно иным смыслом, встраивает ее в персональный сюжет рождения писателя, предпочитающего обычной скучной жизни внезапную выдумку. Ключевой афоризм этой новеллы («Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил

старается походить на хорошо придуманную историю») отсылает к началу, безусловно, автобиографического рассказа «В подвале»: «Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. <…> Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственно завязывало начала».

Бабель предполагал сдать книгу в издательство в 1939 году. Большинство рукописей писателя исчезли вместе с ним после ареста 15 мая 1939 года. Судьба «Истории моей голубятни», степень ее завершенности так и остались загадкой.

В данном разделе тексты расположены не в соответствии с хронологией работы над ними, а в порядке, представляющем пунктирную историю рассказчика, насколько ее можно восстановить.

История моей голубятни **(с. 151)**

Впервые: Красная газета. Л., 1925, 18, 19, 20 мая, вечерний выпуск.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1925 г.

В примечании к журнальной публикации (Красная новь, 1925, № 4) утверждалось, что рассказ является началом автобиографической повести.

Процентная норма — существовавшее в дореволюционной России законодательное ограничение числа евреев, имевших возможность поступать в гимназии и университеты.

Ешибет — еврейская духовная семинария.

Талес — одежда для молитвы.

Польское восстание 1861 года — волнения в 1861–1863 годах в Королевстве Польском, бывшем частью Российской империи, борьба за независимость Польши.

Инсургент — участник восстания, повстанец.

Давид, Голиаф — персонажи ветхозаветного мифа; Давид, в будущем царь иудейский, во время войны с филистимлянами вызвал на поединок и победил великана Голиафа (Первая книга Царств. Гл. 17).

Сарпинка — тонкая, но плотная льняная ткань с орнаментом в виде полосок или клеток.

Проказа (лепра) — хроническая инфекционная болезнь, сопровождающаяся возникновением многочисленных кожных язв; больных проказой лечат в изолированных лепрозориях.

Первая любовь (с. 165)

Впервые: Красная газета. Л., 1925, 24 и 25 мая, вечерний выпуск.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1925 г.

Карбач (*жарг.*) — процент от сделки, деньги.

Детство. У бабушки (с. 175)

Впервые: Литературное наследство. Т. 74. Из творческого наследия советских писателей. М., 1965.

Авторская датировка: Саратов, 12.11.15.

В подвале (с. 182)

Впервые: Новый мир, 1931, № 10, подзаголовок: Из книги «История моей голубятни».

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1929 г.

Синедрион — см. прим. к новелле «Карл-Янкель».

Рубенс Питер Пауль (1577–1640) — фламандский живописец, умерший раньше философа Бенедикта Спинозы (1632–1677) и поэтому никак не могущий снимать с его лица маску.

Судный день — день конца света и Страшного суда.

Рош-Гашоно — Новый год по еврейскому календарю, один из главных еврейских праздников, приходящийся на сентябрь — октябрь.

О римляне, сограждане, друзья… — Здесь и далее цитаты из трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь» (1599) в переводе И. Козлова.

Пробуждение (с. 194)

Впервые: Молодая гвардия, 1931, № 17–18, подзаголовок: Из книги «История моей голубятни».

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1930 г.

Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец. — Эльман Михаил, Цимбалист Ефрем (1889–1985), Габрилович Осип Соломонович (1878–?), Хейфец Иосиф Робертович (1901–1987), известные американские музыканты, преимущественно скрипачи, евреи, уроженцы Одессы, ученики Л. Ауэра.

Загурский — прототипом этого персонажа был одесский учитель музыки Петр Соломонович Столярский (1871–1944).

Ауэр Леонид Семенович (1845–1930) — скрипач, дирижер, профессор Петербургской консерватории, с 1918 года жил в США.

Робеспьер Максимильен (1758–1794) — французский революционер, один из вождей якобинцев, казнен термидорианцами во время переворота.

Пиччикато (пиццикато) — прием извлечения звука щипком пальцами на струнном музыкальном инструменте.

Кантилена — певучая протяжная мелодия.

Челлини Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор, ювелир, писатель.

Гемара — одна из частей Талмуда (см. прим. к «Автобиографии»).

Ди Грассо (с. 203)

Впервые: Огонек, 1937, № 23.

Грассо Джованни (1873–1930) — итальянский актер, которого называют стихийным, «первобытным трагиком», гениальным исполнителем кровавых мелодрам; гастролировал в Одессе; в записной книжке Бабеля сохранилась отметка о посещении спектакля «Семья преступника» 6 декабря 1909 года.

Ансельми Джузеппе (1876–1929) — итальянский оперный певец и композитор.

Руффо Тито (1877–1953) — итальянский оперный певец.

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) — знаменитый русский певец.

«Король Лир» (1606), *«Отелло»* (1604) — трагедии У. Шекспира.

«Нахлебник» (1848) — драма И. С. Тургенева.

Справка (с. 209)

Впервые: Бабель И. Избранное. Кемерово, 1966.

Печатается по указанному изданию.

Фабула и большая часть текста «Справки» совпадают со следующей далее новеллой «Мой первый гонорар». Существуют два взгляда

на соотношение этих произведений. В большинстве случаев «Справка» рассматривается как ранний вариант «Моего первого гонорара» и потому редко включается в сборники Бабеля; ее место — на другом уровне, в разделе «Другие редакции и варианты», считает В. Ковский (см. «Вопросы литературы», 1995, № 1. С. 76–77). Однако есть мнение, что именно этот краткий вариант надо считать последней, окончательной редакцией (см.: Жолковский А. К., Ямпольский М. Б. Бабель / Babel. М., 1994. С. 17–21; текст А. К. Жолковского).

Нам представляется более убедительной первая точка зрения: «Справка» — первоначальный набросок (или упрощенный вариант) «Моего первого гонорара». Здесь отсутствуют важные психологические подробности и типично бабелевские предметные детали. Соотношение между этими текстами приблизительно такое же, как между очерком «Вечер у императрицы» и рассказом «Дорога»: в первом случае перед нами схематический набросок, во втором — типичная бабелевская живописная и ритмически организованная новелла.

Однако при отсутствии решающих аргументов представляется целесообразным опубликовать обе новеллы рядом, на одном уровне. В конце концов, соотношение между ними можно представить по аналогии с рассказами-дублетами Чехова или стихотворениями-двойчатками Мандельштама, как две вариации на одну и ту же тему.

Майдан — базарная площадь.

Мой первый гонорар (с. 213)

Впервые: «Воздушные пути» Кн. 3. Нью-Йорк, 1963.

В 1933 г. рассказ был отвергнут в альманахе «Год XVI» (см. прим. к рассказу «Фроим Грач»).

Авторская датировка: 1922–1928.

Роман из боярской жизни Головина — вероятно, имеется в виду один из романов писателя-консерватора Константина Федоровича Головина (Орловского, 1843–1913), впрочем, чаще сочинявшего не из боярской, а из современной дворянской жизни.

Нинкуешь у воров? — В основных словарях, включая словари арго, этот глагол отсутствует; судя по контексту: находиться в услужении, быть на побегушках.

Гюи де Мопассан (с. 225)

Впервые: 30 дней, 1932, № 6.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

Авторская датировка: 1920–1922.

Ибаньес Висенте Бланко (1867–1928) — испанский писатель, романист, основные произведения которого были созданы в 1910-е годы.

Рерих Николай Константинович (1874–1947) — философ, художник, существенное место в творчестве которого занимали древнеславянские и восточные мотивы.

«Мисс Гарриет» — новелла французского писателя Ги де Мопассана (1850–1893), которого Бабель в интервью и очерках неоднократно называл своим учителем (см. вступительную статью).

Распутин Григорий Ефимович (1872–1916) — сибирский крестьянин, близкий к императорской семье и игравший большую роль в государственных делах; убит монархистами.

«Юдифь» (1863) — опера русского композитора Александра Николаевича Серова (1820–1871) на библейский сюжет.

Флобер Гюстав (1821–1880) — французский писатель, учитель Мопассана.

Дорога (с. 235)

Впервые: 30 дней, 1932, № 3. С. 41–43.

Печатается по первой публикации с восстановлением важного фрагмента, отсутствующего во всех предыдущих переизданиях: «За спиной телеграфиста… кушай кошерное».

Авторская датировка: 1920–1930.

Первоначальным наброском центрального эпизода рассказа можно считать очерк «Вечер у императрицы» (см. далее).

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — литературный критик, советский государственный деятель, с 1917 года — народный комиссар просвещения.

Галеви Иегуда (1080–1142) — средневековый еврейский поэт.

Мария Федоровна (1847–1928) — жена императора Александра III, до принятия православия — датская принцесса Дагмара, иной вариант посещения ее библиотеки излагается в очерке «Вечер у императрицы».

Абдул-Гамид II (1842–1918) — турецкий султан в 1876–1909 годах.

Ламартин Альфонс (1790–1869) — французский поэт-романтик, политический деятель.

Эдуард VII (1841–1910) — английский король с 1901 года.

Георг I (1845–1913) — король Греции с 1863 года, из датской династии Глюксбургов.

Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918) — активный участник Октябрьской революции, председатель Петроградской ЧК, убит Л. Каннегиссером.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. — См. прим. к «Автобиографии».

«Иван-да-Марья» (с. 244)

Впервые: 30 дней, 1932, № 4.

Авторская датировка: 1920–1925.

Малышев Сергей Владимирович (1877–1938) — советский хозяйственник; Бабель участвовал вместе с ним в продовольственных экспедициях в июле — августе 1918 года (см. также далее очерк «Концерт в Катериненштадте»).

«Смерть» — романс русского композитора Александра Тихоновича Гречанинова (1864–1956).

Муравьев Михаил Артемович (1880–1918) — командующий Восточным фронтом, в июле 1918 года поднял антибольшевистский мятеж в Симбирске, убит при аресте.

Вацетис Иоаким Иоакимович (1873–1938) — советский военачальник, командующий Восточным фронтом, в 1918–1919 годах — главком вооруженных сил Советской республики.

«Блоха» — романс Модеста Петровича Мусоргского (1839–1881).

Мефистофель — герой оперы Шарля Гуно (1818–1893) «Фауст» (1859) на сюжет трагедии И. В. Гете.

Помешавшийся мельник — персонаж оперы Александра Сергеевича Даргомыжского (1813–1869) «Русалка» (1855) на сюжет неоконченной драмы Пушкина. Все три упомянутые музыкальные произведения были в репертуаре Ф. И. Шаляпина.

Петербургский дневник

Большинство очерков этого раздела публиковались в марте — июле 1918 года в оппозиционной большевикам газете «Новая

жизнь», редактируемой М. Горьким, под рубрикой «Дневник», однажды («Я задним стоял») — «Петербургский дневник».

«На Дворцовой площади» и «Концерт в Катериненштадте» под той же рубрикой «Дневник» появились в «Жизни искусства» (ноябрь 1918).

В 1922–1923 годах в одесском журнале «Силуэты» опубликованы «Вечер у императрицы» (подзаголовок «Из петербургского дневника») и «Ходя» (подзаголовок «Из книги “Петербург, 1918”»).

Таким образом, в творческом сознании Бабеля петербургская проза тоже представлялась книгой, так и не получившей окончательного оформления и заглавия.

К этому циклу — в качестве пролога — явно примыкает очерк «Линия и цвет», напечатанный в 1923 году в журнале «Красная новь» с подзаголовком «Истинное происшествие». Действие в нем происходит в Петербурге накануне революции; здесь появляются два оставшихся впоследствии за кадром главных персонажа будущих революционных катаклизмов — Керенский и Троцкий.

Публичная библиотека (с. 259)

Впервые: Журнал журналов, 1916, № 48, цикл: Мои листки, подпись: Баб-Эль.

Белобилетники — люди, по болезни освобожденные от военной службы.

«Аполлон» — журнал модернистского направления, выходивший в Петербурге-Петрограде в 1909–1917 гг.

Гауптман Герхарт (1862–1946) — немецкий писатель и драматург.

«Русский инвалид», «Правительственный вестник» — официальные правительственные газеты, закрытые в 1917 году.

Линия и цвет (с. 263)

Впервые: Красная новь, 1923, № 7, подзаголовок: Истинное происшествие.

Бабель И. Рассказы (2-е изд.). М.; Л., Госиздат, 1927.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — русский политический деятель, в 1917 году после отречения Николая II стал главой Временного правительства, после Октябрьской революции — в эмиграции.

Петр Николаевич (1864–1931) — второй сын великого князя Николая Николаевича-старшего, брата императора Александра III.

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694–1788) — французский философ-просветитель, борец с абсолютизмом и религиозной нетерпимостью.

Гельсингфорс — шведское название Хельсинки.

Мария-Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI, казнена на гильотине революционерами-якобинцами.

Троцкий Лев Давидович (1868–1940) — один из вождей большевиков во время революции и гражданской войны, впоследствии выслан из СССР по приказанию Сталина и убит в Мексике.

Вечер у императрицы (с. 266)

Впервые: Силуэты (Одесса), 1922, № 1, подзаголовок: Из петербургского дневника.

Другой вариант посещения Аничкова дворца Бабель дает в рассказе «Дорога» (см. прим. к нему).

Ходя (с. 269)

Впервые: Силуэты (Одесса), 1923, № 6–7, подзаголовок: Из книги «Петербург, 1918».

Печатается по: Перевал. Сб. 6. М.; Л., 1928.

Упоминание о китайцах, которые за хлеб покупают проституток, есть в рассказе «Дорога». В эссе В. Б. Шкловского «И. Бабель (Критический романс)» (1924) есть упоминание: «Бабель писал мало, но упорно. Все одну и ту же повесть о двух китайцах в публичном доме» (Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990. С. 366). Возможно, рассказ как-то связан с замыслом этой повести.

Первая помощь (с. 272)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 9 марта, рубрика: Дневник.

О лошадях (с. 274)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 16 марта.

Недоноски (с. 277)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 26 марта.

Битые (с. 279)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 29 марта, рубрика: Дневник.

Дворец материнства (с. 282)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 31 марта.

Эвакуированные (с. 285)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 13 апреля.

Мозаика (с. 287)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 21 апреля.

Пассия (*лат*. passio — страдание) — церковно-богослужебный обряд, распространенный в южнорусском крае: чтение евангелия о Страстях Христовых по пятничным вечерам первых четырех недель великого поста. Бабель применяет это понятие к службе в Казанском соборе, хотя в Великороссии подобная традиция отсутствовала.

Заведеньице (с. 290)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 25 апреля.

О грузине, керенке и генеральской дочке (с. 293)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 4 мая.

Слепые (с. 298)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 19 мая.

Вечер (с. 303)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 21 мая.

Офицерская улица — улица в центре Петербурга, у Театральной площади; в 1918 году переименована в улицу Декабристов.

Штраус Иоганн (1825–1899) — австрийский композитор, автор венских вальсов и многочисленных оперетт.

Мендельсон Якоб Людвиг Феликс (1809–1847) — немецкий композитор, автор фортепьянного цикла «Песни без слов».

Я задним стоял (с. 306)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 7 июня, рубрика: Петербургский дневник.

Зверь молчит (с. 309)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 9 июня, рубрика: Дневник.

Финны (с. 313)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 11 июня, рубрика: Дневник.

Новый быт (с. 316)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 20 июня, рубрика: Дневник.

Скоропадский Павел Петрович (1873–1954) — генерал-лейтенант русской армии, в 1918 году — гетман Украинской державы, боровшийся с большевиками, позднее — в эмиграции.

Случай на Невском (с. 320)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 27 июня, рубрика: Дневник.

Святейший патриарх (с. 322)

Впервые: Новая жизнь, 1918, 2 июля, рубрика: Дневник.

Тихон (Василий Иванович Белавин, 1865–1925) — патриарх всея Руси (с 1917 года), боролся с большевиками, в 1922 году арестован, позднее сотрудничал с Советской властью.

На Дворцовой площади (с. 325)

Впервые: Жизнь искусства. 1918, 11 ноября, рубрика: Дневник.

Марсельеза — французская революционная песня, официальный гимн Франции (слова и музыка К. Ж. Руже де Лиля, 1792).

Концерт в Катериненштадте (с. 327)

Впервые: Жизнь искусства, 1918, 13 ноября, рубрика: Дневник.

Закат **(с. 332)**

Впервые: Новый мир, 1928, № 2.

Печатается по: Бабель И. Рассказы. М., 1936.

В двухтомнике 1990 г. пьеса напечатана по машинописи, представленной в Главрепертком МХАТом-2 (ЦГАЛИ, ф. 656, оп. 1, ед. хр. 198). Она практически не отличается от публикуемого текста. Самое существенное изменение — сокращение двух финальных реплик об Иисусах до одной (см. ниже).

Пьеса в первоначальном варианте была сочинена всего за несколько дней в августе 1926 г. на станции Ворзель в 40 км от Киева. Ее история отражена в письмах к Т. В. Кашириной (Ивановой).

«Очень я захвачен сейчас коммерческим делом (правда, тряхнул кровью предков), которое я затеял. Результаты должны сказаться скоро», — пишет Бабель 19 августа 1926 г.

«В Ворзеле за 9 дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года. <...> Прошу тебя, никому не говори о пьесе. Я очухаюсь и недели через две посмотрю, что у меня вышло», — сообщает он тому же адресату через неделю, 26 августа.

Еще через две недели первоначальное воодушевление исчезает. «Пьесу буду переписывать перед отъездом в Москву. Я ею как-то не интересуюсь и тебе не рекомендую. У меня сложилось дурное отношение к моим “произведениям”. Раньше они мне нравились по крайней мере во время написания, а теперь этого нет. Я пишу, сомневаясь и зевая. Увидим, что из этого получится», — написано уже из села Хреновое 8 сентября.

В конце того же месяца, 29 сентября, сомнения нарастают: «Весь вопрос в том — хлебную ли пьесу я сочинил? Беда, что к революции пьеса не имеет никакого отношения, как ни верти, она чудовищно дисгармонирует с тем, что теперь в театре делают, и в последней сцене дураки могут усмотреть “апофеоз мещанства”. А так как цензура не может не состоять из дураков, то... поживем, увидим... Вообще же к этой пьесе нельзя относиться серьезно. К сожалению, я мало смыслю в драматургии и вышел, кажется, легковесный пустячок. Очень жаль, что мне не с кем посоветоваться».

В октябре Бабель читал «Закат» в Москве. «Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художеств. театра) благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня не доработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде. Вообще говоря, если принять во внимание быстроту, с какой я написал ее, то ее нынешнее состояние надо признать удовлетворительным. Искания мои “художественной законченности” плохи только в том отношении, что получение денег откладывается до того времени, когда я сочту, что пьеса выправлена, а счесть это я могу черт меня знает когда», — сообщает он Т. В. Кашириной (Ивановой) 18 октября.

25 марта 1927 г. состоялось чтение в Киеве, а на следующий день появилось первое печатное упоминание о драме в газете «Вечерний Киев» (1927, 26 марта): «Вчера читал пьесу. Вечер прошел с “материальным и художественным” успехом. Посылаю тебе рецензию, посылаю потому, что это первые строки о детище, которое я до написания очень любил. Третью сцену выправил, но недостаточно, каждый раз что-нибудь подчищаю и думаю, что доведу в

конце концов до приличного состояния, а то рецензент прав насчет ржавых мест».

Сначала пьеса была поставлена в Баку (премьера 23 октября 1927 г.) и Одессе (премьера 25 октября 1927 г.). Премьера «Заката» во МХАТе-2, разрешенная цензурой с существенными изменениями, состоялась 28 февраля 1928 года (режиссер Б. Сушкевич).

Бабель следил за постановкой из Парижа и предчувствовал, даже пророчил неудачу.

«”Закат” провалился с небывалым позором» (А. Г. Слоним, 18 февраля 1928 г.).

«Дорогой Лев Вениаминович! Сделайте милость, пойдите на представление “Заката” и потом не поленитесь описать мне этот позор» (Л. В. Никулину, 28 февраля 1928 г.).

«Кстати, о “Закате”. Горжусь тем, что провал его предвидел до мельчайших подробностей. Если еще раз в своей жизни напишу пьесу (а кажется — напишу), буду сидеть на всех репетициях, сойдусь с женой директора, загодя начну сотрудничать в “Вечерней Москве” или в “Вечерней Красной” — и пьеса эта будет называться “На переломе” (может, и “На стыке”) или, скажем, “Какой простор”...» — иронизирует Бабель в письме тому же автору 20 марта 1928 г.

На предложение редактора «Нового мира» опубликовать «Закат» до постановки на сцене Бабель ответил отказом: «Напечатать “Закат” до постановки — значит... Вы знаете, что это значит... “В руки твои предаю дух мой...”» (В. П. Полонскому, 29 октября 1927 г.)

Практически одновременно с премьерой во МХАТе и журнальной публикацией появилось отдельное издание драмы (М., 1928).

Оно тоже вызвало недовольство автора. «Посылаю Вам мою пьесу “Закат”, чудовищно изданную “Кругом”; грубейшие опечатки совершенно искажают текст. Я, какие ошибки заметил, выправил. Пьеса эта вчера — 28/II — в первый раз была представлена на сцене 2 МХАТа, надо думать — провалилась», — с какой-то странной радостью сообщает Бабель Горькому 29 февраля 1928 г.

В последующие десятилетия, несмотря на неоднократные попытки, заметных успехов в постановках пьесы также не было. Театр Бабеля, в отличие от «театрального романа» Булгакова, пока не состоялся.

Шамес — см. прим к «Королю»

Биндюжник — см. прим к «Королю».

Вахмистр — унтер-офицерский чин в кавалерии.

Биндюг — см. прим. к «Королю».

Ибн-Эзра (Авраам Бен Мейр, 1092–1167) — средневековый еврейский богослов, ученый поэт, один из толкователей и критиков Ветхого Завета.

Высшие женские курсы — учебные заведения для женщин, возникшие в России в 1860–1870-е гг.

Малага — десертное виноградное вино (по имени испанской провинции у Средиземного моря).

Славное море — священный Байкал… — популярный романс, возникший на основе стихотворения Д. И. Давыдова «Дума беглеца на Байкале» (1858) и имеющий многочисленные варианты.

Кутья — рисовая каша, обычно с медом, подаваемая на поминках.

Мадера — крепкое вино с добавлением спирта (по имени португальского острова Мадейра).

Кантор — см. прим. к рассказу «Как это делалось в Одессе».

Талес — см. прим. к «Истории моей голубятни».

Рашэ (Раше, Соломон Исхак, 1040–1105) — средневековый толкователь Библии и Талмуда.

Давид и Вирсавия — библейский сюжет из Второй книги Царств: царь Давид влюбился в жену своего подданного Вирсавию и отправил ее мужа Урию в сражение, где тот погиб; после покаяния и прощения Бога Давид женится на Вирсавии и у них рождается будущий царь Соломон.

Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. — В первоначальном варианте этот фрагмент был более пространным и строился на сопоставлении двух Иисусов: «Иисус Навин, остановивший солнце, всего только сумасброд. Иисус из Назарета, укравший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина».

Иисус Навин — слуга Моисея, израильский воин и полководец (книга Исход).

Иисус из Назарета — Иисус Христос, в Назарете он провел детские годы.

Беня Крик **(с. 393)**

Впервые: Красная новь, 1926, № 6.

Редакционное примечание: «Предлагаемая вниманию читателя вещь представляет собой киноповесть, сценарий для кино. В основу его взяты “Одесские рассказы” И. Бабеля».

Одновременно: Шквал (Одесса), 1926, № 22–27, заглавие: Карьера Бени Крика, подзаголовок: кино-роман.

Бабель И. Беня Крик. М., 1926.

Хроника работы над сценарием представлена в письмах Т. В. Кашириной (Ивановой).

«Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с третьей придется повозиться, п. ч. нужно добыть документы о гражданской войне этого периода, но и это не особенно трудно», — написано из подмосковной деревни Сергиево 14 июня 1926 г.

«...сценарий все же пишу. Завтра, в субботу, из шести частей будет готово четыре, а в воскресенье я еду получать от Вас письма и читать сценарий Эйзенштейну» (20 июня 1925 г.).

«Был у Эйзенштейна на даче, ночевал у него. Сценарий мой как будто выходит. Из шести частей я написал четыре, сегодня приступаю к пятой» (25 июня 1925 г.).

«Меня убеждают в том, чтобы напечатать сценарий о Бене Крике. Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати. Изменения будут незначительны» (9 апреля 1926 г.).

«Кое-какие деньги на будущей неделе у меня будут, п<отому> ч<то> Воронский принял к напечатанию в “Кр<асной> Нови” сценарий. Он “потрясен” этим “произведением”, но я-то знаю, что “потрясение” это проистекает от невежества и глупости» (17 апреля 1926 г.).

Сценарий предназначен для немого кино. От его эстетики — предметная, назывная по преимуществу стилистика текста и выделенные курсивом надписи-титры.

Фильм — одновременно с будущим «Броненосцем “Потемкиным”» — должен был снимать С. М. Эйзенштейн. Однако сотрудни-

чество не состоялось, и сценарий был передан на одесскую кинофабрику, где картину поставил режиссер В. Вильнер.

Бабель привычно оценил картину как неудачу. «К “Бене Крику” (картина очень плохая) пишу надписи. От этой кинематографической дряни настроение скверное», — сообщает он из Киева Т. В. Кашириной (Ивановой) 5 января 1927 г.

В беседе с корреспондентом одесской газеты писатель говорил: «Я считаю, что в постановке была допущена ошибка и с моей стороны и со стороны фабрики. С моей стороны — в том, что я не поставил непременным условием непосредственное свое участие в постановке, а фабрики — в том, что к этой постановке она меня не привлекла. Фильма поставлена не так, как я ее написал, написал я ее не так, как она поставлена. В дальнейшей своей работе в кино это условие мое ставится как обязательное» (М. Куш. У Бабеля // Вечерние Известия (Одесса), 1927, 2 апреля).

Фильм появился на экранах, но был быстро снят с проката за «романтизацию бандитизма».

Грудь Глечика украшена медалями о-ва спасания на водах, ведомства императрицы Марии, в память 300-летия дома Романовых и проч. — Бабелевское перечисление медалей иронично: это малозначительные награды. Супруга императора Павла I Мария Федоровна (1759–1828) создала ряд благотворительных и воспитательных учреждений, объединенных в ведомство и названных ее именем. Трехсотлетие дома Романовых отмечалось в 1913 г., в честь этой даты тоже была выпущена памятная медаль.

Дореформенное учреждение, похожее на конторки в Лондонском Сити времен Диккенса. — В Лондонском деловом центре Сити располагались финансовые учреждения; английский писатель Чарльз Диккенс (1812–1870) изображал их во многих романах.

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический и государственный деятель, в июле — октябре 1917 г. председатель Временного правительства, свергнутого большевиками.

Дивный двухкаратник. — Карат — ювелирная мера, применяемая при взвешивании драгоценных камней и равная 200 мг.

Тикать — убегать.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) — русский военачальник, генерал, успешно воевал в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Мазуны-налетчики — дерзкие, агрессивные бандиты.

Юшка — здесь: кровь, текущая из разбитого носа.

Краги — накладные кожаные голенища, носившиеся с ботинками, или высокие кожаные отвороты на перчатках.

Куртка с брандебурами — параллельными декоративными шнурами на груди.

Тора — традиционное еврейское название Пятикнижия, пяти первых книг Ветхого Завета.

Дубок — небольшое судно, сделанное из одного долбленого дерева.

Мешочник — неологизм эпохи революции и гражданской войны: человек, скупающий и перепродающий дефицитные товары и продукты, чаще всего перевозящий их из относительно сытой деревни в голодающий город.

Карта-двухверстка — подробная топографическая карта, отражающая в 1 см две версты (около 2 км).

ВСНХ — Высший совет народного хозяйства, первый общехозяйственный центральный орган советского государства, организованный в декабре 1917 года.

Блуждающие звезды **(с. 449)**

Впервые: Бабель И. Блуждающие звезды. Киносценарий. М., 1926.

Сценарий написан по мотивам одноименного романа еврейского писателя Шолом-Алейхема (1909–1911).

Фрагменты предварительно печатались в газете «Кино» (1926, 16 марта) и журнале «Советский экран» (1926, № 7). Третья часть переработана в «рассказ для кино» (см. ниже).

История реализации сценария подробно представлена в письмах Т. В. Кашириной (Ивановой). Запрещенный Главреперткомом (Главным репертуарным комитетом) в Москве, он был передан Вуфку (Всеукраинское фотокиноуправление) и реализован на родине персонажей, в Одессе.

«В довершение всех бед Главрепертком запретил постановку “Блуждающих звезд”» (26 апреля 1926 г.).

«...я писал тебе, кажется, что репертком запретил к постановке “Блуждающие звезды”, в смысле финансовом это, м<ожет> б<ыть>, к лучшему, п<отому> ч<то> есть предложение переслать сценарий в Вуфку» (30 апреля 1926 г.).

«Мне придется, вероятно, согласиться на настойчивые предложения Вуфку присутствовать при постановке картины, придется это сделать, п<отому> ч<то> других источников к существованию при моей литературной бездеятельности я не вижу, да, кроме

того, если меня не будет, режиссер все испортит радикально» (20 июня 1926 г.).

Снял фильм в 1926 г. режиссер Г. Гричер-Чериковер, который существенно изменил сценарий и, по мнению Бабеля, действительно, все испортил радикально.

«...поеду в Одессу к окончанию “Блуждающих звезд”. Мне выгоднее не участвовать в этой позорной постановке» (14 августа 1926 г.).

«”Блуждающие звезды” еще не видел, говорят — гадость ужасная, но сборы — аншлаг за аншлагом», — удивляется писатель 5 января 1927 г.

Еврейский Камерный театр — возник из созданной в 1919 г. театральной студии, с 1925 г. — ГОСЕТ, Государственный Еврейский театр.

Шелковый талес — см. прим к «Истории моей голубятни».

Дортуар — общая спальня для учащихся в закрытом учебном заведении.

Бегельфер — служка в хедере, в дореформенной еврейской школе.

Свитки Торы — см. прим. к киносценарию «Беня Крик».

Король Лир, или Свои люди — сочтемся — ироническое соединение заглавий трагедии У. Шекспира (1606) и первой пьесы А. Н. Островского (1849).

Ермолка — легкая круглая облегающая голову шапочка, которую часто носили евреи.

Кадет — мальчик-воспитанник военно-учебного заведения, кадетского корпуса.

Царевококшайск — уездный город Казанской губернии (построен ок. 1578 г.), ныне Йошкар-Ола.

Фрайер — здесь: хорошо одетый, имеющий деньги человек.

Кот — сожитель проститутки, живущий за ее счет.

Айсор — ассириец.

Действительный статский советник — гражданский чин 4 класса, одного из высших в табели о рангах, равный военному чину генерал-майора.

Желтый билетец — свидетельство, выдаваемое проституткам.

Падеспань — русский бальный танец, созданный в 1898 г., стилизация испанского танца.

Картина итальянского мастера эпохи кватроченто (буквально: четыреста) — то есть XVI века, эпохи раннего Возрождения.

«Тартарен из Тараскона» (1872) — первая часть знаменитой трилогии Альфонса Доде (1840–1897), посвященная похождениям хвастуна и фантазера Тартарена.

Плюмаж — украшение из перьев, обычно на головном уборе или конской сбруе.

Разве я сторож брату моему, Авелю? — фраза из Ветхого Завета (Бытие, глава 4, стих 9), лицемерные слова Каина, только что убившего брата Авеля.

Блуждающие звезды. Рассказ для кино **(с. 519)**

Впервые: Шквал (Одесса), 1925, № 31.

Повторно: 30 дней, 1926, № 1.

Печатается по: Бабель И. Э. Избранное / Сост. В. Я. Вакуленко. Фрунзе, 1990.

Лицо у Рахили такое же, какое было у Руфи, жены Вооза, у Вирсавии, наложницы Давида, царя Израильского, или у Эсфири, жены

Артаксеркса. — Перечисляются знаменитые библейские красавицы. Добродетельная вдова Руфь — жена богача Вооза, бабка царя Давида и через него — праматерь Иисуса Христа; ее именем названа «Книга Руфь». Вирсавия — жена военачальника Урии, ставшая после его смерти женой царя Давида и матерью Соломона. Эсфирь (Есфирь) — жена царя Артаксеркса, смело защищавшая от преследований свой народ, ей посвящена «Книга Есфирь».

О Рахили можно сказать, что любовь ее к науке была так же велика, как любовь к истине у Ленина, у Дарвина или у Спинозы. — Ленин Владимир Ильич (1870–1924) — создатель партии большевиков и Советского государства. Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) — ученый-естественник, автор труда «Происхождения видов путем естественного отбора» (1859), заложившего основы дарвинизма. Спиноза Бенедикт (1632–1677) — знаменитый философ. Вероятно, эти имена объединены Бабелем как пример высших достижений, любви к истине в областях политики, естествознания и философии.

Межевой институт (Константиновский) — закрытое учебное заведение в Москве, основано как училище в 1799 г., преобразовано в институт в 1855 г., готовило топографов и землемеров.

Горный институт — открыт в Петербурге в 1774 г., готовил горных инженеров, в конце века имел квоты на прием поляков и евреев.

Петровско-Разумовская Академия — высшее сельскохозяйственное учебное заведение, основано в подмосковном имении Петровско-Разумовском, готовило агрономов, лесоводов и пр.

Алфавитный указатель произведений

Содержание

Литературно-художественное издание

Исаак Бабель

Собрание сочинений
Том 1

Редактирование и корректура
Елена Кузьменок

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Подписано в печать 09.08.2006. Формат $70 \times 108^1/_{32}$.
Бумага для ВХИ. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2.
Тираж 3000 экз. Заказ № 669.

"Время"
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (495) 231 1864, (495) 959 4967
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО "ИПП "Уральский рабочий"
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 5-9691-0150-8

9785969101500

Исаак

Бабель

том 1

собрание сочинений